

Гершом Шолем

ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН —
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДРУЖБЫ



Dr. G. SCHOLEM

Grüß vom Thurgau zum 15. Juli

Ich fange mit der Arbeit

Gershom Scholem

WALTER BENJAMIN —
DIE GESCHICHTE
EINER FREUNDSCHAFT

SUHRKAMP VERLAG

Гершом Шолем

ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН —
ИСТОРИЯ
ОДНОЙ ДРУЖБЫ

GRUNDRISSE

Издательство выражает бесконечную признательность людям, без энтузиазма и знаний которых появление книги было бы невозможно — Ивану Болдыреву, Эрдмуту Визисле, Евгении Гутовой, Михаилу Евлину, Марии Лепиловой, Сергею Ромашко, Янике Рютер, Павлу Хорошилову

Издано при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям в рамках Федеральной целевой программы «Культура России (2012–2018)»



**GOETHE
INSTITUT**

Перевод осуществлён при финансовой поддержке Гёте-Института

Перевод с немецкого Б. Скуратова
под редакцией Т. Набатниковой

Перевод воспоминаний Ж. Сельца «Вальтер Беньямин на Ибике»
с французского выполнен специально для настоящего издания
М. Лепиловой

Примечания: Н. Гутовой, М. Лепиловой, Б. Скуратова

Вёрстка: С. Розов
Корректор: А. Ботвин

- © Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1975
- © ООО «Издательство Грюндриссе»,
издание на русском языке, 2014
- © Akademie der Künste, Archiv
- © Gisèle Freund / IMEC / Fonds MCC

Содержание

7	К читателю
11	Г. Шолем. Вальтер Беньямин — история одной дружбы
13	Предисловие
17	Первые контакты (1915)
45	Крепнущая дружба (1916–1917)
94	В Швейцарии (1918–1919)
145	Первые послевоенные годы (1920–1923)
198	Доверие на расстоянии (1924–1926)
215	Париж (1927)
234	Неудавшийся проект (1928–1929)
256	Кризисы и повороты (1930–1932)
316	Годы эмиграции (1933–1940)
369	Приложение. Наша переписка об историческом материализме весной 1931 года
381	Ж. Сельц. Вальтер Беньямин на Ибике
393	Примечания
438	Указатель имён
462	Список иллюстраций

К читателю

Когда на русском языке выходят любимые книги, кажется, что в гости приехал тот, кого ты давно ждал, но никогда не видел в собственном интерьере. И вот он сидит, пьёт чай и словно приносит с собой в подарок весь свой мир, с которым ты всегда его соотносил. И это, конечно, большое счастье.

Перед нами не просто интеллектуальная биография Вальтера Беньямина (таковых за последнее время на разных языках написано великое множество) и не только рассказ о том, как Гершом Шолем хотел сделать Беньямина Шолемом, а Беньямин остался самим собой. Это вполне педантичный рассказ друга, оказавшегося великим учёным, о друге, который стал великим философом. Собранный по частям и упорядоченный хронологически дневник, который вместе с автором вело само время.

Стоит, наверное, сразу сказать, что Шолем не был иудейским Эккерманом — перед нами не «просто» дотошный летописец или экзальтированный душеприказчик. Беньямин общался с человеком, разработавшим собственную метафизику языка, размышлявшим над своей версией политической теологии, наконец, открывшим гуманитарной мысли прошлого века совершенно новую для неё область — еврейскую мистику. Беньямин стал соучастником интеллектуального становления Шолема и, конечно, не написал бы того, что написал, не будь этой дружбы — впрочем, вполне объяснимой неизменным интересом Беньямина к еврейской культуре, и традиционной, и актуальной.

Свидетельства Шолема — важная часть той работы по восстановлению справедливости, которой он занялся после войны. Между гибелью Беньямина и выходом в свет его первого собрания сочинений прошло пятнадцать лет, и ещё двадцать понадобилось, чтобы осознать значимость его наследия для философии и литературы. Шолем вместе с Адорно выпускает двухтомник писем Беньямина, пишет статьи о нём (одна из самых известных, «Вальтер Беньямин и его ангел», есть и по-русски), наконец, участвует в работе над первым и на сегодняшний день единственным полным изданием его текстов. Но у него было много причин сделать больше, и срок на это был ему отпущен.

В известном смысле, книга не стала сенсацией: жизнь и личность Беньямина, даже став предметом посмертной рационализации, остались столь же неприступными и энigmatическими, как и его тексты; Шолем просто ещё раз сообщает нам об этом. Но ему, как мне кажется, удалось вспомнить главное: ситуацию интенсивности мысли, не воспроизводимую в обычном отчёте о неудавшихся диссертациях, публикациях, манускриптах, написанных в стол, или окололитературных распрах. Философия тут становится историческим событием, и не остаётся ничего важнее. Беньямин умел увидеть интригу в жизни почтовых марок, а Шолем умеет (а может быть, и не умеет, а само так получается?) сделать драматичным и насытить событиями общение умов. Бывший в плане историческом, в общем, одиноким мыслителем, Беньямин в жизни был окружён замечательными людьми — кроме Шолема это были Адорно, Брехт, Блох. Их непонимание было подчас важнее солидарности, а разговоры с ними — началом или продолжением написанного. Книга даёт нам редкую возможность стать свидетелями этой реальной, но, как ни странно, трудно представимой непрерывности между текстом и его обстоятельствами.

Вот почему так интересны эти сводки с интеллектуального фронта, документы, по которым получается, что некто прочитал, написал, поспорил, согласился. Конечно, главный их адресат — читатели Беньямина, нынешние и будущие. Во «время теперь», когда его тексты стали фактом русского языка, такие документы, вместе с фигурами мысли сообщающие и о фигуре автора, попадают как нельзя кстати. Трудно, правда, сказать, с чего лучше начинать — при всей ясности стиля Шолем всё же пишет для интересующихся. Однако и в целом — кто следит за движением эпох, тот оценит в этой книге наблюдения прелюбопытнейшие и, в частности, зарисовки из жизни еврейской интеллигенции Веймарской Германии, людей, которые были подчас большими немцами, чем сами немцы, и без которых немецкая мысль прошлого века не состоялась бы никогда. Беньямин и Шолем были частью этого погибшего, расплывшегося культурного слоя, и именно в таком качестве — незаменимыми агентами времени.

Иван Болдырев

ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН —
ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДРУЖБЫ



Вальтер Беньямин. Париж, 1927 г. Фото Жермены Круль.
Частное собрание, Берлин

ПРЕДИСЛОВИЕ

Не так много осталось людей, кто сохранил точные и глубокие воспоминания о Вальтере Беньямине. Он поддерживал поверхностные отношения с обширным кругом знакомых, но лишь немногим было позволено взглянуть в его личность. Очень жаль, что близкие к нему люди почти не оставили о нём воспоминаний. Спустя полгода после его кончины я пытался уговорить бывшую жену Беньямина Дору, которая, пожалуй, гораздо лучше других знала подробности его жизни на протяжении пятнадцати лет, записать то, что она видела и знала о его жизни и его подлинном «Я», — к сожалению, безуспешно. Зато Ася Лацис¹, поддерживавшая с ним тесную дружбу в двадцатые годы и, прежде всего, между 1924-м и 1930-м годами, в книге «Профессиональный революционер» (1971) опубликовала кое-какие воспоминания о нём². Насколько я смог перепроверить, надёжностью они как раз не отличаются — ни по содержанию, ни по хронологии. В сознании этой женщины, много лет проведшей при Сталине в лагерях — и потому утратившей все документальные свидетельства — произошли серьёзные сдвиги.

Что я могу здесь предложить, так это историю нашей дружбы и моё свидетельство о Вальтере Бенья-

мине, каким я его знал. В силу естественной природы вещей, мне придётся время от времени поневоле говорить и о себе, особенно вначале и в некоторых заметках и письмах — насколько это необходимо для понимания нашей дружбы.

Кто пишет воспоминания, да ещё спустя 35 лет после смерти друга, должен учитывать предостережение, которое дано было нашему поколению на примере бесед Густава Яноуха с Кафкой — бесед крайне сомнительной подлинности, но проглоченных алчным миром без всякой критики, бесед, которые автор опубликовал (или сфабриковал?) лишь после Второй мировой войны, когда Кафка стал знаменитостью, а объяснение такого запоздания проверке не поддавалось. Пишущему воспоминания также следует быть готовым к вопросу — особенно в столь спорном случае, как с Вальтером Беньямином, — по какому праву он сообщает, переписывает и толкует факты, которые не всегда подкреплены доказательным материалом? Конечно, многое из приведённого в этой книге основано на дневниковых или другого рода записях и на множестве писем, которые либо использовались в тексте, либо послужили для проверки фактов. Однако во многих случаях мемуарист в силу природы вещей не может претендовать ни на какой другой кредит доверия, кроме своей личной незапятнанности и надёжности, уже, на его взгляд, доказанных. Кто отрицает за ним эти качества, того эти воспоминания не убедят, даже если они основаны на многолетнем тесном общении — или как раз вследствие этого, поскольку это якобы влечёт за собой «пред-

взятость», от каковой совершенно свободны юноши, берущиеся за интерпретацию событий радостно и не задумываясь.

В опубликованных в 1966 году «Письмах» Беньямина³ есть те, которые адресованы мне, в них отражены существенные моменты наших отношений. В этой книге значительная часть из них дана в полном виде и также публикуется многое, что там не выражено или высказано лишь намёками. Также я полностью или частично привожу относящиеся к делу, но не опубликованные письма Беньямина и к Беньямину. Так что — за немногими неизбежными исключениями — приведённые здесь цитаты из писем относятся к неопубликованному архиву⁴. Из почти 300 писем Беньямина ко мне лишь 130 напечатаны в сборнике 1966 года — полностью или в отрывках. Во вновь предлагаемых здесь письмах я сохранил орфографию и пунктуацию оригинала, особенно в том, что касается в высшей степени своеобразного, беньяминовского способа постановки запятой⁵.

Итак, данная книга призвана в значительной степени прояснить биографию Беньямина, написать которую при сегодняшнем положении вещей невозможно.

За восемь лет нашего личного общения у нас, конечно, состоялось очень много разговоров, содержание которых стёрлось из моей памяти, но многое глубоко запечатлелось по причине важности предмета или особых сопутствующих обстоятельств, суждений и формулировок. Таков образ Беньямина, который здесь дан: несомненно, очень личный, определяемый

ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН — ИСТОРИЯ ОДНОЙ ДРУЖБЫ

в том числе опытом и решениями моей собственной жизни, но всё-таки, как я надеюсь, подлинный.

*Иерусалим,
февраль 1975 г.*

ПЕРВЫЕ КОНТАКТЫ (1915)

Ещё до личного знакомства с Бенъямином я увидел его осенью 1913 года, когда в зале над кафе «Тиргартен» в Берлине состоялась встреча между сионистской молодёжной группой, к которой принадлежал и я — она называлась «Младоиудея» <*Jung-Juda*>⁶ и вела пропаганду среди учащихся старших классов гимназий и родственников им заведений в Берлине, — и действовавшей в тех же кругах «Молодёжного движения» <*Jugendbewegung*> и находившейся под влиянием «Молодёжного дискуссионного клуба» <*Sprechsaal der Jugend*> Густава Винекена⁷. Дело в том, что эти «дискуссионные клубы» — о чём всегда старательно умалчивалось в литературе, опубликованной впоследствии, насколько она мне известна, — тоже состояли главным образом из евреев, правда, из таких, которые меньше всего использовали этот факт. Собралось около восьмидесяти человек, желавших высказываться о своём отношении к еврейскому и немецкому наследию. С обеих сторон выступали по два-три оратора. Основным оратором от людей Винекена был Вальтер Бенъямин, о котором говорили, что он — самый талантливый из них. Он произнёс очень витиеватую речь, содержание и подробности которой я забыл, — не отвергавшую сионизм

изначально, но как-то отодвигавшую его в сторону. Однако способ его выступления остался для меня незабываемым. Не глядя на присутствующих, он говорил с большой интенсивностью и всегда в готовых для печати выражениях, уставившись при этом в верхний угол зала. Впрочем, я уже забыл и то, как ему возражали сионисты.

В «Дискуссионном клубе» объединились школьники и студенты, которые были не только разочарованы «толпой средней школой», но и в принципе стремились к более глубоким духовным преобразованиям. Один из моих одноклассников, Георг Штраус, который и сам впоследствии пришёл к сионизму, тщетно пытался подвигнуть меня к вступлению в эту группу весной 1914 года.

Если учитывать злую антипатию Беньямина к своей школе, выраженную в «Берлинской хронике»⁸, то удивительно будет узнать — а это мне рассказывали его школьные товарищи, — что школа имени кайзера Фридриха в Берлине была ярко выраженной реформаторской школой. Она представляла собой смесь гимназии и реальной школы, где французский преподавался с первого класса, латынь — с четвёртого-пятого классов, а греческий — только с шестого-седьмого классов и притом не на основе грамматик, но прямо по тексту «Илиады». Директор школы, профессор Церникель, был школьным реформатором. К школьным товарищам Беньямина — среди прочих — относились Эрнст Шён, Альфред Кон, Герберт Блюменталь (впоследствии Бельмор), Франц Закс, Фриц Штраус, Альфред Штейнфельд и Вилли Вольфрадт, впоследствии став-

ший беллетристом; они образовали кружок, который регулярно собирался, читая и обсуждая литературные произведения. Фриц Штраус рассказывал мне, что эта группа считала Бенямина своим руководителем. Его интеллектуальное превосходство, дескать, было очевидно всем.

«Дискуссионный клуб» не только отстаивал идеи радикальной школьной реформы, он выступал за автономную культуру молодёжи, чьим манифестом стала вышедшая тогда «Молодёжная культура» Густава Винекена. Эти идеи с большим пафосом провозглашались в издававшемся Георгом Барбизоном (псевдоним Георга Гретора) и Зигфридом Бернфельдом журнале «Начало»⁹. Но было общеизвестно, что важнейшие статьи пишутся студентами — такими, как Бенямин, выступавший под псевдонимом Ардор. Сионисты, обладавшие живым историческим сознанием, были далеки от радикального антиисторизма, свойственного журналу. Социально-политическая составляющая, доминирующая в нынешних организациях революционной молодёжи, была чужда группам, объединившимся вокруг журнала «Начало». Сама по себе «молодость» членов этих групп гарантировала, как казалось, творческое обновление.

Тогда я не знал, что Бенямин в 1912–1913 годах провёл несколько интенсивных устных и письменных дискуссий о сионизме, из которых дискуссии, проведённые с Куртом Тухлером, утрачены, однако дискуссии с Людвигом Штраусом (1913) сохранились¹⁰. Штраус был школьным товарищем Фрица Хейнле, а послед-

ний в течение пятнадцати месяцев, начиная с апреля 1913 года, когда он приехал из Гёттингена во Фрайбург, и до начала войны в 1914 году играл в жизни Беньямина центральную роль. Оба — и Штраус, и Хейнле — были родом из Аахена, оба сочиняли стихи и поддерживали в годы своего обучения во Фрайбурге и Берлине то более тесный, то более слабый контакт со «Свободным студенчеством»¹¹.

Когда я познакомился с Беньямином, всё это было уже в прошлом. Началась Первая мировая война, и она не оставила и следов от «Молодёжного движения». У меня шёл первый семестр в университете, где я изучал математику и философию, а вне университета — но с не меньшей интенсивностью — древнееврейский и источники иудейской письменности. В конце июня 1915 года я слушал доклад Курта Хиллера, чью книгу «Мудрость скуки»¹² я прочёл ранее. Следуя по стопам Ницше, он неистово разоблачал историю как силу, враждебную духу и жизни — что казалось мне ошибочным и недальновидным. «История? Вздор! Мы живём вне истории; какое отношение к нам имеет весь этот хлам тысячелетий? Мы живём в поколении»¹³, родившемся вместе с нами!». В таких словах я обобщил суть его доклада у себя в дневнике. В конце доклада было объявлено, что через неделю в штаб-квартире «Свободного студенчества», где-то в Шарлоттенбурге, состоится обсуждение его доклада. Я отправился туда и записался на выступление среди многочисленных других ораторов; в довольно беспомощной речи я протестовал против исторической концепции Хил-

лера, что, однако, вызвало неблагосклонность председательствующего, д-ра Рудольфа Кайзера, друга Хиллера, и председательствующий, недолго думая, лишил меня слова при одной из моих заминок. Выступал там и Бенъямин, который вновь бросился мне в глаза из-за вышеописанной позы; он сохранял её во время речи. Эта поза, пожалуй, была следствием его близорукости, которая мешала ему воспринимать движущихся людей.

Несколько дней спустя в каталожной комнате университетской библиотеки я столкнулся с Бенъямином, который напряжённо на меня уставился, словно пытаясь припомнить, кто я такой. Затем он вышел, но вскоре вернулся, отвесил формальный поклон и спросил, не тот ли я господин, который выступал на вечере Хиллера. Я подтвердил. Он сказал, что хотел бы поговорить на затронутые мной темы, и попросил у меня адрес. 19 июля я получил приглашение: «Глубокоуважаемый господин — я хотел бы пригласить Вас к себе в четверг на этой неделе к 5.30». Позднее он позвонил мне и перенёс приглашение на день раньше.

Итак, впервые я посетил его 21 июля 1915 года. Дом в Груневальде, принадлежавший его родителям, располагался на углу Дельбрюкштрассе, 23, и Яговштрассе (ныне Рихард-Штраус-штрассе). Там у него была большая, очень приличная комната со множеством книг, которая произвела на меня впечатление кельи философа. Бенъямин сразу же перешёл *in medias res*¹⁴. Он сказал, что много занимается сущностью исторического процесса и размышляет о философии истории. Поэтому ему интересно моё мнение, и он просит меня обсудить с ним то, что я имел в виду в своих формулировках

против Хиллера. Мы быстро перешли на темы, которые в то время интересовали меня больше всего, мы говорили о социализме и сионизме. К тому времени я уже четыре года принадлежал к сионистскому лагерю, куда меня привело осознание самообмана, в котором жил круг моей семьи и её среда; способствовало этому и прочтение нескольких книг по еврейской истории, особенно «Истории евреев» Генриха Грецца¹⁵. Когда разразилась война, мной заведомо и безоговорочно отвергаемая — настолько, что «девятый вал» чувств, который взволновал тогда чрезвычайно обширные круги, не коснулся меня вообще — я неожиданно очутился в том же политическом лагере, что и мой брат Вернер¹⁶, немного старше меня, который тогда уже вступил в социал-демократическую партию, но находился в лагере меньшинства этой партии, решительно настроенного против войны. Тогда я много читал о социализме, историческом материализме и, прежде всего, об анархизме, вызвавшем самые горячие мои симпатии. Биография Бакунина, написанная Неттлау¹⁷, а также сочинения Бакунина и Элизе Реклю произвели на меня глубокое впечатление, и сюда в 1915 году добавилось прочтение трудов Густава Ландауэра, прежде всего его «Призыв к социализму». Я пытался объединить в себе оба этих пути — социализм и сионизм — и произнёс об этом перед Беньямином речь, а он добавил, что оба эти пути возможны. Разумеется, подобно всякому сионисту, я испытал тогда и влияние Мартина Бубера, чьи «Три речи об иудаизме» (1911)¹⁸ играли значительную роль в мире мыслей сионистской молодёжи — мне трудно воспринимать эти чувства как свои собственные сего-

дня, 60 лет спустя. Бенъямин уже тогда, в нашей первой беседе, высказал строгие предостережения против Бубера, которые встретили у меня мощный отпор, хотя позитивное отношение Бубера и его основных учеников к войне (к так называемому «переживанию» войны) пробудило моё особое возмущение. Таким образом, мы с Бенъямином очень скоро и с неизбежностью перешли к обсуждению нашего отношения к войне, причём я объявил ему, что разделяю точку зрения Карла Либкнехта, который в конце 1914 года голосовал в рейхстаге против выделения кредитов на войну. Когда Бенъямин сказал мне, что он тоже полностью разделяет эту точку зрения, я рассказал ему свою личную историю. А именно, в феврале 1915 года с группой единомышленников из «Младоиудей» я составил письмо протеста против воодушевлённых войной статей в редакцию газеты «Еврейское обозрение»¹⁹, органа сионистов в Германии; в письме уточнялось наше отношение к войне, хотя, конечно, при господстве военной цензуры не было шансов донести это отношение до публичного восприятия. Но письмо, ходившее в списках, стало известно нескольким моим соученикам, которые донесли на меня, и после этого, за год до выпускных экзаменов, мне пришлось оставить луизенштадтскую²⁰ реальную гимназию. Но я стал тогда учиться на основе так называемого «малого матрикала»²¹, который позволял молодым людям с аттестатом об окончании неполной средней школы полноправное зачисление в университет на четыре семестра. Это был статут, принятый в пользу младших сыновей из семей прусского дворянства и землевладельцев, он оставался неизвестным

в широких кругах, и я узнал о нём лишь случайно после исключения из гимназии. Таким образом, он помог мне продолжить образование. С начала 1915 года мы с братом также посещали сходки, которые социал-демократы, настроенные против войны, устраивали без разрешения полиции в одном из ресторанов Нойкёльна²²; на этих собраниях важнейшие руководители оппозиции, насколько я помню, раз в две недели делали доклады о положении в стране. Беньямин был чрезвычайно увлечён этими докладами, они его очень интересовали. Он тоже захотел немедленно сделать что-нибудь для оппозиции. Я пригласил его на следующий день прийти ко мне, чтобы дать ему почитать материалы, опубликованные этой группой. Сюда относился, прежде всего, первый и единственный номер газеты «Интернационал», изданный Розой Люксембург и Августом Тальгеймером, в нелегальном распространении которого участвовали мы с братом. Наша первая беседа с Беньямином продолжалась больше трёх часов.

Первая черта Беньямина, которая бросилась мне в глаза, оставшаяся характерной для него на протяжении всей жизни, заключалась в том, что во время разговора он не мог усидеть на месте, а тотчас начинал ходить по комнате, формулируя фразы, а затем перед кем-нибудь останавливался и со своеобразной интенсивностью излагал свою позицию или, как бы экспериментируя, формулировал другие возможные позиции. А наедине с собеседником Беньямин любил смотреть ему в глаза. Но когда он, как уже было описано, особенно выступая в широком кругу, устремлял взгляд в самый дальний

угол потолка комнаты, это придавало ему прямо-таки магический вид. Эта неподвижность взгляда создавала сильный контраст с его оживлённой жестикуляцией.

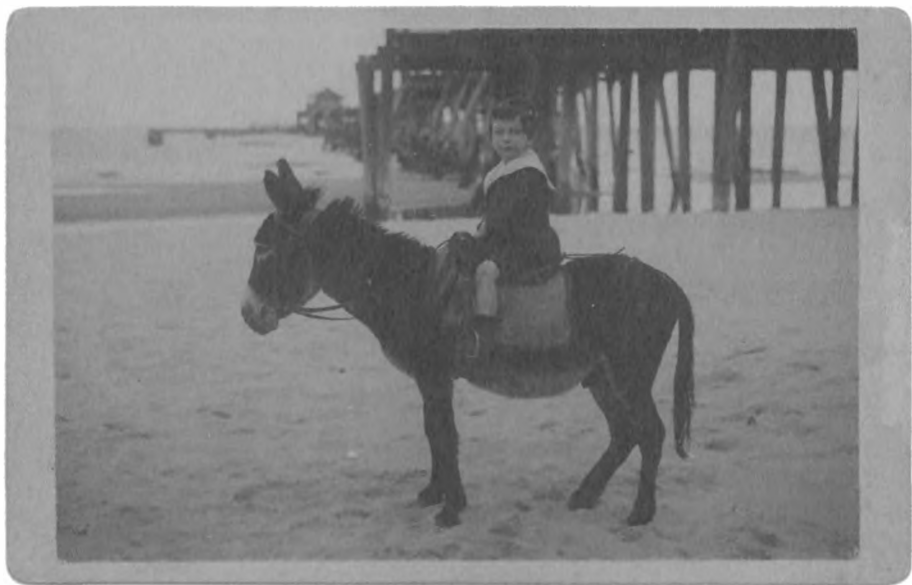
О его внешнем виде я уже говорил. Назвать его красивым было нельзя, но он поражал своим высоким чистым лбом, обрамлённым высокой шапкой волнистых, непослушных тёмных волос, которые он сохранил до конца жизни, — со временем поседевших. У него был красивый — мелодичный и проникновенный — голос. Он превосходно читал и производил особенное впечатление при спокойных интонациях. Бенъямин был среднего роста, тогда и ещё много лет спустя отличался стройностью, одевался подчёркнуто неброско и держался, слегка наклонившись вперёд. Не помню, чтобы он ходил выпрямившись, с высоко поднятой головой. В его походке чувствовалось что-то характерное, размеренное и ощупывающее — что можно было объяснить его близорукостью. Он не любил ходить быстро, и мне — а я был гораздо выше ростом, длинноногий и делал стремительные большие шаги — было нелегко в наших прогулках приспособиться к его походке. Он часто останавливался, продолжая говорить. Сзади его легко можно было узнать по походке, её своеобразие с годами лишь усилилось. Он носил сильные очки, которые часто снимал в ходе разговора, обезоруживая впечатляющие тёмно-синие глаза. Нос у него был правильный, нижняя часть лица тогда была ещё мягкой, а губы — полными и чувственными. Нижняя половина лица контрастировала своей неполной сформированностью с верхней половиной, сильно и выразительно

развитой. Когда он говорил, лицо принимало странно замкнутое, скорее обращённое внутрь выражение. Он всегда носил густые усы, при этом гладко выбривая щёки и подбородок. Кожа его тела отличалась белизной, цвет же лица был слегка красноватым. Кисти рук — красивые, узкие и выразительные. В целом его физиономия носила несомненно еврейские черты, но с каким-то спокойным, умеренным оттенком. Лучшие его фотоснимки были сделаны Жерменой Круль (1926), а снятые лет десять спустя — Жизелью Фройнд²³, обе из Парижа.

Характерная для него форма обхождения отличалась подчёркнутой вежливостью, которая устанавливала естественную дистанцию и, казалось, требовала от партнёра аналогичного поведения. В моём случае это было особенно сложным, так как от природы я не склонен к вежливости — и с самой молодости ходили слухи о моём провокативном поведении. Беньямин, которому претили обычные для Берлина беспардонность и неотёсанность, сполна постигнутые мной в отношениях с друзьями юности, был, пожалуй, единственным человеком, в общении с которым я почти всегда употреблял вежливые формы. Правда, существовал один пункт, где я мог расквитаться с ним. Беньямин выражался изысканно, но не демонстративно, иногда — без особого успеха и, скорее, подражательно — прибегая к берлинскому диалекту, в котором, однако, чувствовал себя не вполне уверенно. Ведь он родился и вырос в старом районе западной части города, где берлинский диалект был уже не тот — тогда как сам я происходил из Альт-Берлина²⁴, и диалект, как и формы обхожде-



Вальтер Беньямин в Национальной библиотеке. Париж, 1939 г.
Фото Жизели Фройнд. Архив Теодора Адорно,
Франкфурт-на-Майне



Вальтер Беньямин. Херингсдорф, 1896 г.
Фото: студия *Joël-Heinzelmann*. Архив Академии искусств, Берлин

ния Фридрихсграхта²⁵ и Меркишен Фиртеля²⁶, были для меня естественными. Поэтому — если речь шла не о философии и теологии — я охотно переходил на чистый берлинский диалект, в котором превосходил его, и это его поразительно веселило и занимало. Зато я решительно уступал ему в литературном немецком. Его манера выражаться со временем заметно повлияла на меня, я перенял у него немало маньеризмов, как, например, выразительную постановку местоимения «себя» в возвратных глаголах. Словом наивысшего признания у Бенямина было «необыкновенно» — и произносилось оно всегда с особой интонацией. Из критических терминов высоко котирировалась «объективная лживость». Еврейские обороты речи он тогда совсем не использовал и начал их применять лишь впоследствии, под влиянием Доры и моим. Я должен признаться, к своему стыду, что позволил себе в одном месте его письма [B. I. S. 381]²⁷ выбросить такой оборот речи и заменить его точками.

Когда я познакомился с Бенямином, ему только что исполнилось 23 года, а мне было 17 с половиной. Поэтому его «профайл» был, конечно, образованнее моего, хотя я уже решительно придерживался своей линии, тогда как он, порвав с «Молодёжным движением», которое значило для него очень много, ещё не вступил на новый путь. Наше будущее было для нас обоих неясным. Ведь при всей общности взглядов наш социальный фон был всё-таки весьма несхожим. Бенямин происходил из семьи, принадлежавшей к крупной буржуазии, а временами прямо-таки богатой, я же — из

находившейся на подъёме мелкой еврейской буржуазии, и семья наша никогда не была богатой, но всегда лишь зажиточной²⁸. Наши жизненные пути различались почти драматически, хотя мы сами осознавали это лишь наполовину. То, что сыновья в ассимилированных семьях посвящали себя «Свободному немецкому студенчеству», «Молодёжному движению» и лелеяли литературные амбиции, встречалось повсеместно. Но вот то, что один из них со страстью набросился на изучение Талмуда, хотя происходил из неортодоксальной семьи, а также искал путь к некоей иудейской субстанции и её историческому развёртыванию, было весьма необычным даже в среде сионистов, а их в те годы насчитывалось немало. Пока Беньямин посвящал себя «Молодёжному движению», я начал изучение упомянутых тем. В дни, когда я посетил его впервые, мы с другом моей юности Эрихом Брауэром, который был тогда графиком, решили издавать журнал «Бело-голубые очки» <Die blauweiße Brille> (вышли три его номера)²⁹, который должен был представлять оппозицию радикальной сионистской молодёжи по отношению к войне и к впадшим в военный психоз сионистским кругам. При первом моём визите Беньямин дал мне почитать первые девять номеров журнала «Начало», которые я — видевший этот журнал ещё в 1914 году у одного соученика — ещё раз внимательно прочитал, но снова не был впечатлён. Даже к собственным статьям Беньямина я в этот период оставался равнодушным.

Несколько дней спустя Беньямин пришёл ко мне вечером, и в долгом разговоре мы ощутимо сблизились.

Я высказал ему возражения против журнала «Начало», а он сказал, что расстался с этим миром, который рухнул с началом войны, в особенности оттого, что важнейший для него человек из этого мира, его друг Хейнле — о котором в дальнейшем он всегда говорил просто «мой друг» — через несколько дней после начала войны покончил с собой вдвоём с подругой. Я рассказал ему о двух группах оппозиции, которые тогда занимали меня — о сионистской «Младоиудее» и о социал-демократически настроенных крайних левых. Он предложил мне позвать его на одну из дискуссий в «Младоиудею», когда я буду выступать. Он сказал, что еврейство ему очень интересно, хотя он о нём вообще ничего не знает. У меня же было ощущение, что в этом кругу ему будет неудобно, и я не откликнулся на его инициативу. Уже в то время я был помешан на книгах и собрал немалую библиотеку, где он находил много интересующих его вещей. Особенно его заинтересовала монография Густава Ландауэра «Революция»³⁰, от которой я тогда был в восторге. Я подарил ему экземпляр первого номера «Интернационала» и дал почитать несколько номеров журнала «Лучи света» <*Lichtstrahlen*>, издававшегося Юлианом Борхартом и единственного тогда ещё легально выходившего органа «Циммервальдской левой»³¹ в социалистическом Интернационале, ориентированном на строго антивоенную политику. В то время мы начали вести довольно продолжительные беседы о Канте, чью «Критику чистого разума» я тогда читал в издании Макса Дессуара. Бенъямин честно сознался, что всегда доходил лишь до «трансцендентальной дедукции», да и ту не понял. Мы

говорили о Кантовой теории априорных синтетических суждений, о математике и об Анри Пуанкаре, чья критика этой теории³², произведшая на меня сильное впечатление, поразительным образом — ведь у Беньямина не было больших познаний в математике — оказалась в целом известной и ему, хотя не показалась ему убедительной. Он же объяснил мне шеллинговское решение этой проблемы, о котором я ничего не знал.

Позднее я сопровождал его на какую-то встречу, назначенную на Унтер-ден-Линден, и он рассказывал мне, как в 1914 году собирался освободиться от военной службы под видом больного дрожательным параличом. Я записал это в дневник, но без подробностей — по понятным причинам я о таких вещах ничего не записывал, в том числе и тогда, когда речь шла о моих собственных военных переживаниях и связях. Лишь позднее он рассказал мне о том, что с несколькими друзьями из «Молодёжного движения» в первые дни августа в Берлине записался добровольцем, и не из-за военного энтузиазма, а опережая неотвратимый призыв так, чтобы не разлучаться с друзьями и единомышленниками. Об этом же он написал в «Берлинской хронике»³³. Однако тогда ему отказали, а кончина Хейнле впоследствии изменила его настрой. При очередном освидетельствовании его года рождения, проходившем в сентябре или октябре 1914 года, он симулировал дрожательный паралич, заранее натренировавшись. Из-за этого его призыв отложили на год. Гораздо позднее он рассказывал знакомым невероятно подчищенный вариант этих событий, истинную суть которых он сообщил мне тогда ещё в неискажённом виде.

В ту пору он представил мне свою невесту Грету Радт, о которой при следующих встречах говорил мне как о жене, что меня удивляло. Носил он, как и прежде, кольцо на левой руке, свидетельствующее лишь о помолвке. После знакомства я уехал и при жизни Бенямина больше не видел Грету Радт. Однако 50 лет спустя в Париже она рассказала мне, что эта помолвка состоялась по недоразумению. Близкая дружба у них с Бенямином была с 1913 года, а в июле 1914 года они вместе провели некоторое время в Баварских Альпах. В конце июля его отец прислал ему телеграмму-предупреждение «sapienți sab»³⁴, видимо, для того, чтобы побудить его бежать от военного призыва в Швейцарию. Однако Бенямин неправильно понял эту депешу и в ответ официально известил отца, что обручён с Гретой Радт.

Спустя десять дней мы вновь встретились на несколько часов. Тогда вышел из печати первый номер издававшегося Эрнстом Йозлем журнала «Прорыв» <*Der Aufbruch*>, который вскоре был запрещён из-за своей антивоенной позиции. Йозля отчислили из университета, что вызвало некоторую шумиху из-за весьма нечестной процедуры исключения. Бенямин рассказывал мне, что когда его самого избрали президентом ассоциации «Свободного студенчества» в Берлине, Йозль был одним из вожakov настроенной против него оппозиции. Йозль был главой группы, ориентированной на социально-политическую работу, тогда как Бенямин считал это направление тупиковым и — как доказывает его статья «Жизнь студентов» (написанная

на основе его вступительной речи в качестве президента) — выступал за «обновление» интеллектуалов. Беньямин рассказывал, что Йозель ждал от него сотрудничества в журнале, а он отказался, подробно обосновав свой отказ. Однако мне он не говорил, в чём заключались эти основания. Номер журнала содержал также статьи Густава Ландауэра и Курта Хиллера, которые по своим характерам не подходили друг другу, но здесь выступили вместе в журнале — как мы считали, чахоточном и, при всём своём антивоенном характере, лишённом направления. Беньямин очень хорошо проанализировал статью Ландауэра, которую я защищал. В отличие от «Прорыва», Беньямин сильно расхваливал мой номер «Интернационала», где ему больше всего импонировала строгая объективность статей. Таким образом, мы подошли к разговору о социализме, марксизме и философии истории, а также к вопросу о том, как должен выглядеть труд по истории, если в нём действительно будет история. Беньямин согласился, что в истории невозможно установить законы, хотя и придерживался своего определения: история есть «объективное во времени, *познаваемое* объективное». В этом он видел выход для возможности научно подтвердить такое объективное. Он признавался, что до сих пор ему этого не удавалось, тогда как я стремился доказать невозможность такого предприятия. Наконец, каждый из нас сказал: «Вот когда Вы проживёте жизнь, то поймёте, что я был прав». Беньямин отрицательно отзывался о психологической историографии Карла Лампрехта, о которой я с ним заговорил, а затем в этой связи вновь вспомнил Бубера, которому ставил в упрёк схематич-

ную психологическую философию истории — что оспаривал я, в те годы ценивший философию Бубера гораздо выше. Бенъямин ни во что не ставил буберовские комментарии на книгу Даниила (1913)³⁵ и рассказывал, что в ассоциации «Свободного студенчества» у него с Бубером состоялась продолжительная дискуссия на эту тему. На меня же эта книга произвела впечатление, однако гораздо больше мне нравилось Буберово послесловие к «Речам и притчам Чжуан-цзы»³⁶, превосходной книге, которую Бенъямин не знал, а я обещал ему дать почитать. Он рассказал мне, что теперь занят переводами из Бодлера. И действительно, на его большом письменном столе, у которого я сидел напротив него перед тем, как мы начали ходить по комнате, споря и жестикулируя, лежали очень красивое ровольтовское издание 1909-го или 1910 года *Fleurs du mal*³⁷, несколько томов Гёльдерлина, вышедших в издательстве *Insel*³⁸ — не Гёльдерлин под редакцией Норберта фон Хеллинграта, вышедший у Георга Мюллера³⁹ (впоследствии Бенъямин пользовался только этим изданием⁴⁰), — и «Графология» Крепье-Жамена⁴¹, указывавшая на интенсивные занятия Бенъямина в этой сфере. Кроме того, на столе лежало несколько блокнотов разного формата, один из которых выделялся крошечными размерами.

15 августа, в пятницу вечером, Бенъямин пригласил меня к ужину, где он познакомил меня со своими родителями и с сестрой Дорой, которой было тогда лет 15–16. Он предупредил меня, что его отношения с семьёй не слишком безоблачны. С братом Георгом, который

впоследствии стал врачом и активистом коммунистического движения, Беньямин познакомил меня лишь позднее, когда представилась возможность. Но мне не приходилось говорить с Георгом ни о чём серьёзном, мы обменивались лишь пустыми вежливыми фразами. Беньямин прочёл мне четыре стихотворения из *Fleurs du mal* в своём переводе и в переводе Стефана Георге. Он читал очень красиво, совсем не в стиле круга Георге. Во всех четырёх случаях я принимал его переводы за переводы Георге. А в двух случаях так и остался уверен, что его перевод лучше.

Я рассказал ему о своём переводе Песни Песней, над первым вариантом которого тогда работал. Он считал эту работу чрезвычайно трудной, свою же — наоборот, пустячком. Мы заговорили о Библии, и он показал мне перевод, изданный Леопольдом Цунцем в 1830-е годы⁴², о стиле которого он был высокого мнения и который — по его словам — часто и много читал. Я сказал ему, что перед нашей встречей побывал на пятничном вечернем богослужении в Старой синагоге, чья строго ортодоксальная литургия привлекала меня характерным способом декламации. Я рассказал ему, как выучил древнееврейский и о том, что до сих пор глубоко погружён в занятия этим языком. Он спросил: «По сколько часов в неделю Вы учили его?». Я ответил: «От 10 до 15 часов, меньше нельзя». Я рассказал ему, что дважды в неделю по вечерам изучал Талмуд по 2–3 часа — и это его чрезвычайно заинтересовало. Беньямин хотел знать, как всё это происходит, и я постарался объяснить ему, что так очаровало меня в чтении талмудических дискуссий. Тогда мы — в кружке

от 6 до 8 человек — изучали трактат об оформлении свидетельств о разводе, и я объяснил ему, как проходит такая галахическая дискуссия, когда учитель Писания подходит к предмету со всех сторон, зачастую в связи с по-разному интерпретируемым стихом Библии. К моему удивлению, Бенъямин сказал: «Так, например, как у Зиммеля». Тогда я имел ещё очень смутное представление о Георге Зиммеле, а сам Зиммель только что уехал из Берлина; замечание Бенъямина побудило меня прочесть некоторые труды Зиммеля, и они мне долгое время нравились гораздо меньше, чем Талмуд, с образом мысли которого они действительно имели родство. Я расхваливал ему своего учителя, д-ра Исаака Блейх-роде, благочестивого, уединённо живущего и скромного раввина из небольшого союза частных синагог в нашей местности, правнука одного из последних великих талмудистов Германии в начале XIX века, который великолепно разбирался в Талмуде, мог истолковать любую его страницу и вообще передавать из поколения в поколение иудейские традиции. Бенъямин вздохнул и воскликнул: «Ах, если бы такое было в философии!». Я заметил: «Но ведь Вы же учились у Риккерта», который тогда считался одним из наиболее проникательных и успешных преподавателей философии. Бенъямин сказал, что он разочаровался в Риккертe, который действительно очень умен, но неглубок. Потом он показал мне драгоценные приобретения своей библиотеки, «Уголино» Герстенберга — драму, которую он мне очень расхваливал и дал почитать более позднее её издание — и первое издание «Од» Клопштока, из которого прочитал мне красивым голосом короткое стихо-

творение «К Цидли» («Цидли, ты плачешь, а я, конечно, дремлю...»), это стихотворение он объявил одним из прекраснейших на немецком языке. После этого я купил себе рекламовское издание «Од» и сохранил его по сей день в память о нашей встрече. Беньямин вообще очень охотно декламировал. Я помню, что, кроме Бодлера, слышал в его исполнении также Пиндара, Гёльдерлина и Мёрике. Позднее в Швейцарии он вечерами читал и стихи из венка сонетов на смерть Хейнле и говорил, что хочет написать пятьдесят таких сонетов — на что я рассказал ему о «Пятидесяти вратах понимания», которые, согласно Талмуду, были открыты Моисею, кроме последних — что Беньямину очень понравилось.

В один из этих вечеров, когда мы ещё раз обсуждали уже запрещённый к тому времени журнал «Прорыв» Эрнста Йозля, Беньямин с негодованием показал мне почтовую карточку от Курта Хиллера, «активиста»; на адресной стороне карточки была приписка, до сих пор стоящая у меня перед глазами: «Я только что услышал, что Йозль крестился. Вы, наверное, тоже крещены? Я обнаружил, что крещение и невесёлое расположение духа взаимосвязаны». Беньямин воскликнул: «И это на открытке!». Я спросил, зачем он — в таком случае — общается со столь бестактным человеком. Он же ответил, что знает Хиллера уже несколько лет, с эпохи «Неопатетического кабаре» (основанного в 1910 году зародыша экспрессионизма), и ценит его как, в сущности, человека очень приличного — оценка, на которую Хиллер, кстати, не отвечал тем же самым, ненави-

дя Бенямина, о чём он в 1944 году, услышав о кончине Бенямина, злобно распространялся в письме к Эрвину Лёвензону, которое находится у меня в распоряжении. Когда мы вели этот разговор, Бенямин уже согласился дать свою статью «Жизнь студентов»⁴³ для сборника Хиллера «Цель», который готовился к печати. Когда в феврале 1916 года книга вышла, я написал Бенямину письмо, полное энтузиазма в отношении открыто взятой в ней антивоенной позиции, удивляясь лишь, как подобный революционный призыв мог пройти цензуру. Ответное письмо Бенямина от 2 марта 1916 года остудило мой пыл: «О “Цели” я совсем иного мнения, чем Вы, впрочем, для меня важны моя собственная статья и статья Верфеля, а больше ничьи. Я надеюсь подробно рассказать Вам причины этого в Берлине». Статья Верфеля, иронически озаглавленная «Разговор с государственным деятелем», была направлена против активизма, политической философии Курта Хиллера. Бенямин впоследствии устно объяснил мне своё глубокое отвращение к рационализму большинства статей из этого сборника, и особенно — к статьям Хиллера, Людвига Рубинера, который тогда был решительным анархистом, и Альфреда Вольфенштейна. Мы безрезультатно спорили о статье Генриха Манна «Дух и дело», которую я считал превосходной, а Бенямин отвергал по непонятным мне причинам.

Бенямин тогда намеревался съездить на пару недель в Бад-Арендзее⁴⁴, где обещал прочесть буберовского «Чжуан-цзы», которого я ему привёз. Но собрался он в эту поездку лишь позже, между 8 и 22 сентября

1915 года, а перед этим его задержали другие дела. По его возвращении и до его отъезда в Мюнхен, где он хотел учиться в следующем семестре, я ещё трижды подробно беседовал с ним. 1 октября он говорил о Гёльдерлине и дал мне — что лишь впоследствии прояснилось для меня как знак большого доверия — машинописную копию своей работы «Два стихотворения Фридриха Гёльдерлина», глубоко вдающийся в метафизику анализ двух стихотворений: «Мужество поэта» и «Робость» — проделанный Беньямином в первую военную зиму 1914–1915 годов⁴⁵. Гёльдерлин — под влиянием его нового открытия, сделанного школой Георге — превратился в крутах, где Беньямин вращался между 1911-м и 1914-м годами, в одну из высочайших поэтических фигур — и с точки зрения Беньямина его покойный друг Хейнле, «кристально чистый лирику», как определил Хейнле в разговоре со мной теперь тоже покойный Людвиг Штраус, представлял собой явление, родственное Гёльдерлину. Смерть унесла Хейнле в сферу неприкосновенности, которую можно ощутить в каждом высказывании Беньямина о нём. Но при жизни Хейнле между друзьями не было недостатка в серьёзном напряжении — что отчётливо явствует из заметок Беньямина в «Берлинской хронике». В этом разговоре о Гёльдерлине я также впервые услышал от Беньямина ссылку на издание Гёльдерлина, подготовленное Норбертом фон Хеллингратом, и узнал о его работе над переводами Гёльдерлина из Пиндара, которые произвели на него глубокое впечатление. Но в таких вещах я тогда мало что понимал.

В другой вечер мы начали играть в шахматы, обнаружив, что оба любим играть — впрочем, без чрезмерной теоретической подготовки. Мы часто играли в шахматы и в последующие годы, особенно в Швейцарии.

Я как сейчас помню ночь с 20-го на 21 октября, перед переосвидетельствованием Бенямина. По его просьбе я провёл с ним эту ночь до утра, сначала несколько часов в разговорах в новом *Café des Westens* на Курфюрстендамм⁴⁶, а затем играя в шахматы и карты («от 66 до 1000»), вырожденная разновидность весьма распространённой тогда игры в «шестьдесят шесть») в его комнате на Дельбрюкштрассе, и при этом он пил значительные количества чёрного кофе, как тогда многие практиковали перед переосвидетельствованием. Мы сидели вместе с девяти часов вечера до шести утра. В *Café des Westens* он рассказывал кое-что о себе и о своём пребывании в «Молодёжном движении» — о чём обычно говорил очень мало. Тогда я впервые услышал имя Симона Гутмана, который играл большую роль в «Неопатетическом кабаре» и в крутах журнала «Начало» и был упомянут Бенямином — после их разрыва — лишь в смутных намёках как демоническая фигура. Гутман участвовал в раздорах и скандалах в «Дискуссионном клубе» «Молодёжного движения», пытаясь путём переворота поставить Бенямина и Хейнле редакторами «Начала» вместо Барбизона и Бернфельда. Бенямин рассказывал также, что его бабушка с отцовской стороны, Брунелла Мейер, которая тогда была ещё жива, происходит из семьи ван Гельдерн, семьи матери Генриха Гейне.



Вверху: *Café des Westens*. Снимок из газеты *Berliner Tageblatt* от 2 мая 1905 г. Слева направо: жена П. Шеербарта Анна Зоммер, Самуэль Люблински, Соломон Фридлендер, Пауль Шеербарт, Эльза Ласкер-Шюлер, Херварт Вальден.

Внизу: почтовая открытка с интерьером *Café des Westens*

Впоследствии я обнаружил, что имя Брунелла, которое в еврейских семьях часто — по крайней мере, официально — заменяло имя девочек Брайна или Бройнле, в семье ван Гельдерн считалось наследственным с начала XVIII века. У Бенъямина тогда ещё был родственник из этой семьи в Рейнланде, по-моему, в Мюльгейме под Кёльном. Он рассказал мне также, что его мать была сестрой прежде очень известного математика Артура Шёнфлиса, который впоследствии стал ординарным профессором во Франкфурте-на-Майне. Что же касается крута «Молодёжного движения», то Бенъямин говорил о нём весьма общо, не вдаваясь в подробности катастроф и напряжений, о которых упоминал лишь намёками. (У меня есть несколько документов об этом, в основном от Барбизона.) Он говорил лишь о культе гения, царившем в этом кругу.

После описанной ночи Бенъямину удалось получить год отсрочки, тогда как сам я, только что выдержав выпускной экзамен экстерном перед комиссией, должен был ждать призыва на военную службу. Бенъямин, как и намеревался, уехал в конце октября в Мюнхен, где училась и Грета Радт. О нём долго не было известий, и лишь когда я — объявленный врачом негодным к военной службе вскоре после моего призыва в Верден-на-Аллере — известил его в начале декабря о моём увольнении из армии и о возобновлении учебы, он вновь начал мне писать. Но он боялся вскрытия писем цензурой и моих неосторожных высказываний на политические темы. «Между Берлином и Мюнхеном цензуры нет, — писал он мне, — но, несмотря на это,

рекомендуется всяческая [дважды подчёркнуто!] мудрость, *prudentia*⁴⁷. Это я прошу Вас серьёзно принять во внимание».

КРЕПНУЩАЯ ДРУЖБА (1916–1917)

В начале марта Бенъямин сообщил мне, что вернётся примерно 15-го числа, и мы сможем подробнее обсудить поставленные в моих письмах вопросы о Платоне, о котором я тогда много читал, и предложенные мною критические рассуждения по математике. Я с нетерпением ждал этого. В дневник я записал: «Если долго о чём-то думаешь, тебя возвышает возможность общности с плодотворным и благоговеемым. С Брауэром (другом моей юности) я не могу об этом говорить, да и с другими тоже: я не могу говорить с сионистами о своих сионистских делах, на самом деле — это угнетающий факт для обеих сторон... Мне приходится идти к несионисту и нематематику Бенъямину, у него есть некий орган там, где большинство других уже ничего не воспринимает». Но у меня почти не осталось воспоминаний о многообразных беседах, которые мы вели тогда в Берлине с 9 апреля до конца месяца.

Когда Бенъямин уехал в Мюнхен, где хотел поработать в уединении, он надеялся найти там Людвига Клагеса, чьи графологические сочинения привлекали его, как он упоминал *en passant*⁴⁸. Но Клагеса в Мюнхене не оказалось — теперь мы знаем, что за два месяца до этого он уехал в Швейцарию, так как тоже полностью

отвергал тогдашнюю войну. Почти 14 месяцев, проведённые Беньямином в Мюнхене, стали решающими для его последующей жизни. Весной была расторгнута помолвка с Гретой Радт и началась его связь с Дорой Поллак — она жила в Зеесхаупте на озере Штарнберг-зее⁴⁹ на вилле своего (очень богатого) мужа, с которым она в том же году развелась. Дора, родом из Вены, была дочерью известного англиста и специалиста по Шекспиру, профессора Леона Кельнера, сиониста «первого призыва» и близкого друга, а впоследствии — душеприказчика Теодора Герцля; Кельнер был ответственным редактором герцлевских «Сочинений по сионизму» и дневников⁵⁰. То есть она росла в сионистской среде, но впоследствии отдалась от неё и, выйдя в Берлине замуж за Макса Поллака, примкнула к «Молодёжному движению». В «Берлинском дискуссионном клубе» она играла важную, пусть и общественную, роль. В детстве она год проучилась в Англии и превосходно знала английский, была очень музыкальна и играла на фортепьяно, но в первую очередь обладала сильной восприимчивостью и способностью к живому отклику и усвоению того, что считала важным. У неё была живая речь с заметным венским выговором, она умела заводить разговоры или переключать их на другую тему. Один член этой группы, живший по соседству с Максом и Дорой Поллак, рассказывал мне, что на него и на других выступления Доры производили большое впечатление, и все они были в неё немного влюблены. Некоторые опубликованные письма Беньямина этого периода (1914) свидетельствуют о её тогдашнем участии и дружественном отношении к Беньямину. В апреле

1915 года, когда Дора жила ещё в Зеесхаупте, они с Бенъямином предприняли поездку в Женеву, чтобы навестить друга юности и соученика Бенъямина Герберта Блюменталья (впоследствии Бельмор), который долго поддерживал тесную дружбу с обоими и принимал живое участие в «Молодёжном движении». Блюменталь был гражданином Англии и за несколько месяцев до войны — видимо, ради дальнейшего образования, а он был график — уехал в Англию, а после начала войны переселился в Швейцарию, где женился на Карле Зелигзон, с которой Бенъямин дружил в 1913–1914 годах (некоторое время между ними было сильное влечение). Существуют письма Доры к Блюменталю, которые подробно рассказывают о трениях в «Молодёжном движении» весной 1914 года и показывают, что уже тогда они признавали в Бенъямине самый значительный ум этого движения. Но в середине мая 1915 года Дора рассталась с Бенъямином, чтобы, как она писала в одном письме, «спасти себе жизнь». И только в начале 1916 года они возобновили общение.

Когда я вспоминаю, что между нами было общего после этих первых встреч, то вижу несколько приметных вещей. Я назвал бы непоколебимость в следовании духовной цели; отторжение от среды немецко-еврейской буржуазной ассимиляции — и положительное отношение к метафизике. Мы были сторонниками радикальных требований. В университетах у нас обоих не было, по существу, учителей в полном смысле слова, мы занимались самообразованием, каждый на свой лад. Не припомню, чтобы кто-то из нас с энтузиазмом

говорил о ком-то из преподавателей, а если мы кого и хвалили, то это были чудаки и неудачники, скажем, языковед Эрнст Леви со стороны Беньямина и Готтлоб Фреге с моей. Доцентов по философии мы всерьёз не воспринимали — может быть, самонадеянно. К примеру, я был разочарован курсом лекций Эрнста Кассирера по греческой доплатоновской философии зимой 1916–1917 годов, а Беньямин, ни во что не ставя Рила, отговорил меня от участия в его семинаре по кантовским «Прологоменам». Он процитировал шутку, ходившую о профессорах Штумпфе и Риле: «В Берлине философия выкорчевана со Штумпфом и Рилем»⁵¹. Он говорил в те годы без всякого почтения и о Риккертe, хотя и признавал за ним острый ум; но и этого мне было достаточно, чтобы изучить одно из поздних изданий труда Риккерта «Предмет познания»⁵². Мы пробивались к своим звёздам без академических руководителей. В разговоре о произведениях Франца фон Баадера, который мы вели в Швейцарии — насколько я помню, они, да ещё сочинения Платона, были единственными полными собраниями философских трудов в библиотеке Беньямина, — мы пытались вообразить, каким должен быть уровень слушателей, чтобы они могли усвоить лекции такого духовного полёта и такой глубины. Я как раз прочёл тогда баадеровские «Лекции по теории жертвы по Якобу Бёме»⁵³ и сообщил об этом. Баадер импонировал Беньямину больше, чем Шеллинг, у которого он в свой период «Свободного студенчества», кроме разбора Канта, прочёл только «Лекции о методе академического исследования»⁵⁴.

Об Эрнсте Леви мы заговорили в апреле 1916 года, когда я рассказал Бенъямину о приобретении у антиквара издания «Сочинений по философии языка» Вильгельма фон Гумбольдта под редакцией Штейнталя⁵⁵. Я натолкнулся на него при чтении «Докладов к критике языка» Фрица Маутнера⁵⁶, над которыми тогда упражнялся. Бенъямин был поражён и сообщил мне, что в одном из своих ранних семестров участвовал в семинарах Эрнста Леви по гумбольдтовской философии языка; введение Леви к Гумбольдту произвело на него особенное впечатление. А именно: Эрнст Леви предлагал одному из студентов прочесть большой отрывок из выборки сочинений Гумбольдта, возможно, и из того самого штейнталевского издания, а затем спрашивал: «Вы это понимаете? Вот я — нет». Такими и подобными замечаниями он распугивал большинство, так что на второй час являлось немного студентов, среди них — Бенъямин. И тогда Леви говорил: «Итак, мы избавились от плебеев и можем начинать», — и после этого у него были очень интересные занятия. Бенъямин рассказал мне историю своеобразного скандала, случившегося при габилизации⁵⁷ Леви в Гёттингене, где тому — хотя он отвечал всем прочим требованиям — было отказано в *venia legendi*⁵⁸ из-за чисто формальной «испытательной лекции» на тему «О языке раннего Гёте». Он тогда пытался обосновать утверждение, будто в языке раннего Гёте происходит сдвиг от индоевропейского языкового типа к финно-угорскому⁵⁹, которому были посвящены специальные исследования Леви. Гёттингенский факультет воспринял это как кощунство по отношению к Гёте, а Леви удалось

добиться габилитации в Берлине лишь позднее и с более безобидной темой. Беньямин дал мне почитать брошюру с этой вступительной лекцией (затем я купил её за пятьдесят пфеннигов); в предисловии к ней автор намекал на происшествие в Гёттингене лишь в совершенно непрозрачной и «благородной» форме.

Трудности в общении с Беньямином были серьёзные, хотя со стороны это не было очевидным из-за его безупречной вежливости и готовности выслушивать и обсуждать мнения других людей. Вокруг него всегда была зона сдержанности, которая передавалась собеседнику даже без особых приёмов, к каким он нередко прибегал с целью сделать их ощутимыми. Эти приёмы состояли главным образом в мании таинственности, доходящей до эксцентричности, которая распространялась на всё, что касалось его лично, хотя иной раз она внезапно нарушалась откровениями чрезвычайно интимными и личными. Трудностей общения было три. Выдерживать первую — уважение к его одиночеству — было легко, она диктовалась естественным чувством границы. Мне быстро стало ясно, что он ценил это уважение, оно было предварительным условием общения с ним и повышало его доверие к собеседнику. Столь же легко было соблюсти и второе его условие — отказ от обсуждения политической злобы дня и военных действий. После публикации «Писем» Беньямина рецензенты удивлялись, что в них не содержится никаких ссылок на злободневные события Первой мировой войны, которая, как-никак, наложила отпечаток на людей моего поколения, и считали это упущением составителей —

а за этот период отвечал я, — если не результатом цензурирования. В действительности же в те годы с Беняминам мог близко общаться лишь тот, кто — вроде меня — разделял или учитывал упомянутую установку. Мы разговаривали о нашем принципиальном отношении к войне, но никогда не обсуждали конкретных её событий. Ведь это было между 1916-м и 1918-м годами, зона, по умолчанию выносимая за скобки, и его письма тех лет аутентично отражают это положение вещей. А вот соблюдение третьего условия, а именно — обходиться молчанием его склонность к секретничанью, часто требовало усилий, так как у этого серьёзного и даже меланхоличного человека в этой склонности заключалось нечто смехотворное. Бенямин старался избегать упоминания имён друзей и знакомых. Если дело касалось обстоятельств его жизни, он настаивал на полной секретности, которая была оправдана лишь в небольшой части. Постепенно это скрытничанье, заметное и другим его собеседникам, разрушалось, и он начинал, но всегда по собственной воле, говорить о людях, не превращая их в анонимов. Этому избеганию имён отвечало и желание Бенямина держать своих знакомых изолированными друг от друга, и со мной, происходившим из другой среды, среды сионистской молодёжи, это удавалось лучше, чем с представителями его сферы — немецко-еврейской интеллигенции. И лишь случайно выяснялось, что у нас есть общие знакомые, например, поэт Людвиг Штраус и философ Давид Баумгардт. С другими его друзьями и знакомыми я познакомился годы спустя, начиная с 1918-го (а с некоторыми — лишь после 1945-го). Подводя итоги, я бы

сказал, что для общения с Беньямином требовалось много терпения и такта. А эти свойства чужды моему темпераменту, и я смог их развить лишь в общении с ним.

Сюда добавлялось непосредственное впечатление гениальности: ясность, которая часто проступала сквозь его сумрачное мышление; энергия и острота, с какими он экспериментировал в разговоре, и приправленная шутливыми формулировками неожиданная серьезность, с какой он входил в подробности бурливших во мне вещей, основные моменты которых — неотложность моих сионистских убеждений и вопросы моего математико-философского выбора темы для исследований — были всё же далеки от него. Но он был хорошим слушателем, хотя и сам говорил охотно и много. В своём визави Беньямин предполагал гораздо более высокий уровень образования, чем был на самом деле. Если я говорил, что чего-то не знаю, он делал большие глаза. Он задавал очень хорошие, часто неожиданные вопросы. О немецком участии в развязывании войны он в 1915 году не мог вдоволь наслушаться, и я достал ему несколько брошюр, циркулировавших тогда среди левых социал-демократов, с доказательством провоенной позиции Австрии и Германии. Беньямин отнюдь не был «убеждённым пацифистом», как то и дело приходится читать. С *этой* войной он не хотел иметь ничего общего, но не из-за пацифистской идеологии, которая была ему совсем не по душе. Впоследствии мы почти не говорили о таких вещах. В нём бросалась в глаза ещё и чрезвычайная чувствительность к шуму, о которой он часто говорил как о «шумовом психозе».

Это могло его доконать. Как-то он писал мне: «Есть ли покой у других людей? Хотел бы я знать».

В его мюнхенский период я посетил Бенямина лишь дважды. Летом 1916 года по рекомендации врачей я не учился в университете, а задержался в Гейдельберге, откуда поехал (отчасти шёл пешком) через Мюнхен в Альгой⁶⁰ и оставался там до конца августа. С 16 по 18 июня мы с Бенямином были в Мюнхене и Зеесхаупте, но с Дорой я тогда не познакомился. Он жил в небольшой комнате в Английском саду⁶¹, на Кёнигинштрассе, 4. Я проводил его затем в Зеесхаупт к его друзьям, имён которых он не называл, и я остался на вечер в отеле. Тогда вышел первый номер журнала Бубера «Еврей»⁶², основные статьи в котором не понравились нам обоим, а вот второй номер я счёл действительно хорошим. У нас состоялся долгий разговор о еврейских проблемах, так как Бенямина пригласили сотрудничать в этом журнале и он хотел обсудить свою позицию со мной. Ещё после Гейдельберга он написал мне: «У меня есть намерение — только это между нами — направить Буберу открытое письмо по поводу “Еврея”. Но не отложить ли мне это до тех пор, пока не поговорю с Вами?». То есть письмо изначально должно было содержать полемическую ноту, которая в фактическом письме оказалась сильно приглушённой. В нашем разговоре у меня сложилось впечатление, что он «дошёл до еврейства и того и гляди испытает потребность выучить древнееврейский». Я много рассказывал ему о том, как продолжал заниматься иудаикой. «В “Еврее”», — записал я тогда в дневник, — он, конечно, не

может и не будет сотрудничать, поскольку его теперешняя позиция исключает занятия литературой, как я уже заранее сказал Буберу [при посещении его в мае в Геппенгейме⁶³, где Бубер рассказал мне о посланном Беньямину приглашении]. Ему впору проклясть то, что люди вообще основывают журналы такого рода, не говоря уже о его претензиях к конкретному вышедшему журналу», а именно — недостаток объективности и избыток риторики. Особенный гнев Беньямина вызвали статьи самого Бубера и Гуго Бергмана. И наоборот, он находил превосходной переведённую с иврита длинную статью А.Д. Гордона, сельскохозяйственного рабочего в кевуце* Дагания и центральной фигуры в начале движения кибуцев. Гордон был толстовцем, который пытался применить на практике свои учения, но в то же время — глубоко привязанным к традиционному иудаизму человеком, чьи статьи между 1910-м и 1922-м годами оказали большое влияние на зачатки социалистических поселений в Израиле.

В результате нашей беседы Беньямин написал достопамятное письмо к Буберу в начале июля 1916 года, которое напечатано в «Письмах» [В. I. S. 125 и далее].

Когда я был в Оберstdорфе, он пригласил меня от имени друзей на три дня в Зеесхаупт, где я жил на вилле Поллака. Нужно было поддерживать легенду, будто Макс Поллаку пришлось неожиданно уехать, тогда как на самом деле супруги находились в разводе. Меня

* Кевуцей называлась небольшая группа для основания общинного поселения по социалистическим принципам, кибуц — аналогичное поселение из большего количества жителей.

умоляли хранить тайну о месте визита. Мы с Бенъямином встретились в Мюнхене, где он рассказал мне, что не предпримет запланированную поездку, о которой он писал мне прежде, из-за ожидаемого с минуты на минуту переосвидетельствования. Для этого он поедет на следующей неделе в Берлин, а я должен всё это время оставаться в Зеесхаупте, если получится. Он уже давно не читает газет, а касающиеся его вещи ему сообщают из Берлина. Но сегодня утром он вновь просматривал журналы *Weisse Blätter*, *Zeit-Echo*, *Neue Merkur*⁶⁴ и т. п., и при этом ему бросилось в глаза, что хотя их авторы сегодня пишут уже не так, как 1 августа 1914 года, но дистанция между событиями и ими осталась такой же, как было в первый день войны, или, иначе говоря, разница между этими «радикалами» и газетами вроде *Lokal-anzeiger*, *Berliner Tageblatt* и «Тёткой Фосс»⁶⁵ осталась без всяких изменений. Затем воскресным вечером мы выехали под проливным дождём, который не утихал несколько дней, и за всё это время я гулял лишь полчаса, а остальное время проводил в доме Поллаков. По пути Бенъямин рассказал мне, что очень обрадовался длинному письму, которое я ему написал о его вышедшей в *Das Ziel* статье. Мы говорили о необходимости изучения Канта, к которому он был весьма расположен, и, без всякой связи, об издававшемся с недавних пор приверженцами Рудольфа Штейнера журнале *Das Reich*⁶⁶, первый номер которого Бенъямин дал мне почитать во время июньского визита. Некоторые из чрезвычайно эзотерических статей произвели на него впечатление, и он рассказал, что в этом году познакомился с Максом Пульвером, который разделял его интерес к Баадеру

и к графологии. Затем мы брели полчаса под дождём до самого дома, где я занимал великолепную и прекрасно обставленную комнату на втором этаже, тогда как Беньямин и хозяйка дома, ожидавшая нас в музыкальной гостиной, спали в куда менее шикарных комнатах на третьем этаже. Дора была несомненно красивой, элегантной женщиной с тёмно-русыми волосами, немного выше Беньямина. С первого же момента она вызвала у меня дружескую симпатию. Она участвовала в разговорах с большим воодушевлением и даром проникновения. Словом, Дора произвела на меня неизгладимое впечатление. Я тотчас же понял ситуацию; оба не скрывали взаимную симпатию и считали меня своего рода соучастником заговора, хотя и не проронили ни слова об обстоятельствах их жизни. Однако кольцо помолвки Беньямина исчезло с его руки. Дора рассказывала о сионистской среде её родительского дома и о том, что её братья и сестры — сионисты, она одна остаётся в стороне. В тот же вечер мы до часу ночи проговорили о сионизме, причём Беньямин зачитал мне вслух вышеупомянутое письмо к Буберу, на которое Бубер, кстати, не ответил, но мне при встрече в конце 1916 года высказал о нём злое замечание. Впрочем, позднее, если удавалось, Бубер заступался за Беньямина, например, в деле о поездке в Иерусалим, однако эти двое вообще не были расположены друг к другу. Беньямин рассказывал, что после написания этого письма, в котором подробно рассуждал о функции языка и умолкания, он нашёл в «Философии истории» Фридриха Шлегеля⁶⁷ место, где — хотя и в других терминах — говорилось о том же, что он хотел выразить в своём письме.



Дора Поллак и Вальтер Беньямин. 1916 г.
Национальная библиотека Израиля, Иерусалим



Гёльдерлин Ф. Полное собрание сочинений под редакцией
С.Т. Шваба (Штутгарт; Тюбинген: Котта, 1846, 2 тома)

На следующее утро Бенъямин показал мне хорошую библиотеку, где были сочинения Гёльдерлина в издании Шваба (1846)⁶⁸, переводы Боте из Пиндара (1808)⁶⁹, фоссовские переводы из Горация и много другого, в том числе и по философии. На полу лежала книга Эрнста Маха «Познание и заблуждение»⁷⁰. Дора хотела её продать, так как «ведь это же пустяки». Когда я стал уговаривать её продать книгу мне, она сказала, что если муж не будет против (совершенно надуманное замечание), то она мне её подарит в знак гостеприимства — что она впоследствии и сделала. Бенъямин жалел меня за мой дурной вкус. Он тогда презирал враждебный метафизике прагматизм, тогда как мне книга Вильяма Джеймса под названием «Прагматизм»⁷¹, которую я прочёл в немецком переводе, показалась значительной. Бенъямин прочёл вслух оду из Пиндара в переводе Гёльдерлина и в греческом оригинале. Затем я сам прочёл свою статью «Еврейское молодёжное движение», которую написал в Оберstdорфе для буберовского журнала — остро полемичную против нехватки радикализма у еврейской молодёжи⁷². «Я считаю, что она очень хороша», — сказал Бенъямин после продолжительной паузы. Затем Бенъямин с Дорой резко упрекали меня за слишком скромные притязания по гонорару. Дескать, мне не следовало вести себя так ребячески. «Обладание истиной даёт право притязать на достойный уровень жизни», — говорил Бенъямин. А я даже не знал, платит ли вообще гонорары «Еврей», мне это было безразлично. Бенъямин рукоплескал статье Гиллеля Цейтлина, который действительно находился в центре еврейства, во втором номере этого

журнала. В остальном же он упрекал журнал за то, что там не обсуждается содержание иудаизма — Тора, Талмуд и книги пророков, — а всё это просто подразумевается. Кроме того, всё, что там выходит, дескать, предполагает сионизм, хочет его развивать и улучшать, поэтому ему так понравилась моя статья, направленная против господствовавших тенденций и требующая, чтобы упор был сделан на содержание.

Все эти дни мы много говорили о еврействе и впервые коснулись вопроса, следует ли ехать в Палестину. Беньямин критиковал «почвенный сионизм», который защищал я. Он говорил, что сионизм следует отучать от трёх вещей: «от почвеннической установки, расовой идеологии и буберовской аргументации через кровь и пережитое». Я согласился с ним в том, что переселяться в Палестину следует не обязательно в качестве сельскохозяйственных рабочих или крестьян, но можно иметь и другую профессию. Я тогда — и ещё лет семь — подумывал о том, чтобы переехать в Палестину школьным учителем. В ответ на беньяминовскую критику Бубера я хвалил сочинения Ахада Ха'ама — о котором Вальтер ещё ничего не слышал, — а некоторые его статьи о природе еврейства, вышедшие в немецкой подборке, я дал ему почитать в конце 1916 года. Но больше всего мы говорили о Бубере, которого он резко критиковал. Прощаясь, Беньямин наказывал мне, если встречу Бубера, передать ему бочку наших слёз. Он говорил, что в личном общении Бубер произвёл на него впечатление человека, живущего в постоянной отрешённости, где-то очень далеко от самого себя, собственным двойником. Это отразилось в статье

Беньямина «Одновременное», вышедшей в журнале *Zeit-Echo*. Особенно резок он был в отрицании культа «пережитого», превозносимого в буберовских произведениях того времени (прежде всего, с 1910-го по 1917-й годы). Как только речь заходила о Бубере, он насмешливо говорил, что каждого еврея следует, прежде всего, спрашивать: «А у Вас уже было еврейское пережитое?». Беньямин хотел побудить меня дать в статье решительный отпор буберовскому «пережитому». В одной более поздней статье я действительно сделал это, получив от Беньямина мощный импульс. И взаимно — то, что я рассказывал ему об Ахаде Ха'аме, весьма просветило его — особенно в его понимании роли справедливости в иудаизме. Он определял справедливость как «волю сделать мир высшим благом». Мы спорили о Бубере с разных сторон, и Беньямин говорил, что у Бубера женское мышление, а это у него — в отличие от Густава Ландауэра, который в одной статье утверждал о Бубере то же самое, но с похвалой, — означало неприятие. Мы обсуждали также, является ли Сион метафорой, в чём я тогда был уверен — ибо лишь Бог не был метафорой, — а Беньямин отрицал. Он утверждал (к чему мы пришли в разговоре о библейских пророках), что пророков нельзя использовать метафорически, если мы признаём авторитет Библии. Под конец мы вместе читали речь Сократа в «Пире» Платона, и Беньямин говорил о странном удвоении ряда греческих богов и о той особенности, что есть так много греческих богов, которые непосредственно трансформируются в некую идею, Ананке⁷³ и т. д. У Беньямина тогда было написано несколько страниц о Сократе,

и он прочёл их вслух. Я потом переписал это для себя. Он выдвигал там тезис, что Сократ — «аргумент и стена Платона против мифа».

На следующий день мы добрались до Гегеля — это был наш первый разговор о Гегеле, который я помню. Очевидно, Беньямин лишь бегло прочёл несколько сочинений Гегеля и в то время не был его почитателем. Ещё год спустя он писал мне: «Всё, что я до сих пор читал из Гегеля, отталкивало меня». «Духовная физиономия» Гегеля, дескать, есть «физиономия интеллектуального насильника, мистика насилия — худший сорт мистика, но всё же он — мистик» [B. I. S. 171]. Тем не менее, Беньямин защищал его, когда я в разговоре сделал несколько дерзких замечаний о спекулятивной натурфилософии, которая оскорбляла мою математическую душу настолько же, насколько впечатляла мою душу мистическую. Беньямина это не волновало, и он находил мужество Гегеля и Шеллинга достойным удивления как раз из-за риска *deductio ad absurdum*⁷⁴, на который они шли (так, впоследствии он превозносил в разговоре со мной относящиеся к этой же сфере «Фрагменты из наследия молодого физика» И.В. Риттера⁷⁵). Он схватил «Феноменологию духа», стоявшую в библиотеке Поллака, и прочёл из неё наугад несколько предложений, среди которых: «Нервная система есть непосредственный покой органического в его движении». Я засмеялся. Беньямин строго уставился на меня и сказал, что не может считать это предложение таким уж бессмысленным. Без всякой подготовки, *ex tempore*⁷⁶ и без знания взаимосвязей, в каких находились понятия у Гегеля, он привёл пространную и энергичную интер-

претацию в защиту прочтённого тезиса. Я забыл суть этой интерпретации, но жест Бенямина как защитника Гегеля произвёл на меня сильное впечатление. Припоминаю приводимое Гегелем определение поступка и высказывание Лихтенберга, согласно которому абсурдно отличать человека от его действий.

В одной дискуссии мы гадали, хотел ли Гегель свести мир к математике, философии или мифу. Бенямин признавал миф в качестве «мира». Он сказал, что и сам ещё не знает, какова цель философии, так как «смысл мира» даже не нужно обнаруживать, поскольку он уже задан в мифе. Миф — это всё; всё остальное, даже математика и философия, есть только помрачение, видимость, которая возникла в самом мифе. Я возразил, что кроме мифа есть ещё математика — до тех пор, пока не будет найдено великое дифференциальное уравнение, в котором выражается мир, или — что правдоподобнее — пока не будет доказано, что такого уравнения не может быть. И тогда миф будет оправдан. Философия не есть нечто самостоятельное, и только религия пробивает брешь в этом мире мифа. Я оспаривал тот тезис, что математика может быть частью мифа. Здесь впервые проявился решительный поворот Бенямина к философскому проникновению мифа, которое занимало его много лет, начиная с работы над Гёльдерлином и, пожалуй, до конца жизни. Этот поворот окрасил ещё многие наши беседы. В этой связи Бенямин уже тогда говорил о различии между правом и справедливостью, причём право есть порядок, обоснованный лишь в мире мифа. Четыре года спустя он развил эту мысль в статье «К критике насилия»⁷⁷. Долж-

но быть, в это время Беньямин соприкоснулся с работами Бахофена⁷⁸, а также прочёл труды этнолога Карла Теодора Пройсса об анимизме и преанимизме. Он часто использовал рассуждения последнего о преанимизме. Это вывело нас к разговору о призраках и их роли в преанимистическую эпоху. При этом Беньямин много рассказывал о некоторых из его собственных снов, где призраки играли значительную роль; таков, например, мотив большого пустого дома, в котором у окна парят, танцуют, призраки.

Позднее я вплотную занялся критическим разбором этих разговоров, потому что — как я записал тогда — «если я действительно хочу идти вместе с Беньямином, то должен провести колоссальную ревизию взглядов. Мой сионизм сидит во мне столь глубоко, что его невозможно поколебать». Ещё я добавил: «Выражение “некоторым образом” есть печать несформированного мнения. Никто не употреблял его так часто, как Беньямин».

Всё это, конечно, находилось в тесной связи с его интересом к философии истории. Как-то мы проговорили об этом целый вечер после его трудного замечания о том, что ряд лет поддаётся подсчёту, но не нумерации. Это вывело нас на значения последовательности, числа, ряда и направления. Имеет ли время, которое, конечно, последовательно, ещё и направление? Я сказал: «Откуда нам знать, что время не ведёт себя, как кривые, которые хотя и имеют в каждой точке непрерывный ход, но нет ни одной точки, где могла бы быть касательная, т. е. определенное направление?». Мы спорили о том, можно ли годы, подобно числам, менять

местами так, как они поддаются нумерации? У меня до сих пор сохранилась запись об этой части разговора. В дневнике я записал: «Ум Беньямина кружит и будет ещё долго кружить вокруг феномена мифа, к которому он подходит с самых разных сторон. Со стороны истории, где он исходит из романтизма, со стороны поэзии, где он исходит из Гёльдерлина, со стороны религии, где он исходит из иудаизма, и со стороны права. Если у меня когда-нибудь будет своя философия — сказал он мне — то она “некоторым образом” будет философией иудаизма».

Дора подарила ему тогда превосходное издание *Contes drôlatiques* Бальзака⁷⁹ с великолепными и фантастическими иллюстрациями Гюстава Доре, от которых я как-то целый вечер не мог оторваться. В его комнате лежало и очень красивое французское издание *Bouvard et Pécuchet* <Бувар и Пекюше> Флобера. Беньямин хвалил *Catalogue des opinions chic* <Перечень изысканных мыслей> и утверждал, что Флобер совершенно непереволим.

Во время моего визита мы иногда играли в шахматы. Беньямин играл чудовищно медленно и делал неочевидные ходы. Поскольку я играл гораздо быстрее, очередь хода всегда была за ним. Я проиграл партию, которую он играл вместе с Дорой против меня.

Вероятно, уместно упомянуть, что Беньямин уже тогда любил детективы, прежде всего — вышедшие в штуттартской серии переводы классических американских и французских романов — например, Мориса А.К. Грина, Эмиля Габорио («Господин Лекоу»), а в свой мюнхенский период — ещё и книги Мориса

Леблана об Арсене Люпенe, джентльмене-взломщике. Позднее он много читал шведа Хеллера, а в тридцатые годы сюда добавились книги Жоржа Сименона, которые он мне иногда советовал в своих письмах, уточняя, что читать его надо по-французски, чтобы вполне оценить их, — чего он никогда не говорил о Прусте, то ли потому, что свой, сделанный вместе с Хесселем⁸⁰ его перевод он считал адекватным, то ли считал мой французский недостаточным для такого чтения. В тщательно составленном списке прочитанных книг, о котором он мне рассказывал уже тогда и который (от 1915 года) сохранился в его наследии, от детективов рябит в глазах.

Не сомневаюсь, что прорыв в наших отношениях и переход от знакомства к дружбе летом 1916 года во многом зависел от Доры, которой Беньямин рассказывал обо мне. В самом начале я пригласил его приехать ко мне в Оберstdорф⁸¹. Позднее Дора доверительно рассказала мне, что ответное приглашение в Зеесхаупт, которое свело нас вместе вопреки его всегдашним обычновениям, последовало по её инициативе. Её интерес ко мне был вызван его рассказами о моей страсти ко всему еврейскому.

Примерно до 20 декабря 1916 года Беньямин оставался в Мюнхене, где он ещё в летний семестр начал изучать у американиста Уолтера Лемана мексиканскую культуру и религию майя и ацтеков, что было тесно связано с его мифологическими интересами. Во время этого лекционного курса, посещаемого лишь немногими, причём вряд ли студентами, Беньямина привлекли фи-

гура и труды испанского священника Бернардо Саагуна, которому мы столь многим обязаны в сохранении традиций майя и ацтеков. Там Бенъямин поверхностно познакомился с Рильке — между серединой ноября и декабрём. Он с удивлением рассказывал о вежливости Рильке — он, чья китайская вежливость уже доходила до пределов того, что я мог вообразить! Затем в Берлине я увидел у него на письменном столе ацтекско-испанский словарь Молиноса, который он раздобыл, чтобы выучить ацтекский — чего, впрочем, так и не случилось. Рассказы Бенъямина о лекциях Лемана погнало туда и меня, когда я приехал в Мюнхен в 1919 году. У Лемана я читал гимны богам майя, некоторые из них я и теперь могу рассказать наизусть на языке оригинала.

Бенъямин мог бы встретиться в Мюнхене с Францем Кафкой, который 10 ноября 1916 года публично читал там свой рассказ «В исправительной колонии». К сожалению, он упустил эту возможность, а я иногда задумываюсь над тем, что могла бы значить встреча между этими людьми⁸².

В разговорах в Зеесхаупте Бенъямин упомянул, что видит своё будущее в доцентуре по философии. Под впечатлением наших бесед я записал тогда в дневник: «Если Бенъямин когда-нибудь будет читать реальный курс по истории философии, его никто не поймёт, но его семинар мог бы стать грандиозным, если его понастоящему *спрашивать*, а не навешивать ярлыки», — что было камешком в огороде Кассирера. Я написал в то время Бенъямину длинное письмо об отношениях

математики и языка и предпослал этому письму целый ряд вопросов. Из его длинного ответа, прерванного на середине, возникла работа «О языке вообще и о языке человека»⁸³, которую на словах он называл первой частью, за которой должны были последовать ещё две; копию этой работы он мне дал, когда в декабре 1916 года вернулся в Берлин. Его опять вызвали на военно-медицинское переосвидетельствование, и он приехал на неделю раньше. Вечером 23 декабря я долго пробыл вместе с ним, и он рассказывал мне об Эрихе Гуткин-де (1877–1965), авторе мистической книги «Звёздное рождение» (1912)⁸⁴, с которым он познакомился за несколько месяцев до этого. Гуткинд, мечтательный, но высокообразованный выходец из полностью ассимилированной семьи, начал тогда вдохновляться иудаизмом, и Беньямин, рассказавший ему обо мне, настаивал на моей встрече с Гуткин-дом. «Вы — то, чего недостаёт этому человеку», — сказал он мне. Я пожелал, чтобы и Беньямин там тоже присутствовал, и в один из ближайших дней мы втроем опять говорили на еврейские темы, сидя в кафе. Беньямин долго испытывал большую симпатию к Гуткин-ду и в начале двадцатых годов тесно общался с ним и его женой. Я тоже часто посещал Гуткин-дов в их доме в Новавесе, предместье Берлина, и в 1917 году некоторое время давал им уроки гебраистики. (Впоследствии Гуткинд стал чуть ли не ортодоксом.)

Весь вечер и большую часть ночи перед переосвидетельствованием Беньямина я вновь провёл с ним. Мы ужинали в кругу его семьи, а потом я спал в гостинной

в шезлонге. Там стояла большая рождественская ёлка, что было обычным для многих либеральных еврейских семей. Я знал это из моего детства и посетовал Беньямину на то, что ощущал как откровенную безвкусицу среды, откуда мы происходили. Я услышал от него такое же объяснение, каким отделялся от моих нападков и мой отец⁸⁵. Беньямин рассказывал, что уже его дед с бабкой отмечали Рождество как «немецкий народный праздник». Он рассказал мне тогда о своих мюнхенских занятиях, где написал два длинных реферата у доцентов по философии, один — у феноменолога Морица Гейгера, у которого и я затем, в 1919–1920 годах, прослушал курс философии математики. После освидетельствования Вальтер надеялся вернуться в Мюнхен. Однако 28 декабря его признали «годным к нестроевой службе», что хотя и не означало участия в войне с оружием в руках, но сильно взволновало его. Я услышал это от него по телефону на следующий день, но не смог к нему тотчас же приехать, так как отправился к своему брату Вернеру в Галле, где тот служил солдатом. По возвращении я узнал, что из Зеесхаупта приехала Дора, и уже к 8 января 1917 года он получил мобилизационное предписание. Он якобы заболел, ишиасом, и не выполнил этого приказа. Мы с Гуткиндами написали Беньямину, предлагая составить ему компанию. Затем Дора сказала мне по телефону, что он получил ещё одно мобилизационное предписание на 16 января. 12 января он послал мне на сложенном втрое листке в самом маленьком конверте, как будто речь шла о записке, конспиративно проносимой заключённому: «Я благодарю Вас, как и Гуткиндов, за Ваше дружеское

предложение. Я ещё лежу с тяжёлым приступом ишиаса, однако на вторник уже опять получил повестку. Увы, мои нервные судороги так сильны и привели меня в такое состояние, что я, к большому сожалению, не могу принимать гостей. Поэтому вынужден Вашу дружескую готовность с сердечной благодарностью отклонить. Вам всегда будут сообщать о моём состоянии. P. S. За конверт прошу извинения!». Дора, с которой я встретился, поведала мне по секрету, что сама вызвала у него гипнозом, к которому он был восприимчив, симптомы ишиаса, позволившие врачу выписать ему аттестат для военных властей. Затем он подвергся осмотру врачебной комиссии на Дельбрюкштрассе, и его освободили от службы на несколько месяцев. Фиктивный ишиас по-прежнему поддерживался. Весь январь Вальтер оставался для всех, кроме Доры, *incommunicado*⁸⁶, и я начал вновь видеться с ним лишь с февраля. До 17 апреля он оставался в Берлине, и я много раз его навещал.

За это время он прочёл «19 писем об иудаизме» Самсона Рафаэля Хирша⁸⁷, основную книгу по ортодоксальной иудейской теологии на немецком языке, «Рим и Иерусалим» Мозеса Гесса, один из классических текстов сионизма⁸⁸, а также несколько эссе Ахада Ха'ама. В то время я не был большим почитателем сочинений Герцля и поэтому дал Бенъямину только что упомянутые книги, которые произвели на меня более глубокое впечатление, чем Герцль. У нас состоялась дискуссия о проблеме идентичности, о чём в 1916 году он составил письменные тезисы*. Эти и другие разговоры так

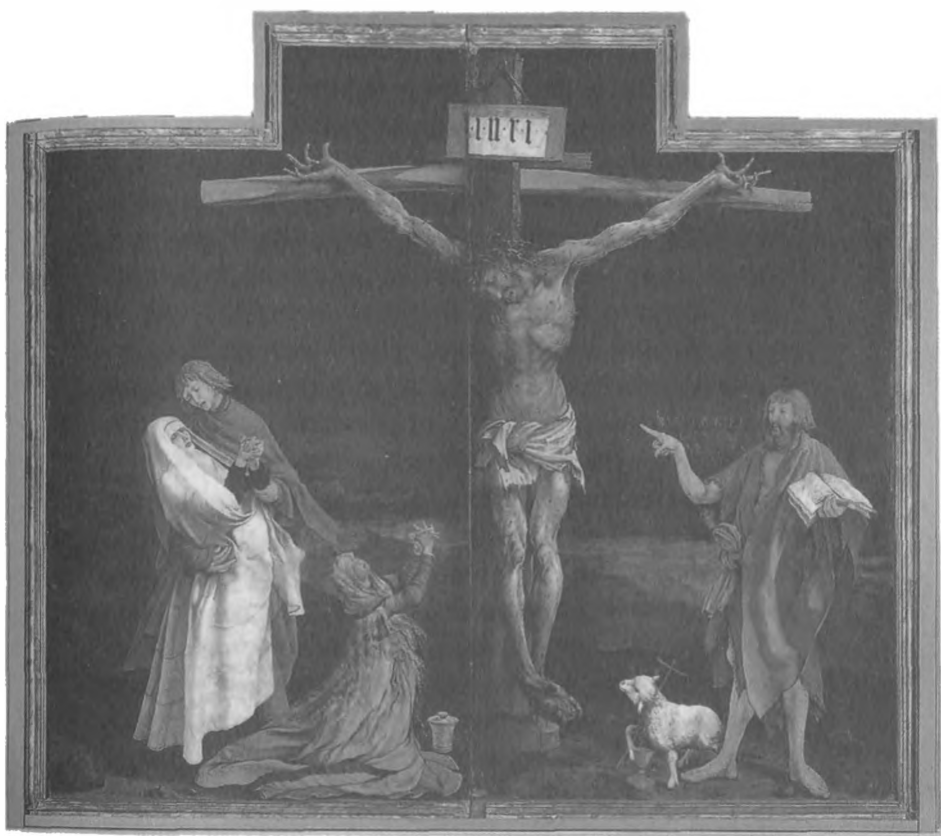
* Моё указание в «Письмах» (Том I. Стр. 139. Прим. 3) было неточным и должно быть исправлено.

и не дали нам сыграть — по его предложению — в китайскую настольную игру го, которой он, как видно, увлёкся с Дорой, поскольку в шахматах она была слабым партнёром и злилась, когда проигрывала. Вальтер утверждал, что го — самая старая из всех известных игр. Тогда же он объяснил мне и разделение своей библиотеки на «первую» и «вторую». Первая содержала только произведения первостепенного значения. Помню, там стояла не одна книга Шиллера, но и том «Разговоров Шиллера»⁸⁹, который Бенъямин объявил «необыкновенным», а также «единственным способом найти доступ к Шиллеру». Только там-де можно узнать, что Шиллер на самом деле был человеком высочайшего уровня. Доступ к Шиллеру для многих людей нашего поколения был и впрямь непроходимым. Ещё в Берне Бенъямин любил зачитывать Доре и мне насмешливые и уничижительные высказывания романтиков о Шиллере, которые он выковыривал, как изюминки, из их сочинений при подготовке своей диссертации. Так я узнал о письме Каролины Шлегель, прочитанном Бенъямином с воодушевлением и наслаждением, там говорилось о чтении Шиллерова «Колокола» в кругу йенских романтиков, когда все присутствовавшие смеялись до слёз.

Было очевидно интимное отношение Бенъямина к вещам, которыми он обладал, к книгам, произведениям искусства или ремесленным поделкам, часто крестьянским по природе. Всё время, что я был с ним знаком, даже при моём последнем посещении его в Париже, он любил показывать такие предметы, давать их в руки гостю и пускаться в рассуждения о них, импро-

визируя, как пианист. Уже в те месяцы я заметил у него на письменном столе баварский синий изразец с трёхглавым Христом. Он говорил, что очарован загадочным способом его изготовления. Со временем сюда добавились разные фигурки и картинки, по большей части — репродукции. Уже тогда и ещё долго в его рабочем кабинете висела репродукция алтарных картин Грюневальда из Кольмара, ради которой он, будучи студентом, в 1913 году специально ездил в Кольмар⁹⁰. Отношение к этим картинкам, у которых им овладевало «невыразимое», как он это называл, часто проявлялось в его статьях тех лет. В двадцатые годы он мог написать философские размышления о детской игрушке для своего сына. Так, Беньямин привёз из Москвы⁹¹ серебряный кинжал, в рассуждения о котором он пускался лишь полуиронически, с оглядкой на террор. В Париже у него на стене висел приобретённый в Копенгагене большой лист образцов татуировок, которым он гордился и который был для него на уровне детских рисунков и первобытного искусства.

В эти три месяца я виделся с Беньямином не так много, как могло бы быть при нормальных обстоятельствах, так как с начала февраля у меня возникли свои семейные сложности, из-за которых я с 1 марта 1917 года на полгода покинул родительский дом⁹² и, поселившись с помощью русско-еврейского приятеля в пансионе на Уландштрассе, где жили почти исключительно русские евреи, стремился заработать себе на жизнь преподаванием гебраистики и переводом одной большой книги с идиша и древнееврейского. Между тем Бенья-



Грюневальд Маттиас. Изенгеймский алтарь (1512-1516).
Центральная часть. Музей Унтерлинден, Кольмар, Франция

мин и Дора сообщили мне, что у них будет свадьба, и пригласили меня — по-моему, единственного неродственника — на состоявшийся после бракосочетания 16 апреля на Дельбрюкштрассе семейный праздник, где я познакомился и с родителями Доры. Уже тогда я был большим почитателем и собирателем произведений Пауля Шеербарта и подарил новобрачным на свадьбу мою любимую книгу, его утопический роман «Лезабендио», действие которого разыгрывается на астероиде Паллада и — вместе с рисунками Альфреда Кубина — изображает мир, в котором совершенно сдвинуты «существенные» человеческие свойства. Так началось увлечение Беньямина Шеербартом, о книге которого три года спустя он написал большую, но, к сожалению, утраченную статью «Истинный политик»⁹³.

В месяцы перед его свадьбой я некоторое время пытался перевести на древнееврейский части из очень дорогой мне работы о языке, в которую вошли и мотивы из наших бесед в Зеесхаупте. Беньямин хотел, чтобы я непременно прочёл ему и Доре мои первые страницы, чтобы услышать, как звучат его фразы на «пряязыке», как он говорил полушутя. Тогда же возник и его интерес к Францу фон Баадеру, к которому он пришёл в Мюнхене благодаря Максу Пульверу, — и к Францу Йозефу Молитору, ученику Шеллинга и Баадера, который, будучи единственным принимаемым всерьёз немецкоязычным философским автором, посвятил изучению каббалы 45 лет и между 1827-м и 1857-м годами анонимно опубликовал четыре тома в качестве введения к запланированному им изложению каббалы, под примечательным заглавием: «Философия истории, или

О традиции»⁹⁴. Хотя эта работа о каббале совершенно безосновательно пыталась придать себе христологический оборот — автор принадлежал к либеральному крылу немецких католиков — книга всё же заслуживает внимания. Я начал читать её в 1915 году и много раз говорил о ней в наших беседах, а также рассказал Бенъямину, что три тома произведения всё ещё остаются у издателя. Это были наши первые разговоры о каббале, от изучения источников которой я тогда был ещё очень далёк, но смутно ощущал влечение к этому миру. Незадолго до свадьбы Бенъямин заказал сочинения Баадера и книгу Молитора, которые, однако, прибыли к нему лишь после свадьбы. Тем временем он и Дора покинули Берлин и отправились в специализировавшийся на ишиасе санаторий в Дахау, где Бенъямин с помощью Доры наконец-то успешно получил документ, сделавший возможным его отъезд в Швейцарию.

В середине июня 1917 года я был призван в пехоту, в Алленштейн⁹⁵, и с большой энергией предпринимал попытки освободиться от военной службы и не участвовать в войне, к которой я относился с безоговорочным отрицанием. Мы обменялись в мае и июне ещё несколькими письмами, частью до, частью после моего призыва. Я послал ему новый перевод Песни Песней, который тогда сделал. Ещё я извещал его о своих обстоятельствах на военной службе. Два письма Бенъямина из этой переписки содержатся в его избранных письмах, и здесь я добавляю ещё несколько. Одно написано незадолго до его отъезда в Швейцарию, второе — через несколько дней после его приезда в Цюрих.

30 июня он написал мне из Дахау, конечно, не доверяя бумаге всей правды:

«Дорогой господин Шодем, Вы ожидаете найти в этом письме моё мнение о Вашем новом переводе; но в данный момент, к сожалению, я не могу Вам его сообщить, так как в комнате царит беспорядок, связанный с подготовкой к отъезду. Надо, наконец, предпринять что-то решительное против паралича, а также против болей, которые в последнее время совершенно измотали меня. Врач настаивал на месячном лечении на курорте в Швейцарии, и, вопреки трудностям, с какими это сопряжено, вчера мы получили паспорта. Если необходимость подтверждена документами, то люди относятся — пожалуй, особенно к больным — предупредительно и дружелюбно; а строгость пограничной охраны, о которой я получил представление только по этому случаю, совершенно необходима.

Здесь ходят усиленные слухи о подписании мира в сентябре. Я хотел бы попросить Вас об одолжении. Господин Вернер Крафт, санитар запасного лазарета Ильтен под Ганновером (это — полный адрес), живо интересуется моей работой о языке⁹⁶. Мой собственный экземпляр — одна из рукописей, вывоз которых за границу, вероятно, будет разрешён — т. е. я представил для разрешения на вывоз лишь часть рукописей, поскольку взять можно совсем немного, а представленные, я надеюсь, разрешат вывезти. Не могли бы Вы на время послать господину Крафту Вашу копию моей работы?

О Песне Песней — в следующем письме. Надеюсь написать рецензию, если не возникнут трудности с корреспонденцией из Швейцарии. Моей первой остановкой там должен стать Цюрих, так как для меня невозможно совершить путешествие “единым махом”. Адрес: отель “Савой”, куда я прошу писать по получении этого письма впредь до дальнейших распоряжений. Тетрадь с тезисами об идентичности посылаю с этой же почтой и прошу Вас бережно хранить её также до дальнейших распоряжений. Привет Вам от моей жены. Надеемся на Вас и думаем о Вас. Гуткиндам я не смогу написать до отъезда и поэтому прошу Вас передать им от нас сердечный привет.

Ваш Вальтер Бенъямин».

[В качестве приписки последовало:]

«Сегодня рано утром я получил Ваше письмо из Алленштейна. Мне искренне жаль, что так плохи дела у учителя языка господина Гуткинда⁹⁷. В его положении мало что можно для него сделать, разве что надеяться, что серьёзное и печальное будет забыто, и думать о нём. В этом будьте уверены. В ближайшие дни Вы получите почтовый перевод на 30 марок, и я прошу Вас, если у Вас есть его адрес, переслать деньги ему. Если его страдания потребуют дополнительных расходов, попросите его обратиться к нам.

Как Ваши дела? Тетрадь с тезисами об идентичности я высылаю Вам в Алленштейн, а если Вы не сможете её там держать, то прошу Вас отправить её господину Вернеру Крафту (заказным письмом).

Сможете ли Вы при таких обстоятельствах послать ему работу о языке — для меня сомнительно. По возможности сделайте это. / Сегодня я ничего не могу сообщить Вам о своих исследованиях, но вскоре надеюсь сделать это.

Мы с женой ещё раз передаём Вам сердечный привет».

Я также получил из Мюнхена — вместе с сопроводительной запиской Вернера Крафта, удивлённого непонятным текстом письма, адресованного ему, но явно предназначенного для меня, — инструкцию к тайному коду для секретных сообщений в Швейцарию. Дора писала:

«Дорогой господин Крафт,
я только что прочла столь рекомендованную Вами “Историю Тридцатилетней войны”. Я нахожу её *очень* хорошей и в ближайшее время напишу Вам о ней ещё. Также я знакома с детективом Рикарды Гух⁹⁸, однако нахожу “старомодные” романы Грина лучше, а Вы их порицаете, так как они содержат “неуклюжую” шифровку. Тем более Вы ошибаетесь, полагая, что такая шифровка относится к новым изобретениям, а ведь она встречается уже в “Графе Монте-Кристо”, а в Средние века была целая система; напр., по одному шифровальному коду ставили цифры вместо слов, или буквы вместо слов, или цифры вместо букв. Я даже читала недавно про системы, устроенные так умело, что они совсем не выглядят шифровкой, а кажутся третьим лицам безобидными; напр., каждое третье слово имеет смысл, два остальных — пустая “набивка”, но поставлены

они так ловко, что всё вместе тоже вроде бы имеет смысл. Однако мы с мужем считаем *самой гениальной* шифровку, которая основана на смене кодового числа. Напр., сначала 42345 означает, что закодированное слово сперва идёт четвёртым, затем вторым, затем третьим, затем четвёртым, затем пятым, затем снова четвёртым; потом берём другое число, напр., 4684, и т. д. Новое кодовое число, конечно, всегда вводится незаметно. Вы представить себе не можете, как изобретательны были в этом люди. Мадам де Сталь, напр., писала таким способом своему провансальскому другу.

Мой муж сердечно приветствует Вас, вскоре он напишет подробнее. Он просит Вас сохранять письма, особенно письма *особой* важности; в таких письмах он Вас *особо* об этом попросит. (Может, он издаст их потом в другой форме).*

Год издания работы *Шиффера* он ещё впишет завтра. — Горячий привет.

Дора, Вальтер».

Это письмо положило начало моей дружбе с Вернером Крафтом, которому я ещё из лазарета писал письма о смысле работы Бенямина о языке.

Через неделю Бенямин и Дора отправились в Швейцарию, где они встретились в Цюрихе с Гербертом Блюменталем и Карлой Зелигзон, причём 9-го и 10 июля дело дошло до окончательного разрыва. Причина

* Написанное было действительно адресовано Крафту, которому Бенямин тогда посылал длинные, к сожалению, несохранившиеся письма о литературе.

заклучалась как в напряжённых отношениях между Дорой и Карлой, так и — и прежде всего — в притязаниях Беньямина на безусловное духовное лидерство по отношению к Блюменталю, которое последний должен был безоговорочно принимать. Блюменталь же отверг притязания Беньямина, и многолетней юношеской дружбе был положен конец. Проявившуюся здесь деспотическую черту Беньямина, которая, по рассказам многих его знакомых по «Молодёжному движению», нередко прорывалась наружу и резко контрастировала с его обычным учтивым поведением, я сам испытал всего два-три раза, да и то в очень смягчённой форме. Должно быть, тут сыграло свою роль и желание Беньямина по возможности сократить отношения с друзьями по «Молодёжному движению», которое для него умерло. Свойственный его характеру радикализм, который, казалось, так противоречил его вежливости и терпимости в общении, в таких случаях не останавливался даже перед необдуманными и тяжёлыми разрывами. Вскоре после своего дня рождения и упомянутых событий Вальтер написал мне в Алленштейн:

«Дорогой господин Шолем —

мы Вам очень благодарны за то, что до сих пор Вы постоянно давали нам знать о своём самочувствии, и просим Вас продолжать в том же духе. Надеемся, что в дальнейшем Вам удастся повернуть всё к лучшему. Ваши поздравления к моему дню рождения* я принимаю с сердечной благодарностью. От своей жены я получил немало превосходных книг, коими

* Имеется в виду его двадцатипятилетие.

гордится моя библиотека: к примеру, старое издание Грифиуса; Катулл, Тибулл и Проперций, изданные в лондонском Richardi Press, которые моя жена смогла достать ещё в Германии; и очень хорошие французские книги: Бальзак, Флобер, Верлен, Жид. Есть тут и ещё много чего, чем можно украсить стол для празднования дня рождения.

Относительно философского блокнота, который Вы держите в руках, Вы должны иметь в виду, что все прочие записи тезисов об идентичности сделаны как минимум год назад, большинство же — от 3 до 4 лет назад. Там есть и ребяческие вещи, например, К на полях означает “искусство” <Kunst>, R — “религия”. Ещё для меня важна — даже если она требует другой формы и другого выражения — запись, в которой я тогда прояснял для себя понятие первородного греха. О *Schechinnah* [sic!]⁹⁹ я не могу Вам в настоящее время написать ничего; Баадер вместе с подавляющей частью моей библиотеки всё ещё находится в Германии, лишь “первая библиотека” уже почти полностью у меня и благодаря новым подаркам будет выглядеть ещё прекраснее...

Что Вы слышали о преподавателе языка господина Шлехтмана¹⁰⁰? Вы иногда с ним видитеесь? Тогда скажите ему, что год издания книги Шиффера, о которой он меня спрашивал в связи с моим письмом о Рикарде Гух, — 1526. Может, он тоже когда-нибудь мне напишет. / Что же касается Ваших семейных отношений, то издавека, пожалуй, советовать невозможно...

Очень скоро мы поедем отсюда в Энгадин. Пока Вы не получите наш новый адрес, пишите сюда, да

скорее и чаще. Мы часто думаем о Вас и остаёмся с Вами с нашими сердечнейшими пожеланиями».

31 июля Беньямин написал мне из Сент-Морица, когда я, находясь в «психиатрическом отделении» лазарета, куда был направлен для наблюдения моего «умственного состояния», успешно пытался доказать свою негодность к военной службе. Я попросил его, осторожно и окольным образом описывая моё положение, обратиться к известному мне и благожелательному швейцарскому врачу, д-ру Шарлю Мейеру, чтобы при случае добиться от него экспертизы. Я назвал его фамилию как фамилию врача, который когда-то лечил меня.

«Дорогой господин Шолем —

мы давно ничего не слышали о Вас, а Вы — о нас. Мы прибыли сюда неделю назад и провели время на этой прекрасной природе при великолепной погоде. Теперь погода вроде бы становится хуже, а озеро у меня перед окном — чудесное альпийское озеро — окрасилось в ядовито-зелёный цвет, словно перед бурей. Мы гуляем, насколько позволяет моя болезнь, и отдыхаем. На день рождения я получил книгу Рабле в переводе Региса¹⁰¹; с этим переводом я бегло знаколюсь, прежде чем перейду к французскому оригиналу. / Моя жена вчера написала господину Мейеру. ... Хотя я пока не могу здесь работать, кое-какие мысли приходят мне в голову, и Вы о них вскоре услышите. Между тем, мы надеемся, что дела Ваши идут хорошо. Пишите нам как можно скорее, мы с женой каждое утро шлём Вам привет.

P. S. А как себя чувствует Ваш отец?»

18 августа — я всё ещё был в лазарете в Алленштейне, читал блокнот Бенямина и в связи с этим часто писал ему (среди прочего протестуя против его заметки о первородном грехе) — Бенямин с Дорой написали:

«Дорогой господин Шолем,

несколько внешних причин не дали мне возможности написать раньше, но если бы у меня было что сообщить Вам, они бы меня не удержали. Так, поводом для этого письма послужило Ваше письмо от 31 июля, а также две последовавшие за ним почтовые карточки, содержание которых — несмотря на печальные новости о Вашем здоровье — обрадовало нас с женой как никогда. Наша жизнь здесь полностью подчинена отдыху и восстановлению сил. К своим работам я приступаю не раньше осени; до осени надеюсь получить важнейшие книги, а в какой университет запишусь — пока неизвестно. Я тут кое-что читаю. Так, я начал заниматься драмами Кальдерона. Прочёл Мориса де Герена и Рембо. Кроме того, я весь погружён в эстетические размышления: пытаюсь проникнуть в самую глубину различия между живописью и графикой. Это приводит меня к важным выводам, и в этом контексте вновь всплывает проблема идентичности. Погода, к сожалению, часто меняется, и когда пасмурно — холодно. Однако мы провели несколько превосходных экскурсий; особенно радует нас то, что мы добрались до границы Швейцарии с Италией в южноальпийской долине Бергелль, дышали чудесным воздухом и видели совершенно чистое небо. Здесь наверху в Энгадине растут прекрасные

цветы, а на возвышенностях они издают чудесный, нежный аромат.

К сожалению, я не могу входить в детали того, что Вы критически написали о моей заметке о перво-родном грехе, так как я её уже почти не помню. Я написал её пять лет назад; ясно, что она отчасти не сможет устоять перед моими сегодняшними взглядами.

Мы, вероятно, останемся здесь ещё на некоторое время, затем я поеду сначала в Берн и Цюрих, а где мы проведём зиму — решится потом.

Так как моя жена ещё добавит приписку, я заканчиваю сердечными пожеланиями на будущее, в том числе процветания в домашних делах. Пишите мне скорее о Вашем самочувствии и Ваших мыслях.

Ваш Вальтер Беньямин».

[Ниже, почерком Доры, следовало:]

«Дорогой господин Шолем,
и от меня горячий привет и множество пожеланий здоровья. Вы, наверное, слышали новость и об учителе языка господина Гуткинда; мы неописуемо рады за него и вместе с ним. Поздравьте его, если будете ему писать. Письмо о логарифмах мы не получили. Год выхода книги Шиффера — 1526. Господин Мейер прислал нам интереснейший ответ, человек с весьма почтенным образом мыслей. Всегда Ваша Дора Беньямин».

Фраза о размышлениях Вальтера над различием живописи и графики, которое он хотел исследовать до последнего основания, очевидно, указывает на эмбрион рассуждений, пока ещё целиком основанных на мета-

физике, которые были затем, в 1935 году, изложены в его знаменитой работе «Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости»¹⁰² в зрелой и претерпевшей марксистские метаморфозы форме.

В последнюю неделю августа меня, несмотря на диагноз *dementia praecox*¹⁰³, отправили назад в Берлин как «временно негодного к службе», до демобилизации находящегося в отпуске, но с разрешением ходить в гражданской одежде. Я сообщил это Бенъямину, на что он ответил с большой радостью, предложив называть друг друга по имени и пригласив приехать к ним в Берн. Наш обоюдный опыт с военной службой сильно способствовал интенсивности дружбы, что отчётливо заметно в письмах Бенъямина ко мне между сентябрём 1917-го и апрелем 1918 года. Итак, время с лета 1916 года по май 1918 года стало периодом непрерывного дружественного сближения, которое без спадов достигло кульминации после моего приезда в Швейцарию. Опубликованные письма подробно дают знать, что нас занимало. Тогда начала развиваться склонность Бенъямина к мелкому почерку, которой способствовало принятое цензурой ограничение на длину писем. Он решился писать докторскую диссертацию у совершенно бесцветного, но этим и приятного для него Рихарда Хербертца в Берне после того, как проверил и отверг другие возможности, прежде всего — возможности защиты диссертации¹⁰⁴ у Карла Йозеля в Базеле. Я в это время изучал математику и философию в Йене, интенсивно работал, о многом думал и не только общал об этом Бенъямину подробно, но и заваливал

его вопросами. Мы пропагандировали друг другу понравившиеся книги. Беньямин не только писал мне о таких книгах, но и слал мне списки книг, которые я мог подешевле достать через фирму моего отца, связанную с издательством. Я подтолкнул его, например, к прочтению книг Анатоля Франса, из которых наибольшее впечатление произвели на него «Таис» и *La révolte des anges*¹⁰⁵. Я же обязан ему знакомством с гротесками — формой литературы, невозможной после Гитлера и сегодня вряд ли уже доступной, — Миноны, прежде всего с книгой «Роза, хорошенькая жена полицейского»¹⁰⁶, непревзойдённым произведением в этом жанре, над которым я хохотал так, что чуть не упал со стула, и которое сегодня могу перечитывать лишь с полным безразличием. Беньямина занимал философский фон этих историй, приведший впоследствии к высокой оценке главного произведения Миноны «Творческая индифферентность», которое вышло под его настоящим именем Соломона Фридлендера¹⁰⁷. Фридлендер был ортодоксальным кантианцем и строгим логиком и этиком в теории, тогда как на практике являл собой, скорее, прообраз циника или носил циничную маску. Фридлендер знал Беньямина, который отзывался о нём вполне позитивно, со времён «неопатетиков»; это был один из ярчайших умов в кругу экспрессионистов, за которыми он наблюдал, забавляясь. В таком же роде была написана ныне забытая, рекомендованная мне Беньямином странная книга Луиса Леви «Человек-лук Кршадок и свежий, словно весна, Мафусаил», «детективный роман» без сути, замаскированная метафизика сомнения. Очень высоко, но совершенно

иначе, Бенъямин оценивал «Другую сторону» Альфреда Кубина¹⁰⁸, глубоко вдающегося в оккультизм и проиллюстрированного самим автором романа, о котором Бенъямин как-то сказал мне почти шёпотом: «Подобные вещи я видел во сне». В йенский период он также попросил меня раздобыть для него вышедшую в «Трудах Баварской академии наук» книгу Вильгельма Грубе «Китайский театр теней»¹⁰⁹, одно из малоизвестных, но великолепных достижений синологии; Бенъямин говорил о нём, выпучив глаза, — но, как ни странно, ничего о нём не написал. Иногда я спрашивал Бенъямина, не он ли познакомил Брехта с этой чудесной книгой; ведь к взглядам Брехта на искусство эти произведения — от монолога официанта до имеющих глубокие корни в буддизме мистерийальных пьес — имеют близкое отношение.

В тот период я много писал Бенъямину о «математической теории истины», относительно которой я строил умозрительные рассуждения. С этим и с желанием супругов Бенъяминов, чтобы я возобновил с ними отношения, связано письмо Доры от 12 ноября:

«Дорогой господин Шолем,
уже давно хочу написать Вам и обрисовать внешнюю сторону нашего положения; но собралась только сейчас. (Вальтер на семинаре по Бодлеру; я стащила у него настольную лампу, и теперь мне удобно.) Внутреннюю сторону, т. е. координаты важной именно для нас точки той пресловутой кривой, которая должна представлять математическую теорию истины, Вальтер уже достоверно описал

Вам. Я же могу лишь заверить Вас, что упомянутая кривая проведена совсем близко от Берна, и в хорошие дни её часто можно увидеть; тем сильнее необходимость прийти на помощь бедному Вальтеру соответствующими (т. е. мужскими) глазами. Или по-немецки: приезжайте как можно скорее, а то Вы навечно навлечёте на себя ненависть обманутого потомства. Стоимость жизни, или дороговизна (пожалуй, единственная причина, которая всерьёз может Вас удержать от приезда), отнюдь не столь ужасна, как Вы, вероятно, думаете. 64 сантимам, которые сегодня мы получаем за 1 марку, соответствует покупательная способность 1,50–2 марок. Также Вы не должны забывать, что наше домохозяйство, сколь бы скромно оно ни велось, всё-таки служило бы для Вас источником облегчения и экономии.

Наши дела обстоят превосходно. Единственное, чего нам не хватает, так это знакомств (в этом месте рекомендуется ещё раз прочесть письмо с начала). Тем не менее, у нас есть очень милый знакомый, музыкант. Вскоре мы получим книги. Вальтер уже начал регулярную работу; моя работа пока ещё терпит (детективный роман). Театр до сих пор был несносен, концерты прекрасны. Теперь подхожу к концу. Итак, приезжайте поскорее; мы живём совсем рядом с вокзалом, и если Вы своевременно напишете, мы Вас даже встретим! Большой сердечный привет

от Вашей Доры Беньямин».

Философия в Йене меня раздражала. Я презирал Эйкена, который выглядел неправдоподобно торжественно и так же говорил. После его часовой лекции я больше не пошёл к нему. Слушать Бруно Бауха, наоборот, было моим долгом и — поскольку дело касалось Канта — ещё и интересом. Ведь в то полугодие я много читал о Канте. О нём только что вышла большая монография Бауха, в которой был объявлен отход Бауха от Германа Когена, вскоре после этого принявший весьма резкую форму. «Прологомень» Канта очень увлекли меня, и я помню о том, что писал Бенъямину о своих впечатлениях от этой книги. Сюда впоследствии добавилось прочтение на частном семинаре у Бауха части «Критики способности суждения», особенно введения «О философии вообще», которое оказало на меня стойкое влияние. В ходе семестра ещё состоялось знакомство с затеянной одной дамой полемикой о Когене в «Исследованиях Канта», и полемика эта у части неокантианцев приняла националистический и лёгкий, но вполне распознаваемый антисемитский оборот. Зато меня привлекли два резко противостоявших друг другу преподавателя. Одним из них был Пауль Ф. Линке, неортодоксальный ученик Гуссерля, побудивший меня к изучению значительной части «Логических исследований» Гуссерля, о которых Бенъямин в свой мюнхенский период имел лишь неопределённое представление. Другой — Готтлоб Фреге, чьи «Основы арифметики» я тогда читал наряду со сходными сочинениями Бахмана и Луи Кутюра («Философские принципы математики»). Я прослушал часовую лекцию Фреге о «Записи понятий». Математическая логика

тогда представляла для меня большой интерес — с тех пор, как в одном берлинском антикварном магазине я обнаружил «Лекции по алгебре логики» Шрёдера. Эти и сходные с ними попытки перейти к чистому языку мышления сильно меня волновали. В основном семинаре Бауха мы читали логику Лотце, которая оставила меня равнодушным. Я написал семинарский реферат в защиту математической логики против Лотце и Бауха, встреченный молчанием последнего. Лингвистически-философская составляющая понятийного языка, полностью очищенная от мистики, как и сами границы этого языка, казались мне ясными. Я сообщил об этом Беньямину, а тот попросил меня прислать ему упомянутый реферат. Тогда я колебался между двумя полюсами математической и мистической символики — гораздо сильнее, чем Беньямин, чья математическая одарённость была небольшой и который тогда и ещё долго потом зависел от исключительно мистических представлений о языке.

У Фреге, который был почти столь же стар, как и Эйкен, и, подобно Эйкену, носил седую бороду, мне нравились совершенно непопезные манеры, столь выгодно отличавшиеся от манер Эйкена. Однако в Йене мало кто принимал Фреге всерьёз.

В ноябре 1917 года Беньямин прислал мне копию своей написанной летом статьи об «Идиоте» Достоевского¹¹⁰, которая взволновала меня так же, как и мой ответ — его. Я написал ему, что за его концепцией романа и фигурой князя Мышкина я увидел образ его умершего друга. На свой двадцатый день рождения я получил от

него короткое письмо, где говорилось: «С тех пор, как я получил Ваше письмо, у меня часто бывает радостно на душе. Всё выглядит так, словно я переживаю праздник и должен чтить как откровение то, что открылось Вам. Ибо не иначе: то, что досталось Вам, не должно возвращаться к Вам же, а должно хотя бы на миг перейти в нашу жизнь» [В. I. S. 157]. Эти строки и моя реакция на них в длинной записи в дневнике дают свидетельство о мощном эмоциональном моменте в наших отношениях, который здесь выразился в сильно преувеличенном виде. Фигура Вальтера — пожалуй, из-за его полной отрешённости и сути его высказываний — сохранила для меня нечто пророческое, что выразилось в письмах, которые я тогда писал своим сверстникам по кругу сионистов, и в нескольких статьях. В марте 1918 года я написал Бенъямину письмо, где сравнил шесть лет его жизни (1912–1918) с теми же моими, центром которых было «учение», в том специфическом смысле, какой это слово имеет не в немецком, а в еврейском словоупотреблении. Одновременно я послал ему новый перевод библейского «Плача Иеремии», который я тогда сделал наряду с трактатом «Плач и жалобная песнь»¹¹¹. На мой день рождения Вальтер и Дора подарили мне две свои снятые ещё в Дахау фотографии, на которых он выглядит очень серьёзным, а она — особенно красивой; в Йене, где снимки стояли у меня на письменном столе, я вёл с ними воображаемые диалоги. Из письма Доры ко мне от 7 декабря явствует, что Бенъямин свою работу «О программе грядущей философии» писал ещё в ноябре 1917 года, продолжая мысли (напечатанного) письма ко мне

от 22 октября. Список трактата, сделанный почерком Доры, который Беньямин передал мне по моём прибытии в Берн, был первоначально задуман как подарок на день рождения, к 5 декабря. Дора писала: «Много дней я с утра до вечера переписывала работу Вальтера, чтобы доставить Вам радость к этому дню; теперь этот тиран не позволяет мне выслать её, так как должно последовать продолжение». Однако это продолжение было закончено лишь в марте 1918 года¹¹².

Я припоминаю одно странное совпадение. Беньямин ещё раньше рассказывал мне о математике Роберте Йенче из круга Георга Гейма; Йенч также публиковал стихи в журналах экспрессионистов, а Беньямин описывал его мне как единственный встретившийся ему экземпляр совершенного денди. После этого, в 1916 году, я пошёл на габилитацию Йенча, чтобы посмотреть, как выглядит совершенный денди — однако это оказалось для меня затруднено тем, что он появился в офицерской форме. В первые апрельские дни 1918 года в читальном зале йенского Народного дома я прочёл в «Берлинер Тагеблатт» сообщения о смерти Германа Когена и Йенча, который погиб на войне. На следующий день я получил письмо от Беньямина, где тот осведомлялся, не слышал ли я случайно что-либо о чрезвычайно интересующем его Йенче.

14 января 1918 года я, пройдя переосвидетельствование в Веймаре, был окончательно демобилизован с ярлыком «длительно негоден к военной службе, больше не контролировать». Это создало предпосылку к тому, чтобы серьёзно подумать о мерах, которые сделали бы

возможным тогда особенно труднодостижимый отъезд в Швейцарию. Эти меры удалось завершить лишь в середине апреля, а между тем пришло письмо от Бенямина с известием о рождении его сына Стефана. В своём поздравлении я слегка мечтательно написал: «Ваш брак — прекраснейшее чудо, которое происходит у меня на глазах».

Бенямин тогда попросил и Крафта — с ним я тем временем очень сдружился — послать мне на хранение бумаги, которые он не смог взять с собой в Швейцарию. Они находились у меня лишь короткое время. Я прочёл некоторые из его записей, которые теперь утрачены, среди них — дневниковые записи о том, как на Пятидесятницу 1913 года Бенямин с Куртом Тухлером поехал в Париж, а также подробные заметки о празднике в ассоциации «Свободного студенчества» весной 1914 года, которые казались мне весьма характерными для настроения в этом кругу.

Линке в начале апреля предложил мне защитить у него диссертацию по философским основам математической логики. Тогда можно было стать доктором философии за шесть семестров. Но этому и другим планам не суждено было осуществиться, когда на основании свидетельства окружающих врачей в конце апреля мне был выписан заграничный паспорт для поездки в Швейцарию.

В ШВЕЙЦАРИИ (1918–1919)

Вечером 3 мая 1918 года я приехал в Берн. Бенъямин встретил меня, и мы просидели ещё несколько часов в его тогдашней квартире на Халлерштрассе, недалеко от вокзала. Так начался длительный период как интенсивной совместной жизни и общего учения, так и помех, сдержанности и стычек. Наши отношения при возобновлении личного общения не могли оставаться столь идиллически однозначными, как в предыдущем году, когда они стремительно развивались. Так, в письме, которое написал мне Бенъямин 23 февраля из Локарно¹¹³, был абзац о наших отношениях, исполненный особенной сердечности, и он произвёл на меня такое впечатление, что я некоторое время считал необходимым говорить о «предустановленной гармонии, в которой наши жизни настроились по отношению друг к другу, как об основополагающем факте, которым регулируется моя жизнь». Однако вскоре мне пришлось признать, что это не соответствовало действительности, и я поплатился за юношескую экзальтацию. Но безоблачный тон наших писем мог служить причиной для таких заблуждений. В наших письмах выносились за скобки, с моей стороны, волновавшие меня страсти, стычки с братом Вернером, который усматривал свой

идеал в политической демагогии, а со стороны Беньямина — проблемы его жизни.

Спустя несколько недель после моего прибытия наши отношения впервые столкнулись с тяжёлыми осложнениями, которые в том же году участились. Ожидания, какие каждый из нас возлагал на это время, оказались преувеличенными. Я надеялся встретить в Беньямине нечто пророческое, увидеть не только интеллектуального, но и морального колосса. Вальтер же и Дора, как вскоре оказалось, после переживаний относительно моей военной службы и в связи с последовавшей затем перепиской между нами возлагали чрезмерно высокие упования на то, что я пойму его мир, а оказалось, что я повёл себя ниже всякой критики — чуть было не сказал: «недиалектично» — и не смог им соответствовать. Но прежде всего причина этих трений — в отличие от более поздних разговоров, названных Беньямином «пламенными стычками», и писем о его повороте к марксизму — заключалась не столько в споре идей, сколько в несходстве наших характеров. Это проявлялось в отношении к прагматическим вопросам образа жизни и к буржуазному миру (денежные проблемы, отношение к родительскому дому, обхождение с людьми и т. п.). Дело доходило до бурных сцен, которые без любезного посредничества Доры могли бы завершиться катастрофически. Конфликт, в который вошёл я, был моральным. Для меня мысли Беньямина обладали сияющей моральной аурой; в той степени, в какой я мог усвоить их, они имели собственную мораль, связанную с отношением к религиозной сфере, кото-

рая тогда совершенно ясно и открыто располагалась в точке пересечения основных направлений его мышления. Но ей противостоял — в отношениях Беньямина к повседневным вещам — совершенно аморальный элемент, с каким я не мог примириться, хотя Вальтер оправдывал его презрением к буржуазности. Многие из соображений, которые он и Дора высказывали на эти темы, вызывали мой протест. Так, многократно — иногда довольно неожиданно — дело доходило до резких стычек, начинавшихся из-за того, что мы принимали моральные решения. Его окружала аура чистоты и безусловности, самоотдача духовности, как у книжника, который заброшен в иной мир и находится в поисках своей «письменности». Со мной случился кризис, когда в близком общении я увидел границы этой безусловности. В жизни Беньямина не было той колоссальной меры чистоты, какой отличалось его мышление. Я был слишком молод, и дела не меняло то, что я часто говорил себе, что в конечном счёте это относится к нам всем: никто не может вырваться из плена отношений с внешним миром, и мы должны были расплачиваться за это тем, что в превратностях тех лет пытались сохранить для себя ту область, куда они не проникали. В итоге до меня дошло, что хотя Беньямин и Дора в религиозной сфере откровения признают нечто высшее — для меня это было равнозначно приятию десяти заповедей в качестве абсолютной ценности в моральном мире, — но они воспринимают его иначе: они разлагали эти заповеди диалектически там, где речь шла о конкретном отношении к их жизненной ситуации. Впервые это выяснилось в длинном раз-

говоре о том, как далеко может заходить финансовая эксплуатация наших родителей: Беньямин относился к буржуазному миру безжалостно и нигилистически, что меня возмущало. Моральные категории он признавал лишь для той сферы жизни, которую выстроил для себя сам, и в духовном мире. Они оба упрекали меня в наивности. Дескать, я нахожусь во власти своей позы. Мол, я ранен «возмутительным здоровьем», и оно «распоряжается мною», а не я им. Беньямин заявил, что люди вроде нас имеют обязательства лишь перед себе подобными, но не перед правилами того общества, которое мы-де презираем. Мои представления о честности — например, в требованиях к нашим родителям — полностью отвергались. Порой ошеломляло нищество, сквозившее в его речах. Примечательно, что самые ожесточённые стычки часто заканчивались проявлением особой сердечности со стороны Беньямина. Когда после одной такой грозы Беньямин провожал меня, он долго не выпускал мою руку и глубоко заглядывал мне в глаза. Было ли это чувством вины за то, что мы в своей горячности зашли слишком далеко? Было ли это желанием не потерять единственного человека, помимо Доры, кто был близок ему в то время душевно и по местонахождению?

В этой связи я хотел бы сказать, что Беньямин, по сути, был совсем не циничным человеком, что, пожалуй, зависело от его глубоко укоренённой мессианской веры. Конечно, к буржуазному обществу он относился с немалой долей цинизма, но даже это давалось ему с трудом. За пределами этой области элемент цинизма у него полностью отсутствовал. Там, где речь шла о та-

ких важных вещах, как религия, философия и литература, в Беньямине не было и следа цинизма. Его анархизм не имел с цинизмом ничего общего, а «веления духа» были для него в годы нашего близкого общения понятием, полностью исключавшим что-либо подобное. И всё же приходилось иногда удивляться его искренним высказываниям, в которых цинизм сочетался с глубокой и серьёзной духовностью. Это я наблюдал у него на трёх примерах: на его восхищении флюберовским «Буваром и Пекюше», связанным скорее с конгениальным ему презрением к буржуазной лживости; на его восхищении Миноной и, возможно, Фердинандом Хардекопфом. В отношении Миноны я легко мог согласиться с ним, а вот для Хардекопфа у меня отсутствовало необходимое «чувствовалище».

Когда между Вальтером и Дорой царил мир — вскоре после приезда, ожидая их в соседней комнате, я был свидетелем шумных сцен — в их отношениях проявлялась несравненная внимательность и они оставались неприкрыто нежны друг к другу даже в моём присутствии. В их тайном языке существовало много слов, которых я не понимал — ласкательные словечки и тому подобное. Особенно излюбленным было слово Ekel, которое, в противоположность слову Ekel¹⁴, употреблялось в чрезвычайно положительном смысле. Так, Вальтер, по словам Доры, был «преласковый бука», а я летом 1918 года звался «благочестивый бука». Дора в то время была полногрудой Юноной, со страстной натурой, легко взрывалась, иногда доходя до приступов истерии, но могла быть и очень любезной и милой. Во многих

разговорах с ними речь редко заходила об эротических или сексуальных вопросах. В те швейцарские годы это было тем заметнее, что Дора отнюдь не чуралась таких тем и заводила о них разговор, но Бенямина они как-то не интересовали. Но он много лет упорно — даже в разговорах с другими — отстаивал странный тезис, что несчастной любви не бывает, тезис, который решительно опровергался его собственной биографией.

В эти годы, между 1915-м и как минимум 1927-м, религиозная сфера имела для Бенямина, без всякого сомнения, центральное значение; в центре этой сферы располагалось понятие «учения», которое для него хотя и включало область философии, но перешагивало её границы. В своих ранних работах он то и дело возвращается к этому понятию, которое в еврейской Торе означает «наставление», наставление не только об истинном положении и пути человека в мире, но и о транскаузальной связи вещей и её заповеданности Богом. Это имело много общего с беняминовским понятием традиции, приобретающим всё более мистический оттенок. Многие из наших разговоров — больше, чем прослеживается по его записям, — витали вокруг связей между двумя этими понятиями: религия, но не только теология — как, например, считала Ханна Арендт, имея в виду его последние годы — представляет собой некий высший порядок. (Слово «порядок», или «духовный порядок», часто употреблялось им в те годы. В изложении своих мыслей он часто прибегал к нему вместо «категории».) В разговорах тех лет он не стеснялся говорить о Боге без обиняков. Поскольку

мы оба верили в Бога, мы никогда не спорили о его «бытии». Бог был для него реален — начиная от самых ранних статей по философии, в письмах времён расцвета «Молодёжного движения» и вплоть до заметок к первой его диссертации по философии языка. Мне знакомо одно ненапечатанное письмо об этом, письмо к Карле Зелигзон от июня 1914 года. Но даже в упомянутых записях Бог является недостижимым центром учения о символах, которое должно было отдалять его не только от всего предметного, но и от всего символического. Если в Швейцарии Беньямин говорил о философии как учении о порядках духовности, то его дефиниция, которую я тогда для себя записал, выходит и в область религиозного: «Философия есть абсолютный опыт, выведенный в систематико-символической связи как язык» и тем самым — часть «учения». То, что впоследствии он отошёл от непосредственного религиозного способа выражения, хотя теологическая сфера оставалась для него глубоко живой, нисколько этому не противоречит.

До того, как я приехал в Швейцарию, он полностью прочёл — наряду со Штифтером и Франсом — три толстых тома «Истории догм» Гарнака, которые надолго — отнюдь не к лучшему — определили его представление о христианской теологии и оказали столь же большое влияние на его решительное отвержение католицизма, как многие разговоры со мной — на его склонность к миру иудаизма, пусть она даже оставалась в области абстракции.

Спустя несколько дней после моего приезда супруги Беньямины взяли меня на состоявшийся в маленьком

зале фортепьянный концерт Бузони, который исполнял Дебюсси. Это было «общественным» мероприятием, по бернским понятиям, и это был единственный раз, когда я видел Беняминов на таком мероприятии; оба были весьма элегантно одеты и раздавали поклоны направо и налево. Отец Доры рекомендовал Бенямина своему близкому другу Самуэлю Зингеру, ordinarily профессору средневерхненемецкого языка в Берне, и время от времени супругов Беняминов приглашали в фортепьянный зал вместе с несколькими профессорами. Летний семестр только начался, и я — ещё до моего формального зачисления — начал вместе с Бенямином посещать некоторые лекции. Мы слушали «Введение в критический реализм» в исполнении Хербертца, и единственным содержанием этих лекций Бенямин назвал то, что деревянного железа не бывает. Этот курс лекций да ещё один, читавшийся Паулем Хеберлином, и лекции о романтизме Гарри Майнца, в которых, согласно Бенямину, «фальшь маскировалась китчем», были очень малолюдны. Но поскольку Бенямину для защиты диссертации были нужны три этих курса по философии, психологии и истории немецкой литературы и он должен был участвовать в семинарах, он просил меня хотя бы составлять ему компанию на лекциях. От скуки мы часто забавлялись, составляя списки знаменитых людей на какую-нибудь одну букву алфавита. Бенямин участвовал в семинаре Хеберлина по Фрейду; про фрейдовское учение о влечениях он написал тогда подробный реферат, но само учение ценил невысоко. Для этого семинара он, среди прочего, прочёл и «Мемуары нервнобольного» Шребера.

ра¹¹⁵, которые произвели на него гораздо более глубокое впечатление, чем фрейдовская статья о них¹¹⁶. Беньямин побудил и меня прочесть книгу Шребера, чьи формулировки были очень выразительны и многозначительны. Из этой книги он позаимствовал для нашей игры выражение «улетучившиеся люди». У Шребера, который в разгар его паранойи полагал, будто мир разрушается враждебными ему «лучами», это было ответом на возражение, что, очевидно, врачи, пациенты и служащие сумасшедшего дома всё-таки существуют. На семинаре Хербертца мы читали «Метафизику» Аристотеля. Беньямин был неоспоримым фаворитом и заслужил — как он имел обыкновение говорить — «семинарские лавры, *laurea communis minor*»¹¹⁷. Хербертц, который любил говорить тоном философского рыночного зазывалы и выкрикивать аристотелевское *tò ti ἦν εἶναι*¹¹⁸, словно глашатай, из будки чудес объявляющий выступление дамы без нижней половины тела, глубоко уважал Беньямина и уже относился к нему как к младшему коллеге. Его совершенно независтливое восхищение беньяминовским гением, который был полной противоположностью его собственному мелкобуржуазному мышлению, выдавало глубокое благородство его сути, которое он ещё не раз проявил, в том числе и в годы Второй мировой войны.

Несколько недель подряд мы встречались ежедневно, потом — как минимум по три раза. Сразу после моего приезда Беньямин и Дора предложили мне поселиться в деревушке Мури, которая находилась в получасе ходьбы от моста Кирхенфельд в сторону Туна¹¹⁹, где они —

из-за ситуации с жильём в городе — собирались снять квартиру. И до начала августа мы жили за городом; моя комната была в двух минутах ходьбы от них, и, таким образом, между нами шло оживлённое общение. Бенъямин сразу стал уговаривать меня вместе изучить какую-нибудь философскую работу. После некоторых колебаний мы — поскольку он тогда особенно интересовался Кантом — сошлись на основополагающем для Марбургской школы сочинении, на книге Когена «Кантова теория познания»¹²⁰, которую затем подолгу анализировали и обсуждали. Так как мы — как выразился Бенъямин в наших первых разговорах — образовали «свою собственную академию», тогда как в университете можно было обучиться лишь немногому, речь зашла о полусерьёзном-полушуточном открытии «университета Мури» и его «институций» — библиотеки и академии. В перечне лекций этого университета, в уставе академии и в воображаемом каталоге недавно поступивших книг, которые Бенъямин снабжал аннотациями, фонтанирующими весельем, мы отводили душу последующие три-четыре года, давая выход нашему задору и подвергая осмеянию академическую рутину. Бенъямин подписывался как ректор и неоднократно сообщал мне в письменной и устной форме о новейших событиях в университете, созданном нашей фантазией — тогда как я фигурировал в них как «младший служащий при религиозно-философском семинаре», но иногда и как член факультета.

Первые дни в Швейцарии протекали чрезвычайно интенсивно и празднично. Мой приезд был отмечен торжественным обедом, на котором Бенъямин сооб-

шил мне, что займётся изучением древнееврейского, как только сдаст экзамен. Для нас были важны разговоры об иудаизме, философии и литературе; к ним добавлялись чтение стихов, игры, разговоры наедине с Дорой, когда она рассказывала мне о своей прежней жизни и о Беньямине. Дора рано уходила спать, а мы с Беньямином говорили допоздна. 10 мая он дал мне на прощание написанную в 1913–1914 годах «Метафизику молодости»¹²¹, которую я переписал для себя.

С самого начала мы много говорили о его «Программе грядущей философии». Он говорил об объёме понятия опыта, которое, по его мнению, охватывает духовную и психологическую связь человека с миром, а эта связь свершается в сферах, куда ещё не проникло познание. Когда же я заговорил о том, что в таком случае было бы легитимным включить в это понятие опыта мантические дисциплины, он ответил, экстремально заострив формулировку: «Не может быть истинной философия, которая не включает и не может объяснить возможность гадания *на кофейной гуще*». Такие гадания, дескать, могут порицаться, как в иудаизме, но их следует считать возможными, исходя из взаимосвязи вещей. На самом деле, даже его поздние заметки об оккультном опыте полностью не исключают таких возможностей, хотя, скорее, *implicite*¹²². С этой точки зрения — а вовсе не из-за какой-то наркотической зависимости, совершенно чуждой ему и напрасно приписываемой ему в последнее время — объясняется его временами живой интерес к опыту употребления гашиша. Ещё в Швейцарии Беньямин, на чьём столе я впоследствии видел *Les*

*paradis artificiels*¹²³, говорил при обсуждении упомянутой работы о расширении человеческого опыта в галлюцинациях, которые, по его мнению, не исчерпываются такими словами, как «иллюзия». О Канте Бенъямин говорил, что тот «обосновывает неполноценный опыт».

Этот тезис сыграл свою роль в разочаровании, которое мы испытали по прочтении работы Когена. Мы оба, слушавшие в разное время лекции или доклады Когена в его берлинский период и относившиеся к Когену с почтением и даже с благоговением, приступили к этому чтению с большими ожиданиями и готовностью к критическому обсуждению. Но выводы и интерпретации Когена показались нам сомнительными, и мы не оставили от них камня на камне. У меня до сих пор сохранились заметки к критике кантовских силлогизмов в «трансцендентальной эстетике» и к доказательству их необоснованности — эти заметки я написал после нескольких наших занятий. Бенъямин при этом высказывался об отношении рационалиста, которым являлся Коген, к интерпретации. «Для рационалиста не только тексты абсолютной ценности, как Библия [а для Бенъямина также Гёльдерлин], поддаются интерпретации на разных уровнях, но и всё, что является объектом, выставляется рационалистом как абсолют и посему подлежит насильственному комментарию, как Аристотель, Декарт, Кант». В критике Канта Бенъямин находил также оправдание феноменологам в их обращении к Юму. Бенъямин не нуждался в рационалистическом позитивизме, занимавшем нас в связи с чтением Когена, так как он стремился к «абсолютному опыту». Наши сетования по поводу интерпретации Канта Когеном

стали столь серьёзными, что с началом летних каникул в августе наши занятия завершились — при том, что в июле мы ежедневно занимались по два часа. Беньямин жаловался на «трансцендентальную путаницу» рассуждений Когена. «Тут я с равным успехом могу обратиться и в католицизм». Для меня различие между этой работой по Канту и когеновской собственной «Логикой чистого познания»¹²⁴, половину которой я тогда только что прочёл, было очевидным, как бы ни казались взаимозависимыми эти два сочинения. О некоторых тезисах книги Беньямин утверждал, что это «отрицательные эталоны маленьких пухлых фолиантов». Он назвал когеновскую книгу «философским осиным гнездом».

В то время Беньямин много говорил о Ницше последнего периода. Незадолго до моего приезда он прочёл книгу К. Бернулли «Ницше и Овербек»¹²⁵, которую назвал увлекательным примером газетной научно-популярной литературы. Очевидно, Бернулли побудил его задуматься над Ницше. По мнению Беньямина, Ницше был единственным, кто в XIX веке, когда «слышали» только природу, узрел исторический опыт. Даже Буркхардт-де ходил вокруг да около исторического этоса. Его этос — этос не истории, а исторического рассмотрения, гуманизма. В высказываниях Беньямина о философии тогда присутствовала отчётливая тенденция к систематизации. Вскоре после своего приезда я записал: «Он мчится в систему на всех парусах». Иногда Беньямин прямо-таки приравнивал друг к другу термины «система» и «учение». К этой области, как прежде, относились его споры с миром мифа и, в связи с его занятиями Бахофеном, умозрения относительно кос-

могони и «допотопного» мира человека. Я часто излагал ему свои идеи об иудаизме и его борьбе против мифа — о чём я очень много думал за прошедшие восемь месяцев. Особенно часто мы говорили на эти темы между серединой июня и серединой августа. Тогда мы испытали, пожалуй, особенно сильное взаимовлияние. Он прочёл мне длинную статью о грёзах и ясно-видении, в которой пытался сформулировать законы, управляющие миром домифических призраков. Он различал две исторические мировые эпохи — призраков и демонов, — предшествовавшие мировой эпохе откровения; я же предлагал называть последнюю, скорее, мессианской. Собственным содержанием мифа, по его мнению, является грандиозная революция, которая в полемике против эпохи призраков положила ей конец. Уже тогда его занимали мысли о восприятии как о некоем чтении конфигураций поверхности: именно так-де первобытный человек воспринимал окружающий его мир и, особенно, небо. Здесь располагался зародыш тех рассуждений, каковые он представил четыре года спустя в статье «Учение о подобии»¹²⁶. Возникновение созвездий как конфигураций на поверхности неба — утверждал Бенъямин — является началом чтения и письма, и оно совпадает с формированием мировой эпохи мифа. Созвездия для мифического мира были тем, чем впоследствии стало откровение Священного Писания¹²⁷.

Весь спектр состояний между сновидением и бодрствованием увлекал Бенъямина так же, как и мир самих сновидений. Однажды он объяснил мне закон толкования сновидений; он считал, что открыл его,

я же — вновь перечитав свои записи на эту тему — не понял этого закона. Когда Беньямин впоследствии — насколько я могу догадываться — отказался от толкования сновидений, по меньшей мере, *explicité*¹²⁸, он продолжал часто рассказывать собственные сны и охотно заговаривал на тему толкования сновидений. Не помню, чтобы он возражал моему глубокому разочарованию одноимённой фрейдовской книгой, о которой я написал ему несколько лет спустя. В Мури Беньямин рассказывал о сне весны 1916 года в Зеесхаупте, за три дня до кончины его любимой тётки Фридерики Йозефи, которая покончила жизнь самоубийством. Сновидение сильно взволновало его, и он часами пытался найти его истолкование, но тщетно. «Я лежал в постели, в комнате был ещё один человек и моя тётка, но они не общались. В окно глядели люди, проходившие мимо». Лишь впоследствии ему стало ясно, что это было символическим известием о её смерти. Я не уверен, сказал ли Вальтер напрямую, что одна из смотревших в окно была сама тётка, что прояснило бы его истолкование. В другой раз он рассказал после шутивно-ожесточённого разговора о запланированной «Энциклопедии белиберды» в духе Флобера¹²⁹, что видел во сне накануне: «Было двадцать человек, которые должны были разбиться по двое для того, чтобы изобразить ситуацию, соответствующую заданной теме. Чудесным образом костюмы вырастали на нас в зависимости от наших намерений. Кто управлялся с делом раньше, задавал тон партнёру. Приз получал тот, кто изображал тему лучше всех». Вальтер должен был получить приз за тему «отказа». Он при этом был ма-

леньким кругленьким китайцем в синих одеждах, а его назойливый партнёр, который чего-то от него хотел, взобрался к нему на спину. Но и другая пара столь же хорошо справилась со своей темой, поэтому приз решили дать за другую тему — «ревность». «Тут я был женщиной и лежал, распростёршись на полу, а мужчина обнимал меня, и я ревниво смотрел на него снизу вверх и высовывал язык».

Беньямин предавался также сравнению философского стиля нашего поколения с кантовским; стиль Канта — вопреки господствовавшему мнению — он считал утончённым и ссылаясь в этом на Клейста. В качестве доказательства он должен был бы привести, как я ожидал, цитаты из малых произведений Канта или из «Критики способности суждения», но он прочёл мне письмо Канта к Козегартену, чтобы тут же с расстановкой и торжественным голосом прочесть два сохранившихся в переписке Канта письма Самуэля Колленбуша — это были послания благочестивого христианина, протестовавшего против «религии в границах чистого разума»¹³⁰ («Мне жаль, что И. Кант не уповает ни на что хорошее от Бога»). После этого он надолго замолк, а затем величественно впери в меня взор, как если бы хотел сказать, что эту прозу, пожалуй, можно поставить рядом с библейской. Затем Вальтер прочёл три письма из переписки Гёте с Цельтером — среди них письмо Гёте о смерти его сына. Эти письма, особенно письма Колленбуша, ещё годы спустя всплывали в его разговорах и принадлежали к тем, которые дали толчок к возникновению его сборника «Люди Германии»¹³¹.

Впоследствии мы провели немало бесед о Гёте; они были, скорее, монологами Беньямина, в лучшем случае — его монологами, которые я перебивал вопросами, так как я тогда мало читал Гёте. Говорил он и об «автобиографической жизни Гёте, которая основана на затуманивании». Когда он сказал, что узрел правду о Гёте, обдумывая его брак, он спонтанно перешёл к собственному обручению с Гретой Радт¹³². Он видел некую параллель между двумя этими отношениями, но какую именно, я не помню. Его непредвзятый взгляд на Гёте выразился уже в швейцарский период в высокой, лишь наполовину ироничной, оценке трёхтомной биографии Гёте, написанной иезуитом Баумгартнером¹³³. Он пускался в похвалы «разоблачениям», которые содержались в этом памфлете: ненависть нередко наделяла автора проницательностью. «Настоящий иезуит о Гёте — это надо видеть». Или же «если выбирать между Баумгартнером и Гундольфом, я не затрудняюсь»¹³⁴. Конечно, суждения Баумгартнера оставляли Беньямина совершенно безразличным; его интересовала детективная и инквизиторская сторона книги, где Гёте изображался в виде преступника, которого необходимо было изобличить. Меня тогда гораздо сильнее трогал Жан-Поль, о котором Беньямин говорил, что в Германии это единственный великий писатель, который может не принимать упрёк в свой адрес, что он жил в исторической сфере насилия. Против Шиллера, однако, этот упрёк правомерен, и «нет бóльшего надувательства, чем историческая невинность Шиллера». Шиллеровский отказ помогать Гёльдерлину взаимосвязан с этой «невинностью» и с его «демонической

моралью». В другой раз Бенъямин прочёл вслух стихотворение Ленца о Канте: «Подлинное преклонение: оно бесконечно».

В те первые недели у нас было много важных разговоров, иногда за полночь, и среди прочего мы читали набросок новой этики, копию которой Людвиг Штраус посылал Бенъямину и мне и которую мы подвергали критическому разбору. Бенъямин читал и собственные стихи, но, прежде всего, стихи Фрица Хейнле, Августа Вильгельма Шлегеля и Платена, о котором он говорил, что чувствует с ним родство душ. Мы оба — как немало евреев из нашего поколения до прихода Гитлера к власти — совершенно пренебрегали Гейне, и я не помню, чтобы у нас был хоть один разговор о поэзии Гейне. Бенъямин, готовя диссертацию о понятии художественной критики в раннем романтизме, прочёл «Романтическую школу» Гейне и дал о ней уничтожающий отзыв. Когда в 1916 году я впервые услышал о Карле Краусе, я прочёл его «Гейне и последствия»¹³⁵, а Бенъямин — ещё нет. Он в то время штудировал прозаические сочинения Фридриха Шлегеля, к которому издавна испытывал влечение, в том числе и к его поэзии, — и при этом натолкнулся на Фихте. Фихте, Кьеркегора и Фрейда Бенъямин причислял к «сократическим людям». Лишь гораздо позднее в письме, отправленном в январе 1936 года нашей общей знакомой Китти Штейншнейдер, он писал, что «в Фихте революционный дух немецкой буржуазии превратился в куколку, из которой вылупился бражник — мёртвая голова национал-социализма».



Карл Краус. Вена, 1936 г.

Если в разговорах Бенъямин часто высказывался о Георге и его «круте» (о последнем — с большой сдержанностью или полемично), то о поэзии Рильке говорил лишь изредка, что контрастировало с высокой оценкой, какую он давал ему в период «Молодёжного движения» и о которой мне рассказывали его друзья того времени (о чём я тогда ещё не знал). В мае 1918 года у нас с Бенъямином произошла подробная беседа, в которой он — без всякой полемики — попытался дать определение сфере поэзии Рильке. Деталей я не помню, кроме одной. Мой друг Эрих Брауэр, который семестр назад начал учиться во Фрейбурге-им-Брейсгау, написал мне о глубоком впечатлении, произведённом на него лекцией Эрнста Бушора, археолога классической древности. Бушор говорил о хранящемся в музее в Неаполе архаическом торсе Аполлона и под конец лекции продекламировал стихотворение Рильке под тем же названием, после чего расплакался — а это не повседневное событие на университетской лекции по археологии¹³⁶. Я поведал об этом Бенъямину, и он сказал: «Это и впрямь необыкновенное стихотворение!». Годы спустя он послал мне копию своего по неведомым причинам оставшегося ненапечатанным ответа на злобный некролог, написанный на смерть Рильке Францем Блеем в «Литературном мире»¹³⁷ и глубоко возмущивший Бенъямина. Этот ответ показал весьма изменившееся отношение Бенъямина к Рильке, но тот сонет из сборника «Новые стихотворения» он по-прежнему назвал в числе незабываемых стихов. Когда же я в одном письме о жалобных песнях написал о трёх текстах: о библейском плаче Давида по Ионафану

и о двух стихотворениях на ту же тему — Рильке и Эльзы Ласкер-Шюлер — он ответил, что стихотворение Рильке просто плохое. В одном разговоре о жалобных песнях — тема, глубоко занимавшая меня тогда в связи с древнееврейским — он мне сказал, что в романе Рильке «Мальте Лауридс Бригге» есть чудесная жалобная песнь. Я раскрыл книгу, и в искомом месте была приведена цитата из главы 30 Книги Иова, хотя и без указания источника! При всей остроте критики, которую Беньямин впоследствии обрушил на Рильке как на «классика всех слабостей югендштиля», он никогда не снисходил до распространившейся впоследствии «социально-критической» глупости, когда насмеялись над знаменитым стихотворением Рильке о Франциске Ассизском¹³⁸, считая его снобистско-реакционным восхвалением нищеты.

К литературному экспрессионизму, возникшему в предвоенные годы в кругу, близком Беньямину, он никогда не примыкал как к направлению. Однако к экспрессионистской живописи Кандинского, Марка Шагала и Пауля Клее на некоторых её фазах относился с большим восхищением. Ещё в Йене я подарил ему книгу Кандинского «О духовном в искусстве»¹³⁹, где его привлекали именно мистические элементы содержащейся в ней теории. Но в девизах как таковых Беньямин находил вообще мало смысла и ориентировался, скорее, не на школы, а на конкретные феномены. Имя Казимира Эдшмида, тогда популярного представителя экспрессионистской прозы, было для Беньямина символом претенциозной пошлости и использовалось на том

же уровне насмешки, что и имя Фриды Шанц. Правда, Георга Гейма он считал большим поэтом и цитировал мне наизусть — для него дело необычное — стихи из «Вечного дня»¹⁴⁰. До сих пор остаётся нерешённой загадка поэзии Фрица Хейнле, содержащей, по мнению Беньямина, элементы величия, отличавшие его от основной массы экспрессионистов.

На описываемое время приходится также и начало его коллекционирования старых детских книг, о котором он написал в июле 1918 года в напечатанном письме к Эрнсту Шёну. Коллекционирование началось из-за энтузиазма Доры по отношению к таким книгам. Дора любила также саги и книги сказок. Оба, по меньшей мере до 1923 года, пока я жил рядом с ними, имели обыкновение дарить друг другу на дни рождения иллюстрированные детские книги и охотились, прежде всего, за экземплярами, раскрашенными вручную. Он показал мне сочинения Лизера с восторгом, в котором радость открытия была связана и с художественным результатом. Беньямин любил произносить небольшие речи о таких книгах перед Дорой и мной, чтобы особо выделить неожиданные ассоциации, встреченные в текстах. В июне 1918 года мы нашли у одного антиквара в Берне первый том «Книги с картинками для детей» Бертуха — из Веймарского круга¹⁴¹; впоследствии Беньямин приобрёл ещё несколько томов. Эта книга образовала особый фокус его любовного погружения. Когда Беньямин комментировал ту или иную иллюстрацию, в нём уже тогда воспламенялось его особое чутьё к эмблематике, хотя мы этого и не осознавали.

Ассоциативно определённые картинки в таких книгах приковывали его на том же уровне, как впоследствии «Меланхолия I» Дюрера и книги об эмблемах XVI–XVII веков.

Его склонность к воображаемому миру ассоциаций, связанная с пробуждением участия в мире ребёнка и погружением в этот мир в детские годы его сына, сказывалась и в его интересе к литературе душевнобольных. Уже в Берне у него было несколько работ такого происхождения. В них его восхищал, прежде всего, архитектурный элемент систем их мира и часто с ними связанные фантастические иерархии с не текучей, как у детей, а с горестно и сурово затвердевшей упорядоченностью. Интерес Беньямина был при этом не психопсихологический, а метафизический. Я нередко слышал, как он говорил на упомянутые темы — но никогда не в связи с психоаналитической техникой, о которой он тогда знал хотя бы из чтения работ Фрейда и некоторых его ранних учеников. Из этой же серии было его уже упомянутое отношение к живописи — которое распространялось и на Джеймса Энсора задолго до его открытия сюрреалистами. Он любил посещать выставки, где его пронизательное понимание искусства развивалось больше, чем при изучении репродукций. Ещё в Париже он привёл меня в кабинеты, где производились иллюзии, горячо расхваливая их технику, а также в музей восковых фигур мадам Тюссо, где неожиданные сопоставления также вызывали его эстетически-ассоциативный восторг.

Об эстетической теории, которой я не интересовался, мы почти не говорили, и я припоминаю лишь два исключения: его пожизненную убеждённость в значении работы Алоиза Ригля «Позднеримская художественная индустрия»¹⁴² и его любовь к «Приготовительной школе эстетики» Жан-Поля, которую он читал в связи со своими исследованиями романтизма¹⁴³. Особенно я вспоминаю фразу Жан-Поля, охотно цитируемую Беньямином как вершину чувства юмора. Жан-Поль говорил о раннем романтизме как об «уже полупогибшей школе, чьи важнейшие учебники, однако, — в первую очередь шлегелевские — пережили её краткое бессмертие».

Бывая вместе, мы нередко проводили время в прогулках по старому Берну, но больше всего общались в рабочей комнате Беньямина, где он постепенно собрал значительную часть своей библиотеки. Иногда мы совершали и большие путешествия — например, ночной поход из Туна в Интерлакен¹⁴⁴ в конце мая 1918 года. Шли мы молча, но если начинали говорить, Беньямин останавливался, как он любил делать во время беседы. Затем мы снова пускались в путь и говорили о чём-нибудь нейтральном, молчали, а потом вновь впадали в «существенное». Тогда-то мне впервые открылись в Беньямине начальные, а впоследствии развившиеся депрессивные черты, его меланхолическая суть. (Ничего маниакального в нём я никогда не замечал.) В то же время я заметил и истерические элементы в поведении Доры, которые внезапно проявлялись по самым не приметным поводам. Довольно часто меня подавляли эти напряжённые события, но сделать я ничего не мог.

Я ощущал себя как человек, который видел больше, чем ему хотелось бы.

За обоюдными разочарованиями и за конфликтами, о которых уже говорилось выше, стояли более глубокая горечь и потеря иллюзий в тех представлениях, которые мы составили друг о друге прежде. Конфликты разрешались под маской писем, которыми обменивались между собой грудной младенец Стефан и я — мы подкладывали их друг другу. Письма Стефана были написаны почерком Доры, но с ведома и, пожалуй, с участием Вальтера. 20 июня — спустя шесть недель после моего прибытия! — Стефан написал мне, сославшись на, насколько я помню, даже не написанное моё письмо:

«Дорогой дядя Герхардт¹⁴⁵!

Посылаю тебе свою лучшую карточку, полученную недавно. Спасибо за твоё письмо; на это мне есть что сказать. Потому и пишу. Ведь когда я к тебе прихожу, ты рассказываешь так много, что я не могу вставить слово. Вначале я должен сказать тебе, чтоб ты знал: я ничего не помню. Ведь если бы я мог что-то помнить, я бы уже был не здесь, где всё так скверно и где от тебя столько напастей, а давно бы вернулся туда, откуда прибыл. Поэтому я не могу прочесть конец твоего письма. Остальное мама читает мне вслух. У меня, кстати, такие странные родители; однако об этом потом.

Когда я вчера был в городе, мне кое-что пришло в голову. Когда я вырасту, я ведь буду у тебя учиться. Поэтому уже сейчас ты должен призадуматься. Лучше всего напиши уже сейчас книжечку, где ты всё отметишь.

Теперь я хочу сказать тебе кое-что о моих родителях. О моей матери — пока ничего, так как она, в конце концов, моя мать. Но о моём отце могу тебе кое-что заметить. Ты не прав в том, что ты пишешь, дорогой дядя Герхардт. По-моему, ты очень мало знаешь о моём папе. Да и мало кто о нём что-нибудь знает. Когда я ещё был на небе, ты написал ему одно письмо, и мы все подумали, что ты это знаешь. Но ты, пожалуй, совсем этого не знаешь. Я думаю, такой человек приходит в мир очень редко, и тогда людям надо быть к нему добрыми, всё остальное он сделает сам. А ты всё ещё думаешь, дорогой дядя Герхардт, что надо сделать очень много. Может, когда я буду большой, я тоже так буду думать, а пока же я думаю, как моя мама, то есть совсем ничего или мало чего; и потому большие хлопоты и волнения обо всём кажутся мне гораздо менее важными, чем вот это: тепло мне или холодно.

Однако я не хочу умничать, ведь ты знаешь всё лучше меня: в том-то и беда.

С большим приветом,
 Стефан».

Я начал ответ:

«Дорогой Стефан,
 спасибо за фотокарточку. Почему же ты не принёс её с собой, когда в последний раз был у меня, а я тебе рассказывал историю о кошке и трёх евреях на четверть? Видишь ли, твой папа — странный человек. Стефан! Учись вместе со мной критиковать его. Он говорит, фотографировать аморально, то есть — не знаю, известно ли это уже тебе — он утверждает,

что фотографировать не подобает приличному человеку, но ты ведь, пожалуй, сообщил ему своё мнение об этом, не так ли? Видно по фотокарточке: ты ничего не хочешь о нём знать. Но будь к нему добр; твой отец не хотел ничего дурного, а от тебя будет защищаться — он ведь так умен — тем, что ты ещё ребёнок. Но это неверно. Разве ты не был на небе на 25 лет дольше, чем он? Разве ты не изучал там Тору на 25 лет дольше, чем он? (И вообще, Стефан, я должен тебе откровенно сказать: он уже опять всё забыл.) Но что делать, Тора ещё на небе жаловалась, что твою маму Дору он любит больше, чем её. Но надеюсь, мы ещё преподадим ему Тору, не так ли? Дорогой Стефан, ты не должен думать, что если у меня есть твоя фотокарточка, тебе теперь не надо навещать меня. Картинка мне тебя не заменит. Изображение, как мы это учили в Талмуде (знаешь, как раз тогда, когда твой отец ругался с твоей матерью на небе, больше не хотел учить Тору, сидел в углу у Михаила и грозил уйти на христианское небо, что всё ему опостылело, а христианская любовь всё-таки крепче, чем любовь Доры — разумеется, впоследствии он отрекался от этого!), — это мутное зеркало, и если я стану рассказывать истории *изображению*, что с того пользы тебе?

Дорогой Стефан: мы ведь оба в курсе дела. Давай и дальше всегда делать вид, будто мы ничего не поняли. Мы ведь оба — младшие в семье и должны сообща защищаться от старших, которые нас подавляют. Они лишают нас сил, Стефан! Этого мы не потерпим. Помнишь, как у германцев Некенив¹⁴⁶,

который всю жизнь читал всё задом наперёд и поэтому наговорил много вздора, как он на небе вызвал против родителей и даже на христианском небе произвёл такое впечатление, что младенец Иисус больше ничего не хотел знать об Отце. Ведь там было такое!..». [Здесь я прервал запланированное письмо и вместо этого написал сонет «К Стефану», который у меня не сохранился.]

Тогда я написал немало таких стихотворений, среди которых было одно ко дню рождения Бенъямина, которое я подарил ему вместе с двумя книгами. Я много рассказывал ему об Агноне, с которым познакомился в Берлине в месяцы, предшествовавшие женитьбе Бенъямина. Но пока ни одно сочинение Агнона не было переведено на немецкий язык, человеку, не знающему иврита, трудно было составить представление о его необыкновенной личности и произведениях. Весной 1918 года в журнале Макса Штрауса «Еврей» появился чудесный перевод «Истории писца Торь», которую я слышал в исполнении Агнона на иврите — незабываемое впечатление. По сей день я считаю эти страницы вершиной еврейской литературы. Как-то в пятничный вечер июня я прочитал этот перевод Вальтеру и Доре. На него это произвело сильное впечатление, мы долго говорили о нём, Бенъямин причислил первые три четверти текста к величайшим образцам, но яростно протестовал против визионерского финала. Агнону-де не следовало венчать историю видением, которое не может превзойти реальность предшествующего. «Если бы эта история вместе с финалом была совершенной, нам не понадобилась бы и Библия». Я подарил ему

«Историю...» Агнона, для которой специально заказал переплёт. Изначально я планировал подарить «95 тезисов об иудаизме и сионизме»¹⁴⁷, которые закончил неделями раньше, но под конец был недоволен ими и не дал их ему. Вместо этого я принёс первый набросок «Философского алфавита» для студентов университета Мури; «Второе, переработанное в соответствии с новейшими достижениями философии издание» книги я посвятил Бенъямину в частном издании 1927 года¹⁴⁸. Бенъямин был не только великим метафизиком, но и большим библиофилом. Воодушевление, с каким он мог говорить в те годы о переплётах, бумаге и шрифтах, часто действовало мне на нервы — например, на таких празднованиях дней рождения. Как ни трудно мне сегодня восстановить в памяти тогдашнее впечатление, но я точно видел в этом стихию декаданса. Я писал тогда: «Как ни велика во всех смыслах жизнь [Бенъямина], единственная метафизически проживаемая вблизи меня, она всё-таки несёт в себе стихию декаданса в устрашающей мере. Есть некая трудноопределимая граница образа жизни, которую декаданс переходит — и Вальтер, к сожалению, тоже. Я не считаю, что метафизически-легитимные взгляды возникают из такого способа оценивать книги по переплёту и бумаге. Но у Вальтера есть и масса нелегитимных научных выводов. Изменить его невозможно, наоборот: я должен заботиться лишь о том, чтобы эта сфера не вторглась на территорию моего “Я” при личном контакте». Незадолго до этого я записал: «Последнее время я опять хорошо уживаюсь с Вальтером. Пожалуй, оттого, что я нашёл место, с которого могу перед ним

немотствовать о моих внутренних делах. Поэтому всё хорошо; последние инциденты в принципе были вызваны тем, что он видел ту сферу моего состояния, которая не была предназначена для него. Ведь сам он тоже не раскрывал для меня подобные вещи, и наша общность состоит как раз в том, что каждый *без слов* понимает это безмолвие другого и считается с ним».

Вскоре после его дня рождения я получил немецкий перевод первой книги Агнона «И кривое выпрямится»¹⁴⁹, которую я дал почитать Бенъямину на его каникулы в Бёнигене под Интерлакеном. Он писал об этом: «С Агноном я управился и могу лишь сказать, что книга мне очень нравится. Её не в чём упрекнуть, она прекрасна. Дайте мне возможность сказать о ней что-то позитивное, или эту возможность даст второе прочтение». С этого момента его интерес к Агнону не прерывался. Небольшие рассказы, которые я затем — частью по рукописям Агнона — перевёл и опубликовал в «Еврее»¹⁵⁰, вызвали его особое восхищение. И всё, что касалось жизни Агнона и моего отношения к нему, непременно находило отклик у Бенъямина. Бенъямин совсем ничего не знал о положении евреев, не говоря уже о восточно-еврейской действительности и литературе. Так, однажды он спросил меня — по почте — в связи с «Философией поступка» Теодора Лессинга¹⁵¹, которую я тогда читал, как это возможно, чтобы еврея звали Лессинг. В подробностях еврейской истории он был совершенно не осведомлён. Когда мы жили в Мури, наши разговоры часто касались иудейской теологии и основных понятий иудейской этики, но почти не ка-

сались конкретных вещей и отношений. В этих разговорах главную роль играли дискуссии об откровении и спасении, справедливости, праве, богобоязненности и искуплении; следы этих дискуссий прослеживаются во многих записях Беньямина, пусть и в преображённом виде.

Как-то мы втроём вели серьёзный разговор о десяти заповедях — Дора спрашивала, можно ли их преступать, — и о значении предписаний Торы. Я прочёл вслух заметки о понятии справедливости как «действии с отсрочкой», которые встретили полное понимание Беньямина. Они спросили, почему я при своей религиозной позиции всё-таки не принимаю ортодоксального образа жизни — шаг, который я часто обдумывал, но всегда отвергал всё более решительно. Я объяснил с тогдашней формулировкой: для меня это связано с конкретизацией Торы на слишком лживой, слишком незрелой сфере — и это доказывается парадоксальностью приёмов, которые здесь проявляются и неизбежно лежат в основе ложных отношений. В применении заповедей что-то не сходится: заповеди сталкиваются между собой. Я же хотел выдерживать анархическую «неопределённость» ситуации. Позднее мои исторические перспективы изменились в направлении, сделавшем этот вопрос беспредметным. Поскольку изменилось моё понимание смысла, в котором можно говорить об откровении. В то время каббалистический элемент почти не играл роли в моей жизни, хотя я уже начал о нём задумываться.

Ещё перед этим в июне у нас произошла резкая стычка из-за «открытого письма», которое я написал

в ответ на приглашение — полученное и Бенъямином — Зигфрида Бернфельда к сотрудничеству в издававшемся им в Вене сионистском ежемесячнике «Иероваал»¹⁵², а также в качестве «прощания» с еврейским «Молодёжным движением», нехватка радикализма в котором выводила меня из себя. Бернфельд был старым знакомым Бенъямина с эпохи «Анфанга» и радикальной школьной реформы; он обратился в сионизм. Вначале мы раздумывали, не подписать ли это письмо вместе. Бенъямин, однако, отступил от этой мысли. Мы долго спорили о тексте, который я потом написал и опубликовал один. Бенъямин сказал: «В таких делах важно, кто метафизически будет смеяться последним». Моё письмо этой цели не достигало, я в нём громко требовал молчания. «В методе молчания само молчание не присутствует. Такое пишут, чтобы дать волю накопившемуся, но нас не печатают». Он соглашался с замыслом написанного, но, на его взгляд, содержание письма следовало защитить от профанации.

22 июля опять была сцена с Дорой, после которой мы в долгой беседе «дошли до корней» дела. Вскоре после ссоры я вновь получил письмо от Стефана.

«Дорогой дядя Герхард!

Ты давно не ждёшь от меня писем, поэтому я и пишу. Дела мои идут хорошо, и у мамы стало больше времени. Благодарить за твоё чудесное стихотворение ни к чему, оно слишком хорошо для этого. Но когда я вырасту, я в благодарность тоже напишу стихотворение.

У нас тут волнующие события, мы с мамой празднуем папин день рождения. Ты, наверное, тоже яв-

лялся с неслыханными дарами, но я ничего не видел, потому что они ведь меня не подпускают, когда происходит что-нибудь весёлое. Поэтому я мало что могу тебе об этом сказать.

Потом ещё был случай: однажды вечером, когда я уже давно спал, раздался ужасный грохот, и я сперва подумал: опять гроза, но нет — только кто-то выл и кричал так, что дрожали стены. Ты, наверное, знаешь, что это было? Маму я не осмеливаюсь спрашивать, так как она с тех пор опечалена; даже когда я говорю о тебе, она резко обрывает меня.

А ещё я недосчитываюсь одной очень ценной для меня книги из моей библиотеки. Даже не могу себе представить, кто же её взял. А теперь будь здоров. Я жутко тоскую по горам. Когда, когда, наконец, я туда поеду?

Забирай меня скорее вновь учиться. Сердечный привет,

Стефан».

Думаю, речь здесь идёт о книге «Ватек» Бекфорда — повести, которую один богатый двадцатидвухлетний англичанин якобы написал за два или три дня по-французски в 1782 году, а затем умолк на десятилетия. Беньямин был высокого мнения об этой книге, у него она была в немецком переводе¹⁵³.

Когда Вальтер с Дорой были в Бёнигене, я поехал в Адельбоден¹⁵⁴, где мне пришлось трудно с Эрихом Брауэром, который был горбат и крайне обидчив. Я написал об этом и о моих проблемах Вальтеру с Дорой. Несколько дней спустя я получил ответ, охарактеризо-

ванный Бенъямином как «фазумный и пронциательный не по годам Стефана», где излагалось — разумеется, почерком Доры:

«Бёниген, 8. 9. 1918

Дорогой дядя Герхард!

Благодарю тебя за тёплое и прекрасное письмо, которое меня обрадовало, несмотря на те скорбные вещи, о которых ты пишешь. Милый дядя Герхард, мы тут все немного горбаты, не говоря уже про наш малый рост. Поэтому не обижайся на своего знакомого. Гораздо хуже то, что ты пишешь о его неспособности понять тебя. Это тем печальнее, что я ведь заметил, как радостно ты сбежал из-под надзора моего отца. Я понял по себе: нельзя одновременно плакать и сосать грудь.

Мои дела неплохи. Через пару дней мне будет 5 месяцев и мне, наконец, будут давать сосать из бутылочки. Мне очень жаль маму, она принимает это так близко к сердцу, как будто я из-за этой бутылочки перестану быть её сыном — кстати, я как раз проголодался.

О том, что ты пишешь, будто у неё никогда нет времени для тебя — я уже задумывался раньше. Кажется, даже писал тебе об этом. По-моему, если бы дела обстояли иначе, у неё было бы время — «нет-времени», как я считаю, только видимость — я полагаю, моя мама всё-таки не такая, чтобы у неё не было времени из-за чего-то внешнего. Ведь для папы и для меня у неё всегда есть время, а раньше, когда её дела были ещё не особо хороши, приходили люди твоего возраста, хотя и не твоего значения, и сидели у неё, пока Боженька давал свет, а то и за полночь.

Для них у неё находилось время. Но когда я её спросил от твоего имени и мы поговорили на эту тему, мы многое поняли. Мне будет трудно сказать тебе об этом, я не хотел бы, чтоб ты понял так, будто твоё отношение к моей маме не таково, каким должно быть. Здесь всё в порядке, но только если рассматривать это само по себе, потому что ведь тебе всегда хотелось чего-то другого. Того, что ты требуешь от моей мамы, она тебе не может дать, так как ты её не любишь; она знавала многих, кто это делал, чтобы обмануть себя. Но ты-то мог бы принять от неё многое, чего ты не видишь, поскольку требуешь иного, неадекватного. Поэтому у неё нет времени для тебя, а то бы она пропала; слишком часто дело доходило бы до разрывов по причинам, которые я описал выше.

Для меня это стало очень тяжело, почти непосильно для моего маленького мозга. К счастью, я спал всё время. Так прощай же, мой, пожалуй, самый любимый дядя Герхард. Все мы желаем тебе весёлого праздника рош-хашана [Новый год], хотя мы все ещё слишком глупы, чтобы правильно это написать.

Твой Стефан».

Когда я ответил Вальтеру, что письмо меня очень огорчило и усугубило моё и без того угрюмое настроение, он предложил мне совершить продолжительную прогулку, если у меня хватит на неё сил. «Моё намерение было и есть: 28 сентября вместе с Вами подняться, например, на Фаульхорн, спуститься оттуда в Мейринген¹⁵⁵ и пройти по долине Роны... Я потратил эти дни на то, чтобы подготовить прекрасную прогулку и во всех смыслах отдохнуть, а также собраться с мыс-

лями. Работал я не так много, за этику даже не брался, но много занимался Гёте, прочёл и его метаморфозы растений... Остаюсь в надежде взойти с Вами на Фаульхорн и тем самым принести жертву его демону, благодаря которой он будет щадить нас всю зиму».

До большой поездки дело не дошло, и мы совершили восхождение на Шиниге Платте¹⁵⁶.

По нашем возвращении из отпуска мы больше не жили по соседству. Вальтер с Дорой въехали в четырёхкомнатную квартиру в квартале Марцили у реки Ааре, а я сменил несколько комнат, где они иногда посещали меня. Теперь мы реже бывали вместе — отчасти потому, что Дора и Вальтер друг за другом переболели свирепствовавшим испанским гриппом, отчасти потому, что Бенъямин интенсивно работал над диссертацией и сильно перенапрягался, а отчасти потому, что новые трения, особенно с Дорой, приводили к трудностям. Сцены случались между всеми нами по кругу. То Вальтер и Дора, когда я был у них, набрасывались друг на друга по совершенно неизвестным мне причинам, так что я молча уходил. После этого опять шли долгие переговоры и примирения.

Одна из таких сцен описана у меня в дневнике 5 ноября 1918 года: «Я пришёл к 5 часам вечера к Вальтеру, чтобы сыграть с ним в шахматы. Доре уже было лучше (после гриппа), и мы переговаривались через открытую дверь. Вальтер был очень мил, после заслуженного поражения он прочитал несколько невообразимо красивых сонетов (на смерть Хейнле), и всё было хорошо. Я должен был с ним поужинать. В восемь часов он вошёл в комнату Доры, и вскоре там разразилась жуткая ссора — понятия не имею, из-за чего, но, к со-

жалению, это случалось часто. Однако сегодня дело было особенно скверно и мучительно. Вначале я сидел в соседней комнате, потом мне стало стыдно быть свидетелем ссоры, и я спустился вниз, потому что обычно дело улаживалось быстро и Вальтер выходил следом за мной. Сегодня — ничего подобного. Я просидел три четверти часа внизу в столовой и, конечно, не хотел ужинать один во время их ссоры наверху. Когда Вальтер не отзывался на стук служанки в дверь, я ушёл несолоно хлебавши. Мне очень грустно, что в супружеской жизни часто бывают такие сцены. Я — единственный свидетель подобных вещей, и как раз поэтому они чрезвычайно мучительны для меня. Что там у них происходит? Почему такая беготня и крики? В доме, где склоки, становится страшно. Служанка не кажет носа из кухни, суп остывает, наверху слышны взволнованные шаги Вальтера — и, наконец, меня охватывает стыд. С моим присутствием они вообще не считаются — да я и не требую этого, я и слова не скажу, но меня мучит, что же они сами обо мне не вспомнят? Ведь я не евнух, перед которым обнажаются так, как не сделали бы этого перед другими. Я напрасно просидел там два часа, а ведь хотел уйти сразу после шахмат. Если бы не проникновенные сонеты, до сих пор звучащие во мне, я бы совсем отчаялся от такого “общения”. По контрасту с этим я записал девятого ноября: «Вчера и позавчера я был у Вальтера и Доры, и было очень хорошо. Наши отношения, главные в моей жизни — по крайней мере, в том, что касается мужской дружбы, видятся мне в более чистом свете по прошествии полугода жизни бок о бок. Я записал в дневник много всякой ерунды, и всё это, в сущности, неверно: просто потому, что можно

было умолчать. Мой сонет ко дню его рождения был единственным предпринятым шагом. Я снова начинаю невыразимо любить Дору».

В ноябре, по моей инициативе, они пригласили к себе вместе со мной Эриха Брауэра, и вечер стал ужасным фиаско. Что-то в обстановке угнетало Брауэра, и он сидел сам не свой и почти всё время молчал; настроение было подавленное. Вальтер и Дора пытались расшевелить его, но тщетно. Тогда они справедливо были раздражены ситуацией, так как я не мог заставить себя что-то обсудить на том тоскливом вечере с Брауэром. Но были и счастливые вечера. В новой квартире у Доры было фортепьяно, и в торжественные моменты она пела песни Эйхендорфа, которые (или мелодии которых) она очень любила, например, «О склоны гор, о дали» или «По полям и рощам бука»¹⁵⁷. Когда же её охватывал задор, она пела и мотивы, которые совсем ей не шли, такие, как «До холодной могилы влачу свои ноги». Сам же Вальтер, сколько я помню, не пел никогда. В основном той зимой 1918/19 годов мы собирались только по выходным. В феврале-марте Дора для заработка устроилась переводчицей с английского в какое-то бюро, так что даже с Вальтером она виделась только по вечерам. У них тогда была служанка, которая нянчилась со Стефаном и жила вместе с ними. Они вели замкнутый образ жизни и почти ни с кем не общались. До марта 1919 года я видел у них лишь двух гостей — музыканта Геймана, который иногда музицировал с Дорой, и в марте 1919 года — Вольфа Хейнле, младшего брата умершего друга Беньямина; Вольф приехал из Германии и месяц жил у них. Он писал за-

гадочные экспрессионистские и эзотерические стихи, которых я не понимал.

Большевистская революция и крах Германии и Австрии, а также последовавшая за этим псевдореволюция, впервые с тех пор, как мы договорились, что о войне у нас единое мнение, вновь ввели в наши разговоры политические темы. Всеобщая забастовка в Швейцарии, подавленная правительством, применившим военную силу (мы стали свидетелями этих событий 9–11 ноября), почти не занимала нас, но события в России и Германии интересовали больше. Хотя особого волнения я не проявлял. Ещё в декабре я написал Вернеру Крафту: «Палестина волнует и интересует меня гораздо больше, нежели германская революция». Правда, у нас были споры о диктатуре; в них я занимал радикальную позицию и защищал мысль о диктатуре, которую Беньямин полностью отвергал, поскольку речь тогда шла о «диктатуре бедности», которая для меня *eo ipso*¹⁵⁸ не была тождественной «диктатуре пролетариата». Я бы сказал, наши симпатии в России были на стороне партии социалистов-революционеров, которую впоследствии жестоко ликвидировали большевики. Мы обсуждали вопрос о республике и монархии, и, к моему удивлению, Беньямин выступал против моей республиканской позиции. Решения-де можно принимать лишь относительные, с учётом обстоятельств, а в сегодняшних условиях монархия является, пожалуй, легитимной и достойной одобрения государственной формой.

После революции Вернер Крафт, в судьбе которого мы принимали живейшее участие, хотел перебраться

к нам в Швейцарию, и я советовался с Вальтером и Дорой, как это можно сделать. Но этот план разбился о препятствия, которые надо было преодолеть для въезда. В начале 1919 года Бенъямин познакомился с Хуго Баллем и Эмми Хеннингс¹⁵⁹, жившими в соседнем доме. Балль, один из первых столпов дадаистского кабаре «Вольтер», был также одним из главных сотрудников издаваемой немецкими противниками войны «Фрайе цайтунг»¹⁶⁰, крайним республиканцем, но не социалистом и не коммунистом. Он питал фанатическую ненависть ко всему прусскому. К концу зимы Бенъямин дал мне почитать увесистый, страстно написанный памфлет «К критике немецкой интеллигенции»¹⁶¹, который в некоторых частях настолько же импонировал нам зоркостью своей ненависти, насколько в других частях — например, в безудержных нападках на Канта — вызывал лишь покачивание головой. Жена Балля, Эмми Хеннингс, была одной из пылких поэтесс в период расцвета экспрессионизма и имела дочку лет двенадцати от других отношений; картины девочки на религиозные темы, по мнению Бенъямина, были удивительного художественного качества. Обе — и мать, и дочь — отличались чрезвычайной католической набожностью. Бенъямин часто рассказывал о своих посещениях этой семьи.

В марте или апреле 1919 года Бенъямин через Хуго Балля познакомился с Эрнстом Блохом*, который тогда

* Эта дата, которая расходится с данными Блоха, — вероятно, взятая из записей по памяти (в: *Über Walter Benjamin*. Ffm., 1968. С. 16), — восходит к моей дневниковой записи, сделанной в конце апреля 1919 года, согласно которой Бенъямин тогда мне сказал, что он познакомился с Блохом «несколько недель назад».

жил в Интерлакене и тоже в годы войны сотрудничал с «Фрайе цайтунг». У меня сохранилась его брошюра, вышедшая тогда. Я при этих встречах не присутствовал, но на Беньямина личность Блоха явно произвела большое впечатление, хотя он и не был тогда знаком с его философскими сочинениями. Первое издание «Духа утопии», которое вышло в 1918 году¹⁶² и о котором Блох ему, несомненно, рассказывал, Беньямин прочёл лишь весной 1919 года. Я насторожился, услышав это название, и Беньямин сказал мне, что это не авторское название и что работа должна была называться «Музыка и апокалипсис», но редактор издательства «Дункер унд Хумблот»¹⁶³, Людвиг Фейхтвангер, отверг заглавие как непривлекательное для читателя. Беньямин описывал мне впечатляющий облик Блоха и рассказал, что тот теперь работает над своей главной работой, «Системой теоретического мессианства» — при этом он сделал большие глаза, — а также решительно выступает по вопросам иудаизма — впрочем, так и не сказав мне, в каком направлении. Во всяком случае, их знакомство весной 1919 года развивалось так стремительно, что Беньямин рассказал Блоху обо мне и устроил мою поездку в Интерлакен. Беньямин также сказал мне, что Блох — когда они говорили об общей системе философии — видел в нём специалиста по «учению о категориях», которого не следует упускать из виду. Визит к Блоху состоялся 18 мая, по предварительной договорённости, и мы сидели с 6 часов вечера до 3 часов 30 минут утра. Мы говорили в основном (зачастую бурно) о старом и новом иудаизме, и я читал ему «Историю писца Торы» Агнона. Когда я вошёл в рабочий кабинет Блоха, на книжной полке его письмен-

ного стола стояла работа Иоганна Андреаса Эйзенменгера «Раскрытое еврейство», написанная в 1701 году, наиболее учёный труд антисемитской литературы на немецком языке, двухтомный кирпич объёмом более 2000 страниц¹⁶⁴. На мой удивлённый взгляд Блох сказал, что местами это самая лучшая книга об иудаизме из всех ему известных, правда, автор был настолько глуп, что цитировал и переводил в ней прекрасные и глубокие вещи, чтобы осмеять их и оклеветать как богохульство. Надо лишь читать эти места с противоположным знаком, и всё встанет на свои места. Мне это очень понравилось и подтвердилось, когда два года спустя я получил собственный экземпляр.

Но в целом этот долгий визит получился не очень успешным, хотя Блох был весьма сердечен и при расставании сказал, что надеется вскоре опять со мной увидеться — но от Бенямина я потом услышал, что Блох на меня жаловался и назвал ослом. Сам я записал в дневник: «Мне было сравнительно приятно с ним общаться, но в принципе с такими воззрениями у меня мало общего. Иногда я наталкивался прямо-таки на железную стену. Бенямина он объявил аналитиком формы. Не знаю, увидимся ли мы ещё, но пока — сколь бы серьёзные и глубокие разговоры мы ни вели — наш контакт не надолго».

Бенямин тогда был вовлечён в разговоры с Блохом и Баллем по вопросу о политической активности, которую он отвергал в том смысле, в каком его к ней склоняли партнёры. Мюнхенская Советская республика в апреле 1919 года попала в поле его зрения лишь постольку, поскольку философски высоко ценимый

им Феликс Нётгерат¹⁶⁵ был арестован за участие в революции, что встревожило Беньямина. И в Венгерской Советской республике, которую он считал ребяческим заблуждением, его трогала лишь судьба Георга Лукача, ближайшего друга Блоха; за него тогда боялись (ошибочно), что он арестован и, вероятно, будет расстрелян. Беньямин, который прочёл и высоко ценил лишь домарксистские произведения Лукача, такие, как «Метафизика трагедии» и «Теория романа»¹⁶⁶, тогда всё ещё считал «Политические произведения» Достоевского, которые были у него в издании Пипера¹⁶⁷, важнейшими из известных ему политических сочинений Новейшего времени. В месяцы перед своим докторским экзаменом Беньямин обычно готовился к нему вместе с Хансом Гейзе, который впоследствии стал одним из отъявленных философов нацизма, а с 1935 года — унификатором «Исследований Канта», приспособляющим их в качестве инструмента «философского укрепления немецкого народа», и с которым мы сидели рядом на семинаре Хербертца. Мы не раз собирались втроём. Гейзе был тогда приятным и вежливым человеком; как тяжело раненного его выменяли в Швейцарию. Он говорил мне, что мало кто в жизни произвёл на него столь глубокое впечатление, как Беньямин.

В начале февраля приехала Эльза Бурхардт, позднее ставшая моей первой женой, и я познакомил её с Вальтером и Дорой, которые быстро с ней подружились. Она была необыкновенно спокойным человеком, но имела решительные взгляды, и как раз это сочетание очень понравилось обоим. В те два месяца был заложен

фундамент последующей дружбы между ней и ними. После её отъезда в начале апреля я поехал на 10 дней в Локарно, а по возвращении, после Песаха, — в Цюрих, где Бенъямин в свойственной ему манере косвенно посоветовал мне встретиться с двадцатилетним молодым человеком из круга, к которому он раньше был близок. «А не позвонить ли Вам Гине Каро, коль Вы будете в Цюрихе, и не передать ли от меня привет?». На что я спросил: «Вы полагаете, с ним стоит познакомиться?». — «Почему бы нет?». Каро обычно называли Гине, так как он отличался особенно малым ростом¹⁶⁸. Так я завёл странное знакомство. Вскоре после моего возвращения в Берн у Бенъяминов произошёл жуткий инцидент с Вольфом Хейнле, после которого тот в два дня собрался и уехал в Германию. Дора сказала мне, что всё ужасно, и, может быть, когда-нибудь она сможет рассказать мне, что её так расстроило. Вид её был соответствующий. Но впоследствии речь об этом так и не зашла, а отношения Хейнле с Бенъямином, который всех своих знакомых мобилизовал ему на помощь, когда тот заболел и впал в тяжёлую материальную нужду, продолжались до самой его ранней смерти в 1922 году. По сравнению с глубокой меланхолией Хейнле, в которой я смог убедиться при наших встречах, Бенъямин был почти сангвиником. Такие обнадеживания на объяснение когда-нибудь потом были свойственны и Вальтеру. Так, однажды он мне сказал, когда речь зашла о Симоне Гутмане и его разрушительном влиянии на него и на Дору во времена «Молодёжного движения»: «Когда мы с Вами состаримся, я Вам расскажу кое-что о Симоне Гутмане», — но до этого дело так и не дошло.

В наш швейцарский период мы читали «Факел» Карла Крауса¹⁶⁹ почти регулярно. Когда именно Беньямин начал заниматься Краусом, я уже не помню; по-моему, это произошло примерно в 1916 году под влиянием безграничного энтузиазма Вернера Крафта. Самое раннее в 1919 году у нас было немало разговоров о Краусе, его прозе и его «Словах в стихах»¹⁷⁰, первые тома которых вышли как раз тогда. Впоследствии нас восхитила его пародия на Верфеля с насмешкой над экспрессионизмом, во время революции захлестнувшим самого себя, «Литература, или Там будет видно»¹⁷¹; непревзойдённые диалоги Крауса могли вызвать приступы удушья от смеха. Когда я в одной беседе о Мюнхенской Советской республике рассказал Беньямину о стремлениях реформировать прессу, призвав для этого Карла Крауса, Беньямин сказал: «Карла Крауса следовало предпочесть, так как у него была только одна позиция: „Écrasez l'infâme!“»¹⁷².

В начале 1919 года по предложению Бубера я перевёл с древнееврейского большую статью Хаима Нахмана Бялика о двух определяющих талмудическую словесность категориях, «Галаха и агада»¹⁷³,¹⁷⁴. Когда эта работа вышла в апреле 1919 года в журнале «Еврей», она также произвела длительное впечатление и на Беньямина, и её влияние ощущается в немалом количестве его произведений. Беньямин назвал её «совершенно необычайной» — да таковой она и была! Я прочёл ему также свой (неопубликованный) перевод полемики, которую против этой статьи опубликовал выдающийся писатель Й.Х. Бреннер. Однако Беньямин был гораз-

до сильнее захвачен колоссальными планами Бялика. Я делал тогда переводы средневековой религиозной лирики, которые читал Бенъямину вслух, он и склонил меня к опубликованию некоторых из них. Особенно он был захвачен — в связи с нашими разговорами о плачах и жалобных песнях — переводом знаменитой средневековой песни о сожжении Талмуда в Париже в 1240 году, который я сделал под влиянием переводов Гёльдерлина.

Где-то в середине мая я сообщил Бенъямину о своей решимости радикально изменить цель своей учёбы и сосредоточить главные усилия не на математике, а на иудаике. Мне это стало ясно, когда я записал, что «на самом деле моя цель — не математика, а стать иудейским учёным, всерьёз заниматься исключительно иудаизмом, причём даже тогда многое зависит от ценности конкретной работы. Моя страсть — философия и иудаизм, да и филология мне может весьма пригодиться». Я сказал Бенъямину, что попытаюсь завершить изучение математики — что я и сделал (чтобы затем при случае зарабатывать себе на хлеб учителем математики в какой-нибудь израильской школе), — а докторскую диссертацию хочу защитить в области иудаики. В те месяцы я принял решение с головой уйти в изучение каббалистической литературы и написать диссертацию о языковой теории каббалы. Уже давно по этой теме у меня были смелые мысли, которые я хотел подтвердить или опровергнуть в этой работе. Связь философии, мистики и филологии в теме иудаики обострила все мои стремления. Бенъямин воспринял

эту решимость с воодушевлением. При начавшемся тогда падении немецкой валюты мы оба уже не могли рассчитывать на то, что сможем долго оставаться в Швейцарии. Поэтому я раздумывал — поехать ли осенью в Гёттинген для завершения изучения математики, или в Мюнхен для новых исследований: в Мюнхене хранилось наиболее полное собрание каббалистических рукописей в Германии. Ещё в Швейцарии решение выпало на Мюнхен, где тогда училась и Эльза Бурхардт.

В мае 1919 года я пошёл на философский доклад чемпиона мира по шахматам Эммануила Ласкера и пожаловался Беньямину на полную бессодержательность выступления. Он посмотрел на меня большими глазами и сказал: «Чего Вы от него хотите? Если бы он что-нибудь сказал, он бы больше не был чемпионом мира по шахматам».

20 июня Беньямин отправил меня на устный докторский экзамен Гейзе, оказавшийся чистым фарсом. Поэтому я смог успокоить Беньямина, который, как я себе помнил, испытывал «прямо-таки неприличный страх» перед этим экзаменом. В эти месяцы всё напряжение, что было когда-то в наших отношениях, постепенно и окончательно исчезло. 27 июня за собственный экзамен Беньямин получил «*summa cum laude*»¹⁷⁵, и мы отметили это вечером. Однако мне он не позволил явиться на его экзамен. Он рассказывал, что Хербертц, Хеберлин и Майнц проявили чрезвычайную гуманность и даже были восхищены. Дора расшалилась и радовалась, как ребёнок, и все мы рассказывали друг

другу бессмысленно-многозначительные истории из Паппельспраппа — так называлось выдуманное Дорой место. Во время подготовки Бенямина к экзамену 31 мая и 1 июня мы с ним совершили прогулку из Били в Невшталь¹⁷⁶, сопровождаемую долгими разговорами. Мы спорили о том, одинаковый ли у нас образ жизни: он считал это несомненным, а я отрицал. Мы говорили о политике и социализме, относительно которого у нас были большие опасения, как и относительно положения человека при его возможном установлении. Мы по-прежнему приходили к теократическому анархизму как к наиболее осмысленной реакции на политику. Я тогда написал длинную критическую статью в еврейский журнал палестинских «народных социалистов» (на иврите этот журнал назывался «Молодой рабочий» — *ha-po'el ha-za'ir*), где высказал смутные предчувствия о судьбе духовного человека при социализме. «Духовного человека при таком строе можно было бы воспринимать лишь как сумасшедшего», — эту фразу из моего дневника от 29 июня 1919 года я перечитываю спустя 55 лет с глубоким содроганием.

В отеле в Биле, где мы ночевали, у нас произошёл разговор о воззрении. Я записал себе определение Бенямина, которое он вынес на дискуссию: «Предметом воззрения служит необходимость сделать воспринимаемым то содержание, о котором чувство лишь смутно догадывается. Слышание этой необходимости называется воззрением». Он не придавал значения моему протесту против этого «теологического» переноса воззрения в сферу акустики. Как раз в этом-то и проблема — утверждал Бенямин: сферы нельзя разделять,

и не существует чистого воззрения, которое не было бы слышанием, восприятием — правда, не голоса, а необходимости.

К непонятному мне скрытничанью Беньямина относилось и то, что он шесть недель настаивал на том, чтобы скрывать от всех факт защиты своей диссертации. Должно быть, он столкнулся с колебаниями родителей в части финансовой помощи сыну. Его позиция в ту пору была очень двойственной: между необходимостью любой ценой зарабатывать и приват-доцентурой. 1 июля Вальтер и Дора поехали на каникулы в Изельтвальд на озере Бриенц, где оставались до конца августа. Я посетил их там 22 июля, и мы «задним числом» отметили день его рождения и полюбовались подарками Доры. В тот день, задумавшись о самом себе, я записал, очевидно, имея в виду Беньямина: «Мой талант состоит в интерпретации таких людей, которые ей поддаются». В качестве подарка я послал ему новое издание «Немецкого преступного мира» Аве-Лальмана¹⁷⁷, где подробно рассматривались отношения еврейских и немецких низов: табуированная еврейской историографией тема, которая начала меня сильно привлекать как дополнительная к еврейскому «верхнему миру» мистики. «Жулики как народ Божий — вот было бы движение», — записал я тогда.

Родители Беньямина неожиданно нагрянули в августе в Изельтвальд примерно на три недели, и мой запланированный дальнейший визит сорвался. Там начались с тех пор непрекращавшиеся, жёсткие и временами горькие стычки по денежным вопросам и по

ожидавшему Бенямина будущему, которые в следующие годы пронизывали его жизнь и сформировали очень щепетильные отношения с родителями, чтобы не сказать — почти разрушенные. Но перед моим отъездом из Швейцарии Бенямин приехал ко мне в конце августа в Лунгерн-на-Брюниге¹⁷⁸ на два дня, привезя с собой свою статью «Аналогия и родство»¹⁷⁹. У нас в очередной раз были длинные разговоры о наших планах. После защиты докторской диссертации он посетил Хербертца в Туне и поставил вопрос о возможной габилитации в Берне, к которой Хербертц проявил интерес, правда, хотел ещё подумать над этим.

Из моих последних посещений Берна припоминаю ещё две вещи. Бенямин тогда начал читать — пожалуй, в ходе своих разговоров с Баллем и Блохом — *Réflexions sur la violence* Сореля¹⁸⁰, которыми он заразил и меня. Его потом долго занимала дискуссия с Сорелем. На письменном столе у Бенямина лежал также «Бросок игральные костей» Малларме¹⁸¹ в особом издании ин-кварти, графическое оформление которого, пожалуй, соответствовало броску игральные костей из заглавия. Слова, написанные шрифтами разного размера, перекатывались по строчкам, варьируя чёрный и белый цвета (по-моему, ещё и красный). Вид всего этого был в высшей степени удивительным, и Бенямин объявил мне, что он тоже не понимает текста. В моей неразумной душе остался лишь наглядный образ какого-то преддадаистического продукта.



Гершом Шолем. 1920-е гг.

ПЕРВЫЕ ПОСЛЕВОЕННЫЕ ГОДЫ (1920–1923)

После моего возвращения в Германию прошло три месяца, прежде чем я вновь услышал о Беньямине. Я к тому времени начал учиться в Мюнхене, набросившись на каббалистические сочинения в государственной библиотеке. Ту зиму Агнон тоже провёл в Мюнхене, и мы часто встречались. 15 сентября Беньямин написал мне из Клостера¹⁸² в Берлин: «Я стесняюсь — из-за нескончаемых невзгод и неопределённости перспектив — открыть переписку с Вами этой записочкой, но хотел бы Вам её предложить... Завтра мы отсюда уезжаем. Прежде чем покинуть Швейцарию, мы хотим ещё несколько недель провести в Лугано¹⁸³. Надеюсь, Дора там, наконец, обретёт радость и новые силы. *Никто* не должен об этом знать. Пишу это Вам лишь потому, что мне было бы ещё труднее утаивать от Вас наше местонахождение, чем вновь просить Вас сохранять его в тайне, к чему меня вынуждают мои теперешние жизненные обстоятельства. Ну и довольно. Мы очень рады этой поездке: из Тузиса через Сен-Бернарден до Мезокко¹⁸⁴ почтовой машиной, а оттуда поездом в Лугано. Вчера и позавчера здесь шёл снег и было всего несколько градусов выше нуля. Сегодня выглянуло солнце, и вершины сияют под снегом¹⁸⁵.

Дора здесь неплохо дебютировала с детективным романом. Вот уже несколько недель я интенсивно читаю книгу Блоха и, вероятно, выскажу в печати, что в ней есть похвального. К сожалению, одобрить можно не всё. И к тому же, иногда меня охватывает нетерпение. А сам он эту книгу, конечно, уже перерос» [В. I. S. 217. Центральная часть письма до сих пор не опубликована].

Они выехали в начале ноября. Перед этим Беньямин ещё раз посетил Хербертца, который открывал перед ним уверенные перспективы на габилизацию, а при случае мог даже сделать экстраординарным профессором философии. «Мои родители очень рады и ничего не имеют против габилизации у Хербертца, — писал он мне 16 ноября, — но ещё не могут связывать себя в финансовом отношении. Ближайшее, что я замыслил, это габилизация — вероятно, по теме из теории познания. К подготовке этой работы я и хочу здесь приступить¹⁸⁶». Тем временем Вальтер совершил краткий визит к тестю с тёщей в Вену и — приблизительно с 9 ноября 1919 года до середины февраля 1920 года (с перерывами на Вену) — жил с Дорой в Земмеринге¹⁸⁷, в санатории, принадлежавшем тётке Доры. В начале марта они вернулись из Вены в Берлин, и у нас возобновилась оживлённая переписка.

Наши отношения после возвращения в Германию складывались гармонично, и до напряжения швейцарского периода дело больше никогда не доходило. То ли пространственная дистанция спасала от столкновений восходящую кривую нашей дружбы, и гораздо более редкие дни личного общения проходили пози-

тивно? Или — как мне иногда кажется при взгляде назад, — три человека, крайне зависимых исключительно друг от друга, страстных и одарённых, должны были на пути к зрелости обломать себе рога именно в сфере частной жизни? А может, в этом скрытом от нас «треугольнике» были бессознательные влечения и способы защиты, которым надо было разрядиться и которых мы, в своей «наивности», т. е. из-за нехватки душевного опыта, не смогли распознать? Я бы и сегодня не смог ответить на эти вопросы.

В январе 1920 года Бенъямин написал мне, что работает над подробной рецензией на книгу Блоха. У меня сохранился ответ на это письмо (от 5 февраля):

«В эти дни я читал большие куски из “Духа утопии” Блоха. Я многого ожидаю от Вашей рецензии и надеюсь, что она прояснит для меня хорошее в этой книге. Не сомневаюсь, что оно имеется, но признаюсь, что усматриваю в ней кое-что весьма сомнительное. Поскольку ошибки этой книги Вы хотите разбирать лишь эзотерически, я, вероятно, открыто предъявляю свой иск, чтобы мы убедились — одинаково ли мы о ней думаем. В дальнейшем я буду говорить о разделах “О евреях” и “Об облике вопроса, который невозможно построить” — их, если я понял Блоха или насколько я его понял, я решительно отвергаю. У меня сложилось впечатление, что Блох здесь самым злостным образом и негодными средствами переходит границу, вторгаясь в ту область, которую в этой книге следовало бы лимитировать. Жестом мага (и, увы, я знаю истоки этой магии!) он достаёт высказывания об историях еврейства, всё это несёт

на себе ужасное клеймо Праги [у меня это ассоциируется с Бубером] — ничто не помогает, даже терминология пражская. Не существует того еврейского поколения, которое придумал Блох; оно существует только в духовном царстве Праги. Нельзя пользоваться таким историко-философским методом, в котором призываются свидетели и свидетельства в пользу не только [иудейской] демонии и демонологии, но и живого, ясного и тёмного средоточия вещей (и здесь сам автор — свидетель, который выражается более подчёркнуто) — и свидетельства эти происходят из сферы немецкого еврейства и еврейского германства и доказывают только эту изначальную для себя сферу. Здесь снова и снова то самое онтологическое доказательство бытия дьявола, которое удаётся только здесь. Блох, кажется, явно пренебрегает филологией, однако то, что он это делает, нисколько не пытаясь в своих историко-философских рассмотрениях соответствовать её требованиям (отбраковка источников!!!), весьма опасно. И ещё опаснее то, что он полагает, будто имеет право, преследуя свои цели, обходиться без филологии и без разбора перемешивать свидетельства. В почти великолепной бессвязности иудейские категории попадают в совершенно не приличествующую им дискуссию, в результате чего возникает столько же недоразумений, сколько и порождается непонимания: *Kiddusch haschem*¹⁸⁸ (в его в высшей степени жалком, взятом из “Книги об иудаизме” неправильном толковании); Имя или Имена Бога, не говоря уже о других вещах.

Однако всё это — разумеется, лишь влияния центральной христологии, которая нам тут подсовывается. Считать Тело Христово в *каком бы то ни было* смысле субстанцией нашей истории — это для меня невозможно, и я напрасно ищу достоверные свидетельства, которые говорят в пользу исчезновения “дедовской робости” перед основателем христианства в иудаизме, если отвлечься от свидетельств из промежуточных, “гермафродитских” сфер¹⁸⁹, где это, пожалуй, правомерно. Выводам Блоха, чем бы они ни обладали, недостаёт в этих частях самого значительного — справедливости. Всё виртуально смещено, и действительно: эти виртуальные сдвиги в недрах еврейской истории постоянно показывают, и это старая песня, христианское начало как её неустойчивое состояние нейтралитета. Есть ужасная механическая закономерность во всех историко-философских извращениях, и я был бы рад обмануться и быть опровергнутым в моих опасениях, что эти извращения всюду развиваются и в этой книге. Возможно, всё, что я здесь пишу, кажется Вам само собой разумеющимся или располагается где-то на дальней периферии; тогда тем лучше. Но я не могу радоваться намерению рассмотреть большой предмет, если он даётся в такой сомнительной догадке. Конечно, мир Блоха не поставлен с ног на голову, но есть признаки того, что он является мнимым, и это та мнимость, которая отдалена от действительности лишь на некий дифференциал (и здесь эта мнимость возникла, кажется, не в языке). Эта неуловимость дистанции и есть — если можно

так сказать — моё моральное возражение на то, что я узнаю из этой книги».

Ответ Беньямина, в котором он выражает полное понимание моей критики, напечатан [B. I. S. 234 и далее].

После «полного разрыва» с родителями Беньямина Вальтер и Дора, которые уже в начале апреля собирались переселиться в окрестности Мюнхена, из-за тяжёлых обстоятельств перебрались в Грюнау-Фалькенберг под Берлином, где они жили у Эриха Гуткинда в невероятно ярком домике, построенном Бруно Таутом. Там Беньямин впервые попытался изучать древнееврейский у Гуткинда, который некогда был моим учеником, хотя Дора, только что устроившаяся в какое-то телеграфное агентство переводчицей с английского, не смогла в этом участвовать так, как хотела. Она попросила у меня еврейскую азбуку, аналогичную той, которую Вальтер получил от Гуткинда, — чтобы тайком её изучить и ошеломить Беньямина ко дню рождения своими знаниями. Она утверждала, что Вальтер уже шутит на древнееврейский лад и охарактеризовал наиболее влиятельного деятеля в колонии Фалькенберг¹⁹⁰, её основателя Адольфа Отто как *Melech Hagojim* (царь гоев). Они оставались там, по меньшей мере, три месяца, в продолжение которых родители Доры приезжали в Берлин, чтобы общаться с ними. Тогда Беньямин с Дорой завели личное знакомство с Агноном. На день рождения Вальтера Дора ещё весной приобрела картину Пауля Клее «Совершение чуда», которая с тех пор висела у него в комнате, хотя я не помню, как выглядит эта картина. Чтобы зарабатывать деньги, Беньямин обратился даже к графологии, к которой

у него были способности. В Берне я как-то показал ему письмо ближайшего друга моей сионистской юности, о характере которого имел полное, как мне казалось, представление. Бенъямин смотрел на письмо недолго, но пристально и сказал с заметным волнением: «Идиотская честность», а больше не хотел ничего сказать, как будто этот тип его особенно разозлил. Честность и впрямь была тем, что излучал этот человек.

В том же году Вальтер и Дора возобновили личный контакт с Эрнстом Шёном, школьным товарищем Бенъямина, который был учеником Дебюсси, — и в конце лета, когда я приехал в Берлин, они познакомили с Шёном и меня. Природное благородство, проявлявшееся в его сдержанности, с самого начала произвело на меня глубокое впечатление, а его заикание только усилило это воздействие. Он был единственным из школьных товарищей Бенъямина, кто остался с ним в дружбе, и иногда рассказывал мне об их жизни между 1910-м и 1915-м годами.

После фиаско с Эрихом Брауэром я свёл с Бенъямином лишь одного своего друга, Густава Штейншнейдера. Когда я служил в Алленштейне, он был со мной в одной роте, и его судьба меня весьма заботила. Бенъямин был очарован этим весьма примечательным человеком. Ситуация Штейншнейдера была очень похожа на мою в том, что касалось отношений с братьями. Его старший брат был коммунистом, другой — решительным сионистом и одним из первых палестинских поселенцев из Германии; сам же он колебался между двумя лагерями, впрочем, очень спокойно и рассудительно. Бенъямин сразу нашёл с ним общий язык. Особенно

Густав нравился Доре, и они часто приглашали его в гости. В нём было что-то от природного благородства и музыкальности друга Беньямина Эрнста Шёна, правда, Штейншнейдер был совершенно не от мира сего, не способный сделать ничего «практического». Он говорил очень медленно, мелодически растягивая слова, был склонен к ипохондрии, а его узкое, немного усталое лицо выдавало потенциального философа. Меня восхищал в нём контраст по отношению к его деду, Морицу Штейншнейдеру, одному из крупнейших иудаистов прошлого столетия. Во многих отношениях я был большим почитателем этого человека и часто в то время рассказывал Беньямину о нём как об одной из наиболее значительных фигур в группе учёных ликвидаторов еврейства, так как по своей учёбе читал его труды. Тогда я много думал о самоубийстве еврейства, осуществлявшемся так называемой «наукой о еврействе», и планировал написать статью на эту тему в журнале Беньямина *Angelus Novus*¹⁹¹.

В том же году я думал, что поворот Беньямина к интенсивным занятиям еврейством уже близок. Но мне были понятны и препятствия, которые этому мешали, и я заклинал его в письмах не терять даром благоприятное и удобное время [В. I. S. 248 и далее]. Тем временем Вальтер с Дорой — уж не знаю, при каких обстоятельствах — снова переехали в Грунсвальд в дом её родителей. Дора играла ему на фортепиано Моцарта, Шуберта и Бетховена. В письме, написанном в феврале 1921 года, она очень искренне писала мне: «Не отворачивайтесь от нас. От всей души я надеюсь, что мы раньше, чем думаем, объединимся в иудейских

делах. Всё, чем я занимаюсь, сводится единственно к борьбе за средства». Но всё время другие труды Бенямина и в этот период наибольшего приближения препятствовали входу в мир иудейства. Для этого времени характерен краткий фрагмент, который Адорно опубликовал под не принадлежащим Бенямину заглавием «Теолого-политический фрагмент» и ошибочно датировал 1938 годом¹⁹². На этих двух страницах всё соответствует ходу его мыслей и его специфической терминологии, характерной для 1920–1921 годов.

4 ноября 1920 года Бенямин написал мне о своих стараниях раздобыть для меня сочинения Шеербарта, по которым я скучал. В университете он записался на курс древнееврейского. «Здесь учатся по грамматике Штрака. Доцент, пожалуй, хуже чем посредственный во всех отношениях, кроме, возможно, педагогического. Здесь всего человек 15. Завтра я смогу воспользоваться библиотекой семинара, чтобы попроситься в семинар Трёльча по философии истории Зиммеля. Я предпочитаю его семинару Эрдмана по психологии мышления и семинару Рия по Платону по многим причинам, среди которых сам господин Трёльч занимает лишь последнее место».

Мы увиделись в том же году в октябре и на рождественских каникулах, когда я был в Берлине. В этих встречах Бенямин относился ко мне с величайшей теплотой и открытым сердцем. Он страдал от того, что согласие и собственные намерения заняться древнееврейским не осуществились сразу, с первого «налёта». Но реагировал на это без чрезмерной раздражительности, а, ско-

рее, с особенной решимостью. В тот год он приобрёл у еврейских антикваров в Берлине огромное количество книг по иудаизму, намереваясь заняться запланированным изучением. Я рассказал ему об изменении своей диссертационной темы по каббале и о прочтении каббалистических сочинений по мистике языка, особенно — трудов Авраама Абулафии, которые побудили меня избрать, как мне казалось, менее претенциозную тему, нежели «языковая теория каббалы». Насколько сильно я ошибся, явствует из того, что задуманное введение к древнему тексту, который я тогда по рукописям переводил на немецкий и комментировал, я смог осуществить лишь сорок лет спустя. Поскольку интерес Беньямина к философии языка интенсивно занимал его в связи с запланированной габилитационной диссертацией, а также сыграл роль при возобновлении его личных отношений с языковедом Эрнстом Леви, которого он неизменно ценил, — мои сообщения из этой области оказались для него прямо-таки бесценными.

После возвращения в Германию Беньямин по-прежнему жил в полном уединении, хотя и начал вновь показываться в кругу старых и новых знакомых. За несколько лет он не опубликовал ни строчки и только в 1920–1921 годах сделал первые шаги, стремясь выйти из этой литературной неизвестности.

1921 год оказался поворотным пунктом в жизни Беньямина. Напечатанные письма не в полной мере отражают важность этого периода, хотя и дают некоторое представление об интенсивности его интеллектуальной

жизни. Через свою подругу Юлу Кон он познакомился с поэтом Эрнстом Блассом, который издавал журнал «Аргонавты»¹⁹³, и благодаря этому завязал отношения также с издателем журнала Рихардом Вейсбахом, который интересовался изданием перевода Беньямина из Бодлера. Тогда началась оживлённая переписка между Беньямином и Вейсбахом относительно этого предприятия, но письма Беньямина к Вейсбаху обнаружались после опубликования «Писем». В ту пору он написал статью «К критике насилия»¹⁹⁴, которой открылся ряд его «политических» работ и где — в споре с Сорелем — звучат все те мотивы, что волновали его в швейцарский период: его идеи о мифе, религии, праве и политике. Но «Белые листки», для которых он это написал, не хотели принимать статью, и она вышла в 1921 году в социологическом журнале, среди публикаций которого работа Беньямина производила весьма чужеродное впечатление. Он также старался пристроить свою рецензию на книгу Блоха; мне он прислал копию этой рецензии. В конечном счёте, пристроить её не удалось, и это, возможно, связано с тем, что довольно длинная статья была выдержана в таком эзотерическом изложении, что собственная позиция критика, которая была важна для редакторов, оставалась, можно сказать, скрытой.

Вернувшись в Мюнхен, я пошёл на доклад Рудольфа Касснера, который мне было очень интересно послушать, а именно его рассуждения о физиогномике. В резких выражениях я пожаловался Беньямину на то, что я назвал «неконтролируемым глубокомыслием» Касснера — а Беньямин в своём ответе ещё перещего-



Стефан и Дора Беньямины. Февраль, 1921 г.
Архив Академии искусств, Берлин

лял это определение, написав о «непомерной лживости» касснеровских писаний. В это же время я начал также впервые задумываться о филологической стороне изучения мистических идей и текстов — как о позитивном, так и о проблематичном в ней — и написал на эту тему длинное письмо Бенъямину. К моему изумлению, я узнал из его ответа, что и он уже давно задумывался над этими вещами, хотя и не был филологом.

В апреле 1921 года распад брака Вальтера и Доры стал очевидным — с чем я и столкнулся, посетив их. Между июнем 1919-го и апрелем 1921 года я ничего не знал об их ситуации и о том, как далеко зашёл разлад в их отношениях. Только когда разрыв был уже позади, я узнал об этом от Доры. Когда Эрнст Шён в первые месяцы 1921 года возобновил дружеские отношения с Вальтером и Дорой, Дора страстно влюбилась в него и несколько месяцев пребывала в эйфории. Она откровенно говорила об этом и с Вальтером. В апреле в Берлин приехала Юла Кон, сестра друга его юности Альфреда Кона, с которой Вальтер и Дора подружились — не знаю, насколько тесно — ещё в «Молодёжном движении», до их отъезда в Швейцарию; Вальтер увидел её впервые за пять лет. Вспыхнуло страстное влечение к ней, и она, пожалуй, тоже некоторое время была в смятении, пока не уяснила, что не может остановить на нём свой выбор. Возникла ситуация, похожая на описанную у Гёте в «Избирательном сродстве»¹⁹⁵. Когда я приехал в Берлин, Вальтер с Дорой посвятили меня в их ситуацию и попросили меня как друга дать им совет и помочь в положении, когда каждый поду-

мывал о браке с другим партнёром. Ни один из браков не состоялся, однако с этим кризисом распад семьи Беньямина вступил в острую стадию. Лето оказалось временем высокого напряжения и больших ожиданий. Оба были убеждены, что, наконец, испытали большую любовь. Начавшийся здесь процесс длился два года, и временами Вальтер с Дорой возобновляли супружеские отношения — пока эти отношения окончательно не превратились в 1923 году в дружественное совместное проживание, прежде всего, ради Стефана, в воспитании которого Вальтер принимал существенное участие, но ещё и по финансовым соображениям. В последующие годы до их развода всё так и оставалось, разве что Вальтер надолго уезжал или снимал отдельную комнату. С тех пор каждый шёл своим путём, хотя они и рассказывали друг другу обо всём, что их волновало.

В критические месяцы начала разрыва оба — насколько я мог судить как очевидец — сохраняли трогательные и нежные дружеские отношения. Никогда они не были так предупредительны друг к другу, как в те апрельские дни и весь следующий год. Каждый боялся обидеть другого, и демон, временами вселявшийся в Вальтера, проявляясь в деспотизме и требовательности, казалось, совсем его оставил. Мои тогдашние встречи с ними и Эрнстом Шёном — Дора приезжала с ним на несколько дней в Мюнхен во время поездки в Брейтенштейн, курортное местечко Земмеринга — были лучшими, какие я помню. Дора ещё сильно тяготела к Вальтеру, но говорила о нём каким-то новым тоном. Не то чтобы она сомневалась в его одарённо-

сти, в его гении, которые столь много значили для неё, но начала говорить о таких чертах, которые прежде никогда не затрагивались, в том числе и о своих переживаниях в браке. К моему изумлению — ведь оба пользовались психиатрической терминологией с большой сдержанностью — Дора приписывала Вальтеру невроз навязчивых состояний. Я и позднее слышал от неё такое, хотя по своему опыту не мог подтвердить справедливость её слов. Дора, будучи очень чувственной женщиной, сказала, что интеллект Вальтера мешал его эросу. Расставание с его интеллектуальной сферой, к которой она ещё долго была привязанной, далось ей нелегко и привело к полному перевороту в её жизни.

Я впоследствии разговаривал и с другими женщинами, с которыми Бенъямин был близко знаком, а одной даже делал в 1932 году брачное предложение¹⁹⁶. Все подчёркивали, что Бенъямин как мужчина был для них непривлекателен — сколь бы ни впечатляли и даже ни восхищали их его ум и речи. Одна из его знакомых сказала мне, что он для неё и её подруг вообще не существовал как мужчина, им и в голову не приходило, что в нём присутствует и это измерение. «Вальтер был, так сказать, бестелесен». Была ли причиной некая нехватка витальности у Бенъямина, как это многим казалось, или скрещение витального — а оно в те годы часто проявлялось — с его совершенно метафизической ориентацией, которая принесла ему славу отрешённого?

В том же году в наших письмах и разговорах начал играть особую роль круг, который сложился тогда во-

кругу странной фигуры Оскара Гольдберга и который интересовал нас с разных сторон. Если об истоках экспрессионизма и о «Неопатетическом кабаре» можно прочесть немало, то этот кружок окутан тьмой; а ведь он и позднее (после 1925 года) под вывеской «Философская группа» всё ещё выступал в качестве дискуссионного центра по многим живым проблемам философии не меньше, чем в двадцатые годы, особенно перед моим отъездом в Израиль¹⁹⁷. К «неопатетикам» принадлежали и Оскар Гольдберг (1887–1951), и Эрих Унгер (1887–1952), которые тогда были ведущие умы в этом кругу. Гольдберг изучал медицину, однако, по-моему, так никогда и не практиковал. Маленький толстый человек с внешностью китайского болванчика, он оказывал колоссальное магнетическое воздействие на часть еврейских интеллектуалов, сгруппировавшихся вокруг него, — лишь на её «обочине» присутствовали два три нееврея. Один из них, Петер Хухель, говорил мне: «Я был шабес-гоем¹⁹⁸ при Гольдберге». Гольдберг, происходивший из благочестивой семьи, был знатоком еврейской Библии и ещё в юные годы пускался в рассуждения, связанные с числовой мистикой, о построении Торы из Имени Божьего. Но главным авторитетом для посвящённых этого круга он стал благодаря видениям, которые посещали его в шизоидном сумеречном состоянии перед пробуждением, и благодаря откровениям относительно Торы, на которые Гольдберг выдвигал притязания. Он тогда ещё ничего не опубликовал, кроме тонкой брошюры «Пятикнижие Моисеево, числовое строение» (1908)¹⁹⁹. Он распространял свои учения посредством частных курсов, и если кого-то из его

приверженцев спрашивали, почему он следует тому или иному пункту иудейского ритуала или же нарушает этот пункт, следовал ответ: «Так нам сказал Оскар». Вопросы к Оскару не существовало, так как он был просветлённым обладателем откровения. Не чуждый философскому образованию и интересам, он выстроил из биологических и этнологических категорий — что тогда было в ходу в научном мире — своего рода биологическую каббалу, которая должна была показать ритуал Торы — «Действительность евреев», как гласит название его основного произведения (1925)²⁰⁰ — как некий континуум совершенной магии. В этих мыслях не было ни недостатка в демонических взглядах, ни недооценки чар, исходивших из комментария, который казался эзотерическим и объявлял иудаизм стадией теологического распада магической религии древнего еврейства и при этом не чурался никаких последствий и нелепостей. У Гольдберга дело сводилось к восстановлению магических уз между Богом и его народом, чей биологический центр якобы представлял собой сам Оскар, причём вещи, непригодные к осовремениванию, без рассмотрения отодвигались в сторону. Его формулировкам были присущи необычайная бойкость, сомнение и какой-то люциферический блеск. Вначале он занимался теософией, но вскоре стал самостоятельным, причём пользовался значительным философским дарованием Эриха Унгера, который был его главным рупором и интерпретатором. Уже многократно упомянутый Симон Гутман и Унгер были его ближайшими доверенными лицами. В то время, когда Бенъямин возобновил общение с этими людьми, ко-

торых знал с юности, я познакомился с некоторыми из приверженцев Гольдберга, и они пытались приобщить меня к этому кругу. Беньямин питал антипатию к Гольдбергу, который обычно мало говорил и был неприкосновенным как глава секты, и однажды даже не смог пожать его руку, протянутую для приветствия. Беньямин говорил мне, что Гольдберг окружён настолько нечистой аурой, что он просто не может её вынести. Унгер же, наоборот, был ему по-человечески приятен и философски очень интересен. Беньямин обратил моё внимание на первые публикации круга Гольдберга и особенно на сочинения Унгера, в которых, среди прочего, выдвигалось требование о «Безгосударственном основании еврейского народа» <*Die staatenlose Gründung eines jüdischen Volkes*> метафизическими средствами, в противовес эмпирическому сионизму²⁰¹, за который боролся кружок Гольдберга. Вальтер и Дора иногда встречались с Унгером, Гольдбергом и другими в Лихтерфельде²⁰², у близкой подруги Доры, Элизабет Рихтер-Габо, которая покровительствовала и кругу Гольдберга.

Я был интересен этим людям не только тем, что имел доступ к древнееврейским истокам, но прежде всего тем, что изучал каббалу, как они слышали от друга моей юности. Каббала там высоко котирировалась не столько из-за её религиозных и философских аспектов, подвигших меня к её изучению, сколько из-за её магических импликаций, о которых Гольдберг имел экстравагантные представления. Моё негативное отношение к попыткам втянуть меня в этот круг и к псевдокаббале, которая преподносилась мне от имени Гольдберга, не-

сколько раз приводило Бенямина в замешательство, хотя он и совсем не дорожил Гольдбергом, зато стремился поддерживать связь с Унгером. В последующие годы у нас было много поводов говорить или писать друг другу о публикациях и иной деятельности гольдберговского кружка, пропагандировавшего массовую эмиграцию из Европы к «первобытным», т. е., по Гольдбергу, способным к магии, народам. Отрицание буржуазного мира, в котором они усердствовали, привело их — прежде всего, в их печатных формулировках — к близости к движениям за социальную революцию, тогда как на самом деле речь у них шла о новой теократии, мировым заправилкой которой мнил себя Гольдберг.

Живя уже в Иерусалиме, я подружился с Эрнстом Давидом, который финансировал издание главного труда Гольдберга. Это был человек с благородным характером, долго находившийся под обаянием Гольдберга в этом кругу и с трудом расставшийся с ним, нарушив заповеданное Гольдбергом табу на эмиграцию и на участие в сионистском строительстве. От Давида и его жены я много слышал об экзотерических и эзотерических аспектах этой группы. Тогда же, после выхода в свет «Действительности евреев», я написал длинное письмо с критикой этой книги, и Бенямин и Лео Штраус распространили его в Берлине в списках, что не способствовало симпатии ко мне со стороны приверженцев Гольдберга. То, что порыв воображения, свойственный Гольдберговым толкованиям Торы, не только впечатлял, но и восхищал других своими скорее зловещими сторонами, демонстрируют не только тру-

ды палеонтолога Эдгара Даке, но и произведения Томаса Манна, метафизические части его романа «Иосиф и его братья» в первом томе, в «Историях Иакова», полностью базируются на книге Гольдберга. Правда, это не помешало Манну несколько лет спустя в специальной главе «Доктора Фаустуса» сделать Гольдберга мишенью своей иронии. Там Гольдберг выведен в образе приват-доцента д-ра Хаима Брейзахера, который — в качестве своего рода метафизического сверхнациста — излагает свою магическую расовую теорию по большей части подлинными словами Гольдберга. Интерес к этой — с позволения сказать — иудейской секте Беньямин сохранил вплоть до гитлеровской эпохи.

После описанных событий между Вальтером и Дорой, которые ввели между нами троими дружественное «ты», я вернулся в Мюнхен. Я пытался подвигнуть их к большей ясности не только в чувствах, но и относительно пути, каким они хотели пойти, а прежде всего к пониманию, действительно ли чаяния их жизни будут исполнены после заключения новых браков? Я полагал, что это возможно, но не так уж правдоподобно. С Эрнстом Шёном я уже был знаком, а про Юлу Кон знал тогда лишь то, что мне рассказывал Вальтер об излучаемых ею чарах. Об этих и некоторых других событиях — например, о моей новой встрече с Эрнстом Блохом в Мюнхене — потом мы не встречались до 1968 года — свидетельствует следующее письмо от 26 мая 1921 года:

«Дорогой Герхард,

я искренне и от всей души надеюсь, что твоя не-

удовлетворённость работой и усталость от жизни остались в прошлом и не так уж зависят от проявления событий у нас. Ведь здесь до решения ещё далеко, и определённо нельзя сказать даже “когда”. Но вполне возможно, как ты пишешь, что ясность может установиться быстрее, чем мы знаем, во внутреннем измерении — но это не гарантирует того, что — какое бы ни было принято решение — оно окажется окончательным, т. е. выразится во вновь обрётённом постоянстве образа жизни. Правда, мы оба, конечно, ни в каком смысле не позволим связать себя цепью потрясений, сомнений и мучений и всё больше стараемся обрести прежний покой. Во всём этом хуже всего то, что я опасаясь за здоровье Доры, если она не успокоится. Врач определённо диагностировал катар в верхушках лёгких, который, хотя сам по себе и не опасен, но делает необходимым щадящий образ жизни. Внешние симптомы в последнее время отступили, так что Дора уже почти не кашляет, однако это мало о чём говорит. Перед поездкой она ещё разходит к врачу. Сможешь ли ты с ней увидеться вскоре или нет, вроде бы пока ещё (или опять-таки) неясно, так как пока Дора не определила свои планы, она ещё не знает, посетит ли тебя по дороге туда или обратно. Это также зависит от Э. Ш. Но я думаю, что теперь ты её всё-таки повидашь. По крайней мере, я бы хотел, чтобы Дора, независимо от прочих поездок, четыре недели полечилась бы воздушными процедурами в Брейтенштейне. Меня ты этим летом увидишь обязательно. Неясно только — где и когда... Что

происходит с моей статьёй о насилии — не понимаю. Экземпляр для тебя я передавал — а Блох её уже знал. Он взял её у тебя почитать ещё раз? Когда он едет в Вену? Я бы хотел увидеть этим летом и его. Не исключено, что я тоже поеду в Австрию, хотя, конечно, не теперь. В самом Гейдельберге [где жила Юла Кон] я буду лишь проездом, во всяком случае, сначала встречусь с Ю. К. в каком-нибудь другом месте, вероятно, в конце июня, а до этого буду находиться здесь у Гуткиных, а кроме того, съезжу к [Фердинанду] Корсу [другу эпохи “Свободного студенчества”] и к Рангу.

Дело с С. Фишером, очень пронырливым, но пугливым господином, зашло в тупик и зависит от того, в какой степени вмешается мой покровитель [Мориц Гейман или Рудольф Кайзер?]. А о том, каким сложным механизмом надувательства это опять-таки определяется, ты знаешь. Темп, слава Богу, значительно замедлился. При моём посещении Фишера я произвёл неплохое впечатление, везенье было мне в помощь.

К моей большой радости и облегчению, в эти дни я смог написать предисловие к Бодлеру, “Задача переводчика”²⁰³. Оно полностью готово, но пока не знаю, как я смогу его размножить».

Вскоре после этого Беньямин и сам приехал в Мюнхен проездом к Доре в Земмеринг. Тогда же он купил за 1000 марок (14 долларов!) акварель Клее *Angelus Novus*. В своей статье «Вальтер Беньямин и его ангел»²⁰⁴ я рассказал об этом подробно, пристальнее рассмотрев его

интимное отношение к этой картине. В конце июня он ещё раз вернулся в Мюнхен и жил в квартире, которую я делил со своей будущей женой, Эльзой Бурхардт (друзья называли её Эша); некоторое время там висела и картина Клее. Я тогда работал над подробной рецензией на мистическую лирику евреев; этой теме была посвящена развращённая экспрессионизмом книга Меера Винера (который сам по себе был выдающимся гебраистом) «Лирика каббалы», и я мобилизовал весь мой полемический задор²⁰⁵. Я рассказал Бенъямину, что Талмуд и мистики той эпохи говорили о гимнах ангелам, и сведения эти упали в Бенъямине на очень плодородную почву. В те дни он был в превосходном настроении и состязался с Эшей в шутиво-иронических диалогах. Вальтер рассказал о встречах с Соломоном Фридендером, который, как и он сам, был чужд кругу Гольдберга и относился к его завсегдатаям с философским цинизмом: впоследствии по этическим воззрениям Фридендер стал строгим кантианцем. Бенъямин сделал мне подарок: философский *opus magnum* Фридендера «Творческая индифферентность»²⁰⁶, о котором он был высокого мнения. А я тогда рассказал Бенъямину о значительном религиозно-философском труде Франца Розенцвейга «Звезда искупления», вышедшем в 1920 году и начавшем меня занимать²⁰⁷. В связи с моими публикациями в журнале «Еврей» я сказал, что Вальтеру не осталось ничего, кроме как подписаться на этот журнал, и мы послали заявление на подписку для него.

Через неделю он поехал к Юле Кон в Гейдельберг и прислал нам 9 июня юмористический диплом как

рекомендацию гостиницы Эши Бурхарат, особенно пригодную для шаббата. «Она располагает просторными помещениями, академически образованным лакеем и дешёвыми кроватями. По желанию для ангелов предоставляется гараж... Всегда к услугам господ ангелов — адресная книга (ангелология) и политический агитационный материал (“Восстание ангелов”²⁰⁸)). Основные слова были представлены в виде ребуса, некоторые — переведены на примитивный иврит. Бенъямин подписался «по поручению комиссии» как д-р Никудых²⁰⁹: так Бенъямин любил называть себя, наигранно взывая к жалости или иронически. Когда он бывал в хорошем настроении, эта любовь к розыгрышам часто давала о себе знать. Прилагалось следующее письмо:

«Дорогой Герхард,
прилагаемый благозвучный диплом я должен переслать тебе, исполняя свой долг чиновника. Моя личная антипатия к фройляйн Бурхарат остаётся при этом неизменной. Твой д-р Никудых.

P. S. Поездка была в целом очень приятной, хотя мне и на сей раз приходилось слышать разговоры, при которых голова кругом идёт. Сразу же по приезде я отправился в отель “Тангейзер”, где мне дали комнату; вечером там уже не было свободных мест. Здесь райская погода, город гораздо красивее, чем был у меня в воспоминаниях. Вчера мы ходили ужинать в замок Вольфсбруннен; и я намерен совершать ежедневные прогулки в долину или в горы до тех пор, пока вновь не обрету душевное здоровье. Здесь я живу в двух комнатах господина Лео

Блюменталю [читай: Лёвенталю], который уехал на несколько месяцев. Чувствую я себя в них очень хорошо. Они расположены на нижнем этаже спокойной улицы (Шлоссберг) и прямо-таки *прельщают* меня своим приятным письменным столом к работе. Так что в любой момент я могу попросить тебя прислать мне “Звезду спасения” — но пока погожу, чтобы это не оказалось напрасным.

У фройляйн Кон я нашёл целиком новый роман Агнона, опубликованный в отдельных номерах “Еврея”. К сожалению, должен сообщить, что ей очень понравилось, что я забрал у неё эти журналы.

Господин Блюменталь [Лёвенталь] оказал мне внимание, предоставив в моё пользование свою маленькую и изысканную библиотеку. Итак, ты видишь, что от дружеского визита я перешёл к чему-то иному, и если со мной всё будет хорошо, то мне будет очень хорошо.

С сердечным приветом вам обоим,

Вальтер».

Упомянутый здесь Лео Лёвенталь был в студенческие годы ревностным сионистом; впоследствии в эмиграции он работал вместе с Бенямином в качестве одного из главных сотрудников в Институте социальных исследований²¹⁰.

До середины августа Бенямин оставался в Гейдельберге, где он начал подготовительную работу к большой статье об «Избирательном сродстве». В этот период крайней жизнерадостности и невероятной продуктивности он отпраздновал свой день рождения вместе

с Юлой Кон, и я послал ему на день рождения своё стихотворение «Привет от Ангела» о картине Клее, воспользовавшись удобной возможностью долго смотреть на неё. 4 августа Беньямин сообщил мне важную новость: издатель Вейсбах предложил ему издавать с 1 января 1922 года журнал (полностью на своё усмотрение), который должен был называться так же, как картина Пауля Клее²¹¹. В моём сотрудничестве Беньямин видел одно из условий успеха этого журнала и хотел тут же посетить меня в Мюнхене и обсудить новую ситуацию. Ожидания, которые Беньямин связывал с моим сотрудничеством, вызвали у меня замешательство. Ведь я не мог утаить, что не ощущал призвания к тому, чтобы, как мне казалось, чрезвычайно зримо участвовать в издании немецкого журнала — мой разум стремился совершенно к другим вещам и целям, о чём Беньямин должен был знать. Так возникли трудности и разочарования, которые отразились в письмах этого времени, в том числе и в нескольких сатирических письмах Доры ко мне. На настоятельную просьбу Вальтера я тотчас же ответил, что готов помочь, но описал и мои сомнения. Ответ Беньямина от 8 августа освещает эту ситуацию. (Написан сразу после отъезда моей подруги — она останавливалась у Беньямина на два дня по пути в Мюнхен.)

«Дорогой Герхард,

в воскресенье утром, после того, как уехала фройляйн Бурхардт, и за полчаса до того, как я отправился подписывать договор к Вейсбаху, пришло твоё письмо. Чем больше опасений оно мне внушает, тем более непреложным должно оставаться



Юла Кон. 1916 г.
Национальная библиотека Израиля, Иерусалим

моё доверие к тебе, так как без него я едва ли смог бы взяться за это предприятие. Теперь ты поговоришь с фройляйн Бурхард раньше, чем со мной, и получишь от неё первые сведения. Прилагаю свой проект договора, соответствующий, в целом, подписанному, чтобы ты смог посмотреть его в подробностях — прежде я надеялся сообщить тебе его устно. Замысел, который целиком исходит от меня, состоит в том, чтобы основать журнал, не принимающий во внимание платёжеспособную публику, чтобы тем определённое служить публике интеллектуальной. По этой причине количество подписчиков, исходя из которого следует подсчитывать бюджет, пришлось установить по возможности низким, так как совершенно бесперспективной попыткой было бы строить задуманный мной журнал на большем количестве (как минимум, их должно быть 1000) умеренно платящих подписчиков (около 50 марок в год). Публика, которая может “позволить себе” журналы, принимает журнал не в подарок, и многие, а вероятно, даже большинство из тех, к кому он обращается, тоже не смогут его себе позволить, даже если он будет стоить только 30 марок. Поэтому существует единственная возможность: построить “подписку” на основе меценатства, чтобы журналу не пришлось плясать под дудку публики. Если же ста экземпляров для подлинной, хотя и неплатёжеспособной, публики окажется недостаточно, то можно увеличить количество бесплатных экземпляров. Трудности не возникнут из-за того, что на бесплатных экземплярах будет печать “авторские

экземпляры”. Поначалу о связи названия с картиной Клее в журнале не будет сказано ничего.

Итак, я надеюсь, что устранил значительную часть твоих сомнений. Теперь настал черёд моих. А именно: 480 страниц в год я считаю лишь максимальным пределом и могу сделать общий объём меньше; и всё-таки полностью публиковать действительно существенную прозу не рассчитываю. Но вот фройляйн Бурхардт ответила на мой вопрос, что Агнон, вероятно, с удовольствием увидел бы свои переводы в “Ангелусе”, во-первых, потому что они там безвозмездно доступны, во-вторых, потому что ему должно быть даже приятно, что они выйдут в таком нееврейском журнале. Если это так, то я хотел бы опубликовать “Новую синагогу” [ошибочно, вместо “Старой синагоги”] в первом номере. И я прошу тебя сделать всё, чтобы мои замыслы осуществились. Далее, для меня важно, как обстоят перспективы с твоим письмом к издателю “Книги о еврействе”. Не можешь ли ты мне прислать это письмо? И письмо, которое ты несколько лет назад написал Зигфриду Леману, как я полагаю, следовало бы напечатать.

Сегодня я написал Леви²¹² и, уведомив его подобающим образом о планах твоего визита, сказал, что тоже хотел бы при этом присутствовать. Об “Ангелусе” я ему тоже сообщил и просил его благоволения. Если ты мне сразу же ответишь, твоё письмо меня, пожалуй, ещё застанет здесь. В любом случае этот адрес остаётся и в дальнейшем. С твоими предложениями на сентябрь я согласен. Сердечный привет,

твой Вальтер.

Здесь мы для тебя купили: Немецко-еврейский словарь... составленный священником К.Г. Эвертом для употребления еврейского торгового сословия, Ройтлинген, 1822. За шесть марок. Предисловие — как у Дукеса».

В 1920–1921 годах я перевёл на немецкий несколько коротких рассказов Агнона, которые казались мне совершенными, и прочёл их Бенъямину; он был в полном восторге от них. Аггон был большим мастером коротких рассказов, многие их черты были близки Бенъямину. В 1920 году составители книги «О еврействе»²¹³, вышедшей в 1913 году в Праге, хотели в изменившихся обстоятельствах издать ещё один том с тем же названием и пригласили меня к сотрудничеству. На это я ответил резкой инвективой против псевдорелигиозного и псевдореволюционного элемента в пражском сионизме, которую прочёл Бенъямину. Также и письма к Леману, которые я после бурных дебатов написал осенью 1916 года в редакцию возглавляемого им журнала *Das jüdische Volksheim*²¹⁴, были в том же духе и венчались противопоставлением Бубера и Ахада Ха'ама в пользу последнего — Бенъямин воспринял с живым согласием, когда я прочёл ему их в начале 1917 года. Об этих дебатах с Леманом, кстати, невеста Кафки сообщала в письме к нему, на которое Кафка — как я узнал, к моему изумлению, спустя более пятидесяти лет — ответил согласием с требованиями и предложениями «господина Шолема». Леопольд Дукес был еврейским учёным XIX века, сочетавшим редчайшую учёность антиквара с жёстким и доходящим до границ патологии лапидар-

ным стилем. Я наткнулся на его произведения и прочёл Беньямину (когда тот приехал ко мне в Мюнхен) длинное предисловие к одному из них, прозвучавшее словно голос с другой планеты.

Наш визит к Эрнсту Леви случился благодаря стечению двух обстоятельств. У Беньямина было желание привлечь Леви к сотрудничеству в журнале, который он хотел издавать, — а у меня было намерение посетить дружившую со мной с йенских дней молодую художницу Лени Чапски-Хольцман, которая, выйдя замуж, жила вместе с семьей Эрнста Леви в затерянной деревеньке Вехтерсвинкель в Рёне²¹⁵ и приглашала меня в гости. Мы пробыли там с 8-го по 10 сентября 1921 года, и эти два дня запомнились мне как дивное время в прекрасном старом доме, в каком-то зачарованном большом саду, где был пруд с кувшинками. Вся усадьба когда-то принадлежала епископу Бамбергскому. Леви, который всё ещё был приват-доцентом в Берлине, приезжал туда лишь на каникулы. В его жене, которая говорила медленно и мало, было что-то таинственное, болотно-засасывающее, орхидейно-магическое и жуткое, как в хищном растении. Они говорили о своей дочери лет двенадцати, которая была лунатиком. Госпожа Леви молчаливо властвовала над мужем. Атмосфера царила колдовская и передавалась всем нам. Вскоре мы узнали, что Хольцманы уже давно страдают от этой атмосферы и хотят уехать. Михаэль Хольцман был кузенком Оскара Гольдберга и в юности, ещё до Первой мировой войны, иногда жил с ним в одной комнате, на собственной шкуре испытав его

шизофренический характер и уже тогда наметившиеся притязания на господство над другими — о чём он нам долго рассказывал в первый же вечер. Для нас (а мы как раз вели много разговоров о Гольдберге) это оказалось столь же ошеломляющим, сколь и поучительным.

Мы занимали в доме большую комнату с гигантской двуспальной кроватью. Когда мы проснулись утром, Вальтер сказал мне: «Если бы я сейчас, открыв глаза, вместо тебя увидел девушку, я бы подумал, что я — епископ Бамбергский». На следующий день он изложил идеи, каким должен быть «Ангелус» по своему направлению и как его анонсировать. В центре раздела поэзии, ясно, должны были стоять стихи Фрица Хейнле и его брата Вольфа. В прозе для него было важно представить новых или малоизвестных авторов, которые по отношению к языку занимали бы близкую ему позицию. Это было тем, что — независимо от темы написанного — объединяло по духу таких людей, как Агнон, Флоренс Кристиан Ранг, Эрнст Леви и я. Леви был захвачен мыслями Бенямина о языке, хотя они выходили далеко за рамки его собственных, и предложил для журнала свой критический анализ речей Вильгельма II, касающийся языка. У него было пять томов этих речей, вышедших в издательстве «Реклам», которые, несомненно, выдавали авторство и личный стиль кайзера; он зачитал нам вслух некоторые из речей, сопровождая их своими комментариями. В анализе метафорики и синтаксиса он выявил всё «вильгельмовское» ничтожество. Идея такой статьи, которую Леви собирался скромно назвать «Замечания к речам Вильгельма II», воодушевила нас всех. От этого представления

мы перешли к долгому разговору об отношении евреев к языку. Мы оживлённо обсуждали Генриха Гейне, Карла Крауса и Вальтера Кале (который после своего раннего самоубийства был признан величайшим гением, хотя от него мало что осталось) и таких философов языка, как Лацарус Гейгер, Хаим Штейнталь и Фриц Маутнер. С разных точек зрения мы обсуждали тезис, следует ли выводить особую связь евреев с миром языка из их тысячелетних занятий священными текстами, откровением как основным языковым фактом и его отражением во всех сферах языка. Горячо дебатировался Карл Краус, чьё отношение к языку — да что там, его языковой маразм — уже тогда начал занимать Бенямина. Сам я уже давно задумывался о происхождении стиля Крауса из древнееврейской прозы и из поэзии средневекового еврейства, из языка великих галахистов и «стиля мусив» — рифмованной прозы, где обломки языка священных текстов образуют калейдоскопический вихрь и публицистически, полемически, дескриптивно и даже эротически профанируются. Бенямин часто требовал от меня выражать такие мысли письменно. Однако ни моя работа на эту тему, ни проведённый Леви анализ речей Вильгельма II так и не были потом записаны.

Хольцман и сам был художником и склонялся к господствовавшему тогда экспрессионистскому направлению. Бенямин подолгу говорил с ним о живописи. Однако жутковатая атмосфера, окружавшая семью Леви, действовала Бенямину на нервы, особенно раздражён он был в последний вечер. Из-за своей повышенной чувствительности Бенямин ощущал сдер-

жанность и полускрытое отвращение со стороны жены Леви, которые приводили к раздражённым разговорам между ним и Леви и многое портили. Бенъямин чувствовал, что может возникнуть и антипатия. Между тем, Хольцман и Леви рекомендовали некоторых своих друзей и знакомых в качестве потенциальных сотрудников «Ангелуса».

И действительно, Бенъямин, который в сентябре и октябре находился в основном в Берлине, вскоре получил от Эрнста Леви довольно сварливую отповедь, приведшую к их взаимному отчуждению, хотя формальные отношения между ними ещё сохранялись. Бенъямин писал ему дипломатичные письма — инспирированные Дорой и под её руководством, как это часто бывало при таких отношениях. Я тоже в сентябре был в Берлине, где — под впечатлением рассказов Хольцмана о личности Гольдберга — дело дошло до шумного конфликта между мной и его кружком, когда подруга Гольдберга Дора Хиллер, впоследствии ставшая его женой, сделала попытку обратить меня в свою веру, последнюю с их стороны. Вначале дама наговорила мне комплиментов, а потом, когда я в резкой форме высказал ей своё мнение о Гольдберге, она взяла свои слова назад и вышла из комнаты. Я подробно рассказал Бенъямину об этой сцене, а также побеседовал о Гольдберге с Гине Каро, который вращался на периферии его круга. Вернувшись в Мюнхен, я получил от Бенъямина письмо, оформленное как новогоднее поздравление от имени ангела, где он весьма характерно для себя описывает своё поведение в наклепанном мной кризисе [В. I. S. 273 и далее, но там с большими сокращениями]:

«...Твой разговор с Дорой Хиллер просыпал град благословенных плодов — да на мою голову. Я хотя и не знаю, зачем она к тебе приходила, но могу предположить, что под каким-то предлогом и на свой страх и риск, т. е. без поручения “противной стороны” она взяла у тебя небольшое шпионское интервью, насчёт которого ты, вероятно, тоже не строил никаких иллюзий. Какие нити ведут от этого визита к нижеследующему, я не знаю, да это и неважно. Ты можешь их игнорировать. В четверг, в день твоего отъезда, у д-ра Захариаса (тесть Унгера) господин Унгер отвёл Гине Каро в сторону и спросил: когда он виделся с тобой в последний раз и говорил ли ты что-нибудь против “Круга” (читай: Гольдберга)? Маленький Каро припомнил — справедливо или нет, — что в твоих тогдашних ремарках против Гольдберга ты ссылался на меня, и счёл эту ссылку — справедливо! — конфиденциальной, поэтому объявил: “Моё дело сторона”, на что Унгер ответил лишь: “Странно”. В тот же вечер чёрт меня дёрнул не поздороваться с Гольдбергом — слегка вызывающе. В мою последнюю встречу с Унгером, когда мы собирались поговорить об “Ангелусе”, он предпослал вопросу о моём отношении к Гольдбергу замечание, что его отношения с ним — очень близкие. При этом он всеми способами намекал, что, так сказать, знает правду и ожидает лишь формального объяснения, что Гольдберг мне безразличен. Я же — после пережитого в Вехтерсвинкеле и после моего печального опыта с Блохом, о чём я ещё скажу после — не могу заглядывать в такого рода

бездну без того, чтобы не прыгнуть в неё от страха, и потому всё испортил — к своему и Унгерову ужасу. Короче, разрыв был полным. Но Дора, которая, в отличие от меня, сразу углядела в этом деле вопрос престижа, в дьявольски умном разговоре с Унгером объяснила мою антипатию личными идиосинкразиями и спасла дело. Как я на самом деле отношусь к Гольдбергу, Унгер после этих разговоров знает ещё лучше, чем прежде, но получил желанное успокоение совести. Этот длинный рассказ призван обосновать мою просьбу: впредь ничего не говорить о «Круге», ссылаясь на меня, а также никому ничего не рассказывать о твоём тогдашнем разговоре с Каро. Если же глупости Гольдберга когда-нибудь на чём-нибудь проявятся, то можно будет и рассказать».

В это время отношение Бенямина к Эрнсту Блоху стало весьма щекотливым. В его рассказах, а потом и в письмах видны постоянные колебания между личной симпатией и отторжением, между удивлением, которое вызывали сила и высокий мыслительный потенциал Блоха, и глубоким разочарованием в его литературной продукции. Таким разочарованием стал вышедший тогда «Томас Мюнцер»²¹⁶. Некоторые статьи Блоха, например, его рецензию на «Историю и классовое сознание» Георга Лукача, Бенямин мне хваливал, а вот выступления Блоха в «Вельтбюне»²¹⁷ приводили его в бешенство.

Следующие месяцы были заполнены стараниями Бенямина раздобыть произведения, адекватные духу «Ангелуса». Тогда я впервые изложил ему свои крити-

ческие взгляды на «Науку о еврействе» и на её функцию в еврейской истории; эти взгляды должны были прояснить проблематичный характер этих буржуазных хлопот вокруг такого небуржуазного феномена, как еврейство. Беньямин хотел, чтобы я привёл мои соображения в статье для журнала. Я написал эту статью через 22 года на иврите, и она стала одной из тех моих работ, которые оказали продолжительное действие. Её формулировки были настолько агрессивны, что я не смог решиться предложить её в первоначальном варианте читателям, не знающим иврита, опубликовав лишь сильно разбавленную, слишком компромиссную немецкую речь на эту тему; эта речь до сих пор меня раздражает.

Тогда же мне пришлось — в ответ на настоятельную просьбу Беньямина — провести экспертизу большой статьи Ранга об интерпретации стихотворения Гёте «Блаженное томление»²¹⁸; работа сама по себе была глубока и значительна, однако настолько заигрывалась в гностику, что я отсоветовал Беньямину печатать её в «Ангелусе». О продолжавшихся мероприятиях «университета Мури» свидетельствуют многочисленные замечания в его письмах. В ноябре 1921 года я получил следующее «распоряжение»:

«Мури,
покои ректора

Уважаемый господин коллега,
касательно Ваших многократных назойливых напоминаний о переводе причитающихся Вам *гонорарных денег* за прошлый семестр сообщаю Вам в третий раз, что Ваши лекции об ИЗОБРЕТЕНИИ ЛОБЗИКА,

а также Ваш семинар “РАБОТЫ С ЛОБЗИКОМ СОГЛАСНО РУКОВОДСТВУ” не были подтверждены документально. Тем не менее, все учащиеся, как прежде, горят желанием посетить Ваши курсы. Далее я имею радость сообщить Вам, что г-н stud bub Мартин выдержал последний экзамен и получил учёную степень Бубера²¹⁹. Искомое последним *venia lebendi*²²⁰ было получено. В течение года последний намеревается читать ежедневно с 7–8 часов утра: Мартин Бубер, “Рабиндранат Тагор” (с пояснениями экскурсовода).

Также единозловно²²¹ всем факультетом дано разрешение на гостевые лекции господина проф. Шелера. Последний будет вещать на тему: “Жизнь и произведения св. Иоанна Марии Фарины” (издано) [изобретатель одеколона]. Он же: “Упражнения для конклава” (для продвинутых²²²).

Для библиотеки было приобретено: Артур Кучер “Господство и служение”²²³. Любезно присланная Вами для картинной галереи фотография фройляйн Бурхардт с благодарностью возвращается Вам назад, так как там проводится ремонт.

Salve!²²⁴

Педель²²⁵

И. Каут

Ректор

Магнификус²²⁶».

Беньямин любил рассказывать анекдот, где речь шла о Германе Когене, главе Марбургской школы неокантианства. В Марбурге даже аптекари для получения диплома должны были сдать экзамен по философии, хотя и поверхностный. Однажды такой экзаменуемый

предстал перед Когеном, и тот с присущей ему выразительностью спросил: «Что Вы знаете о Платоне?». Кандидат никогда не слышал этого имени. — «А можете ли Вы рассказать мне что-нибудь об основных учениях Спинозы?» — Молчание. Коген уже в отчаянии: «Можете ли Вы сказать мне, кто был наиболее значительным философом XVIII века?». — Лицо аптекаря посветлело, но он замялся. Коген оживлённо подбадривал его. И кандидат, наконец, ответил: «Каут²²⁷, г-н тайный советник». Коген разрыдался.

В рождественские каникулы 1921 года мы оба находились в Берлине. У меня, однако, было мало времени на разговоры с Вальтером и Дорой, так как меня приковали к себе семейные дела — против моего брата Вернера был развёрнут политический процесс — и я диктовал свою диссертацию машинистке. Беньямин прислал мне тогда изобиловавшее намёками приглашение пожить у них, в форме «арамейского фрагмента» из «кимелий²²⁸ Bibl. Berol.²²⁹» — озаглавленного «О муже Гершоме, который жил среди дочерей Валаама²³⁰ на берегах Бубера». На обратной стороне Дора написала: «Приходи, доколе есть / Место для тебя и честь. / У Эрнста можешь жить, покуда / Не изгонит ангел тебя отсюда»²³¹.

В последующие месяцы, между ноябрём 1921-го и февралём 1922 года в Гейдельберге Беньямин написал работу об «Избирательном родстве», которую посвятил Юле Кон²³². Наряду с этим он пытался также завязать отношения в университетских кругах, чтобы прозондировать возможность габилитации, на которую у него

Berliner Verkehr:
Hardenbergstrasse - Kaiser-Wilhelm-Gedächtnis-Kirche.



Берлин, Шарлоттенбург. Почтовая открытка. 1927 г.

были виды — и участвовал в философско-социологических вечерах, которые проходили в доме Марианны Вебер. Здесь он читал — с полным провалом — доклад о лирике, который, вероятно, был написан как введение к запланированному изданию стихов Фрица Хейнле, и натолкнулся на смущённое непонимание. Но там у него понемногу установились дружеские отношения с Карлом Мангеймом, одним из самых одарённых учеников Макса Вебера. В Гейдельберге Беньямин однажды увидел Стефана Георге, тот прогуливался у Замковой горы, и его вид произвёл на Беньямина сильное впечатление. Связь Юлы Кон со школой Георге, в круг которого её ввёл Роберт Бёрингер в 1916 году, ещё долго поддерживала в нём живой интерес к фигуре Георге.

Я был занят работой над своей диссертацией и подготовкой к экзамену. В конце января 1922 года Вальтер писал мне из Берлина: «Думаю, по установившемуся взаимному молчанию мы в курсе дел друг друга, то есть знаем, что работы у обоих невпроворот». И о себе самом: «Я много работал, но при этом — то ли от реального шума, то ли от усилий по концентрации — снова заработал себе “шумовой психоз”, так что весь в его власти, и всякий голос, особенно “западные” [?], приводит меня в бешенство, и я подумываю, не работать ли *только* по ночам, что влечёт за собой другие неудобства. Есть ли, вообще, у других покой или нет?.. Между тем, готов анонс “Ангелуса”. Когда будет машинописная копия, ты её получишь. Собираюсь вскоре закончить критику “Избирательного сродства”. Об этой работе я говорю с уважением. Она забирает меня целиком. Если

ты не знаком с самой книгой, я просил бы тебя посмотреть её перед прочтением моей работы. — Недавно Хербертц написал настолько трогательное письмо (о бракоразводных и имущественных делах и о моём сочинении “К критике насилия”), что я распорядился назначить его *членом-корреспондентом* академии Мури. Напротив того, хлопоты некоторых господ о назначении депутата Шолема [моего брата] после происшедшего освобождения из заключения деканом бактериологического факультета наталкиваются на серьёзное сопротивление. — С завтрашнего дня я должен давать одной грюневальдской девчужке, живущей здесь неподалёку, уроки графологии — по 30 марок за штуку. Я купил в KDW [Западный универмаг] волшебную палочку. С её помощью я надеюсь ещё потянуть дело...

Болящий Вальтер в муках ждёт,

Привет и благодарность шлёт.

Гёте²³³».

Беньямин с Дорой жаловались, что я ещё не представил свои материалы для первого номера журнала, хотя он должен был выйти весной — чего не произошло из-за резко ускорившейся инфляции. Вальтер написал, что первый номер будет иметь тридцать пустых страниц, озаглавленных «Герхард Шолем: пустые обещания».

Работа об «Избирательном родстве» знаменовала собой начало нового этапа в духовной жизни Беньямина, поворот от систематически ориентированного мышления к комментирующему. Должно быть, это было в нём глубоко заложено, и я очень далёк от того, чтобы считать, будто разговоры о центральном значении

комментария в еврейской письменности, которые я вёл с ним в те годы — прежде всего в Швейцарии и после неё, — приняли больше чем косвенное участие в этом повороте. В те годы я почти ежедневно изучал какой-нибудь отрывок из Талмуда, особенно в Мюнхене, с раввином небольшой ортодоксальной синагоги д-ром Эрентроем, отличным талмудистом и прямо-таки древнееврейским мудрецом. Я имел обыкновение нахваливать Беньямину добродетели комментаторов, особенно представляющего для иудейской традиции вершину всех комментаторских достижений Раши (раввин Шломо Ицхаки из Вормса, одиннадцатый век), и часто говорил ему в шутку: тебе бы надо стать новым Раши. Продуктивность Вальтера всё больше смещалась в сторону комментирования значительных текстов, и в итоге его мышление смогло кристаллизироваться. Его дар умозрения был нацелен уже не на то, чтобы придумать нечто новое, а на то, чтобы, истолковывая и преображая, проникать в образцовое. Поначалу это был неосознанный акт поворота, и Беньямин продолжал выдвигать соображения, ориентированные, скорее, на систему. Лишь постепенно он осознал эту тенденцию, и в 1927 году я обнаружил её у Беньямина в полном расцвете.

В начале марта я сдал докторский экзамен, и оба мои главные учителя, семитолог Хоммель и философ Боймкер, сразу после этого предложили мне, если я принесу соответствующую работу, габилизироваться в Мюнхене по иудаике (что тогда в немецких университетах было новинкой). Не рассматривая это предло-

жение всерьёз, я смог разыграть эту перспективу перед родителями — чтобы окончить учёбу (сдав госэкзамен по математике) и подготовить свою эмиграцию в Израиль, — с бóльшим успехом, нежели Бенъямин. Весной 1922 года мы могли сравнить наше с Бенъямином положение в отношении габилитации — при совершенно разной ориентации. Оба мы стояли на распутье. Бенъямин по-прежнему намеревался сделать академическую карьеру, получив приват-доцентуру. Он имел чёткие амбиции и пытался добыть у родителей средства для их исполнения — что вызывало постоянные завихрения в их отношениях. Для меня же в решении уехать в Палестину, вступившем тогда в стадию реализации, присутствовал как существенный момент отказ от амбиций. Кто тогда уезжал, не мог и думать о карьере, и того, что я впоследствии сделаю её, предвидеть было невозможно. Еврейского университета в Иерусалиме ещё не было, и никто не верил, что в обозримом будущем он станет реальностью. Конечно, я опубликовал несколько статей на немецком, произведших кое-какое впечатление, и книгу, которую никто не читал²³⁴. Мне приходилось считаться с тем, что в области иудаики должны были существовать эксперты с гораздо более глубоким, чем у меня, образованием; я же принадлежал к первым единицам из своего поколения, обратившимся к таким занятиям совершенно независимо и без всякого намерения стать раввином. Полагаю, в этом решении присутствовал моральный элемент, способствовавший большому доверию Бенъямина, которое он оказывал мне ещё долго.

В апреле 1922 года я вернулся на год в Берлин, и следующие три месяца мы провели вместе. Вальтер и Дора, которые тогда очень мирно жили вместе, попросили меня устроить для них возможность участия в седере, домашнем празднике накануне песаха, который по иудейскому ритуалу проводится строго традиционно. Я попросил своего друга Моисея Маркса, брата жены Агнона, пригласить к себе их и моего брата Вернера, который тогда был самым молодым депутатом германского Рейхстага и вместе с большинством независимых социал-демократов перешёл к коммунистам. Разнородная компания, сплочённая древним ритуалом, была очень весёлой. Вальтер и Дора очень хорошо чувствовали себя в огромном кабинете, полном книг, и личность Моисея Маркса, сочетавшего в себе еврейскую сущность с прусской выправкой, очень их привлекала. Маркс разделял с Беньямином страсть к собиранию книг. То, что этот коммерсант и коллекционер, с таким усердием лелеявший древнееврейские сочинения и переплетавший их у лучшего переплётчика Берлина, не мог их ни читать, ни понимать, о чём я заранее предупредил Беньямина, придавало всей сцене прямо-таки шеербартовский характер. После этого Беньямин с Дорой ещё часто хаживали к Марксам. Летом 1922 года я познакомился у Вальтера и Доры с Лоттой Вольф, молодой студенткой-медицей, которая дружила с ними. Дора считала её своей близкой подругой. Она была малопривлекательной, мужеподобной, очень стройной, смышлёной и живой особой, на которую Беньямин, очевидно, произвёл большое впечатление. Лотта Вольф тогда живо интересовалась еврейскими

проблемами и, видимо, от Бенъямина узнала о моих исследованиях по иудаизму. Мы много раз беседовали об этом. В те годы Бенъямин намеренно подчёркивал своё особое сродство со всем еврейским. Когда он познакомился с Францем Хесселем, главным редактором издательства «Ровольт», Бенъямин и Лотта Вольф публиковали в недолговечном журнале Хесселя *Vers und Prosa* переводы из Бодлера. Портрет Бенъямина, который она впоследствии набросала на нескольких страницах своих воспоминаний «Внутренний и внешний мир» (1971)²³⁵, свидетельствует о её ясном взгляде и понимании, даже если многое в её мемуарах оказалось сдвинутым и искажённым. Это описание — единственный портрет Бенъямина периода до 1924 года, имевший до сих пор.

Отношения с Эрнстом Шёном, которого я ещё не раз заставлял у Вальтера с Дорой, и с Юлой Кон, к которой Вальтер напрасно сватался весь прошедший год, отчасти угасли, а отчасти отошли в область незримого. То, что Вальтер неизменно любил Юлу Кон, которую я в те годы встретил лишь раз, познакомившись с ней в конце лета 1921 года в Берлине по его инициативе, было для меня очевидно. Дора иногда говорила со мной на эту тему. Его прощальное письмо 1932 года и статья «Агесилай Сантандер», которые я опубликовал в книге «Вальтер Бенъямин и его ангел», ещё и десять лет спустя были признанием в любви. Сам же он в разговорах почти никогда к ней не возвращался.

Осенью 1922 года окончательно рухнули планы издавать журнал — от этих намерений издатель Вейсбах

отказался в октябре, — а также туманные перспективы на реабилитацию в Гейдельберге, если они вообще были. Зато дружеские отношения с Рангом развивались особенно интенсивно, начиная с 1921 года²³⁶. Смерть Вольфа Хейнле в начале 1923 года и кончина Ранга в конце 1924 года нанесли тяжёлые удары по Беньямину. Ранг, в котором Беньямин видел олицетворение истинного германства, выдающимся и благородным образом воплощал в себе свойства, противоположные беньяминовским. То была полярность, которая, видимо, и объясняла их взаимное влечение. Ранг был бурным и неукротимым, взрывным человеком. Нетерпеливый и требующий крайности даже в образе жизни, он, в конечном счёте, был христианином-гностиком. Бубера и Беньямина, с которыми он ощущал одинаково прочную связь, Ранг считал воплощениями подлинно еврейского духа, и ему было трудно понять ту чрезвычайную сдержанность, которая держала их на дистанции друг от друга. Растущая жёсткость в суждениях Беньямина о Бубере противостояла растущему восхищению Беньямина закалившимся в потрясениях, железным характером Ранга. Вальтер высоко ценил литературную лаву, остававшуюся после этих потрясений и взрывов, и находил — что удивительно, по ту сторону всех различий в религиозных и метафизических взглядах, — глубокое взаимопонимание с Рангом на высочайшем политическом уровне. Одобрение, которое Беньямин трогательно высказал в адрес политической работы Ранга «Барак немецких строителей. Слово к нам, немцам, о возможной справедливости по отношению к Бельгии и Франции, и о философии поли-

тики»²³⁷, позволяет оценить всю важность совершенно противоположного решения или хотя бы возможной перспективы для радикально большевистской политики, к которой он обратился год спустя.

В начале 1923 года начались хлопоты Бенямина о габилитации во Франкфурте, на сей раз по новой истории литературы Германии, в чём его с большим пылом поддерживал тамошний экстраординарный профессор, социолог Готфрид Соломон, пропагандируя его среди влиятельных ординарных профессоров. Я мог видеть начало этого процесса, так как проводил весение и летние месяцы по большей части вместе с Бенямином во Франкфурте. Вальтер знал, что осенью я решил эмигрировать из Германии и выбрать другое направление жизни, вернее, наконец-то осуществить давно выбранное. Сам он как раз в тот год, когда катастрофическое развитие инфляции и всеобщий крах межчеловеческих отношений обострили и для него перспективу эмиграции, относился к Палестине сдержанно. «Что касается Палестины, то в настоящее время у меня нет ни практической возможности, ни теоретической необходимости ехать туда», — писал Бенямин Рангу в ноябре, когда я был уже там [B. I. S. 311]. Его материальное существование в 1922-м и 1923 годах в значительной части обеспечивалось тем, что Дора находила работу в качестве журналистки и переводчицы с английского и на английский. Кому тогда (как Доре, хотя бы частично) платили иностранной валютой, мог удержаться на плаву вопреки стремительному падению марки.

Напоследок я хотел изучить каббалистические рукописи из большого собрания Франкфуртской городской библиотеки и приехал во Франкфурт на четыре месяца. Ежедневно я в течение часа изучал Талмуд, а потом в рамках программы «Свободного еврейского учебного дома» Розенцвейга читал в своё удовольствие с такими молодыми людьми, как Эрнст Симон, Нахум Глатцер и Эрих Фромм, тексты из книги Зогар²³⁸, Книгу Даниила и рассказы Агнона. Эрнст Симон, рассказывая мне о своём друге Фромме, который всё ещё придерживался ортодоксальной традиции отцов, процитировал стихотворение, которое называлось «Молитва маленького участника К. J. Ver» — сионистской организации студентов:

«Пусть я буду свят, как Фромм²³⁹,
И на небо мы пойдём»²⁴⁰.

В Институте социальных исследований Фромм с Беньямином впоследствии стали коллегами, тогда Фромм был уже одним из влиятельнейших приверженцев соединения психоанализа с марксизмом. Агнон в то время снимал жильё в Бад-Гомбурге²⁴¹ вместе с другими значительными еврейскими писателями, такими, как Ахад Ха'ам и Бялик. Я часто ездил туда и раз или два брал с собой Беньямина. Незадолго до моей эмиграции я нередко встречал у Агнона Фрица Штернберга, который впоследствии сблизился с Беньямином в кругу Брехта, обращённого Штернбергом в 1925 году в марксизм. Штернберг жил в Гомбурге и уже работал над своим первым *opus magnum*, «Империализмом» (1926)²⁴². От Бубера и сионистских «народных социалистов», среди которых Штернберг занимал ведущее положение в 1918—

1922 годах, он отпал незадолго до наших встреч и на протяжении ещё трёх-четырёх лет искал марксистский путь в сионизме, в организации «Поалей Цион»²⁴³. Он считался одним из самых способных умов среди представителей молодого поколения сионистов. Штернберг был столь же большим почитателем Агнона, как и я сам, и принял живое участие в моих планах на будущее, связанных с Палестиной, о социалистическом строительстве которой он так много писал. Иногда я сразу после встречи с Бенъямином приходил к Аггону, где сидели Штернберг и его супруга Женя. Но мне тогда и в голову не могло прийти, что несколько лет спустя Бенъямин, не проявлявший раньше ни малейшего интереса к работам Штернберга, сойдётся с ним в радикально изменившихся обстоятельствах и Штернберг станет одним из его марксистских менторов. Впоследствии я ни разу не встречался со Штернбергом, ничего о нём не знал и в 1938 году был буквально ошарашен, когда Бенъямин в Париже на мой вопрос об отношении круга Брехта и Института социальных исследований к коммунистической партии упомянул *en passant*²⁴⁴ и Штернберга (который не желал иметь ничего общего с КПП). Я удивлённо спросил: «Ты имеешь в виду Фрица Штернберга, автора “Империализма”?»». — «Конечно», — ответил он. — «Так ты с ним знаком?» — «Ещё бы, — кивнул он, — через Брехта». — «Ты мог бы завести это знакомство и несколькими годами раньше, у другого великого писателя»²⁴⁵.

Как-то Бенъямин взял меня с собой к Зигфриду Кракауэру из «Франкфуртер цайтунг»²⁴⁶, который лежал в больнице по какой-то не очень серьёзной причине,

и у нас завязался яростный спор, во время которого Кракауэр, высоко оценивая Беньямина, высказывал отчётливые оговорки в отношении его «онтологии». Все мы отличались острым умом. И вот, много лет спустя, Адорно рассказал мне, что тогда, будучи юным студентом, он присутствовал у Кракауэра и впервые меня увидел.

Бездна, на краю которой Германия стояла в 1923 году, и мера безнадёжности, наполнявшая Беньямина при виде положения страны, выразилась сполна в прощальном подарке, который он передал мне в Берлине незадолго до моего отъезда в виде мелко исписанного свитка без названия; а назвать его следовало, как он мне сказал, «Описательный анализ падения Германии». В слегка переработанной форме этот текст фигурирует под названием «Путешествие по немецкой инфляции» в вышедшей спустя четыре года книге «Улица с односторонним движением»²⁴⁷. Свиток ещё содержал в себе непосредственный ужас от пережитого настоящего. То была первая работа Беньямина об актуальной ситуации — эмигранту «на счастливый отъезд» — как было написано в посвящении мне. Было трудно понять, что может удерживать в Германии человека, написавшего это. Но он хотел — о чём свидетельствовала его франкфуртская затея — исчерпать до конца возможность академической карьеры, которая, вероятно, могла дать материальную опору его духу. Когда мы прощались, Беньямин проявлял в этом отношении уверенность. Он ещё не знал, что «ум не поддаётся габилитации», если цитировать жестоко-наглую фразу о нём Эриха Ротхакера.



Обложка книги В. Бенямина «Улица с односторонним движением»
(Ernst Rowohlt Verlag, 1928)

ДОВЕРИЕ НА РАССТОЯНИИ (1924–1926)

Годы наших отношений от моего отъезда до кончины Бенъямина задокументированы в подробных письмах, касающихся его работы и некоторых областей нашей жизни, большие куски из них доступны в сборнике «Письма». Для них характерна основанная на доверии безоглядная открытость, лишь изредка недостаточная. Я поселился в Иерусалиме, женился и нашёл работу в еврейской Национальной библиотеке. И был далёк от сферы, в которой протекала жизнь Бенъямина. Я не был вовлечён в её перипетии, и это способствовало тому, что передо мной он раскрывал душу, как, пожалуй, ни перед кем другим. Лишь отношения с женщинами почти целиком выносились за скобки его сообщений, хотя иной раз я мог догадаться, что стоит за его сухой полуфразой, и позднее слышал об этом от кого-нибудь из его подруг. В периоды больших эмоциональных или рабочих нагрузок он мог не писать месяцами, в другое время его письма следовали одно за другим, как, например, в то полугодие 1924-го, которое он — после восстановления немецкой валюты — провёл в Италии. О такой поездке, которая сняла бы с него груз невыносимой обстановки в Германии, он думал всю осень и зиму, этим полны его письма к Рангу.

Осенью тяжело заболел отец Бенъямина, и ему ампутировали правую ногу. Отношения с Дорой тоже становились порой тяжёлыми, и Бенъямин подолгу жил в съёмной комнате.

Неожиданно появились шансы на реабилитацию во Франкфурте, и там ожидали предложенную им работу о драме²⁴⁸ немецкого барокко. В его письмах отражается преображение, которое произвела эта работа в его уме. Два года, ушедшие на её написание, — одни из самых динамичных в жизни Бенъямина. Вскоре после моей эмиграции вышел сборник его переводов из Бодлера, предисловие к которому — «Задача переводчика» — венчает собой его откровенно ориентированный на теологию период в философии языка. Именно этим страницам он придавал особенную значимость и видел в них нечто вроде символа веры — содержащего все ингредиенты, из-за которых работа слывется непонятной. Полное молчание, которым были встречены эти страницы, стало его первым разочарованием на литературном уровне. Единственным исключением было смешное, ничего не говорящее выступление Стефана Цвейга, на которое он пожаловался мне. В письме от 13 июня 1924 года он писал:

«...на днях меня постигло ужасное огорчение. Господин [Зигфрид] Кракауэр из “Франкфуртер цайтунг” — ты его ещё узнаешь — несколько месяцев назад обещал, что какой-то его друг напишет одобрительную рецензию на Бодлера, и я, наконец-то, выхлопотал один экземпляр у Вейсбаха. Тут у З. К., чьи уста открываются для обещаний с бóльшей лёгкостью, нежели столбцы журнала — для их ис-

полнения, из-за какой-то редакционной подтасовки книгу похищают буквально за его спиной и передают Стефану Цвейгу. Сделанные этим автором переводы из Бодлера уже много лет спрятаны в шкафу для ядов моей библиотеки. Я всё предвижу; мои протесты во “Франкфуртер цайтунг” результата не приносят; ничего не поделаешь. И вот — когда я уже надеялся на то, что дело уйдёт в песок, — выходит в свет рецензия — конечно, в воскресное утро, когда весь Франкфурт с большой менухой [покоем] может ею насладиться — нате вам! С хорошо сфабрикованной объективностью, которая исключает малейший намёк на связи у всякого неосведомлённого. Хуже она ещё могла бы быть, но вреднее — уже нет. На людей, которые знают книгу, рецензия не очень и подействует, так как она слишком поверхностна и коротка. Предисловие не то чтобы игнорируется, но лишь упоминается в скудном замечании (“трудности которого, как показывает предисловие, он осознавал”) (ну и стиль!). С горя я, получив листок, куда-то его засунул и теперь не могу найти».

Когда Беньямин писал эти строки, он уже два месяца был на Капри, с Эрнстом Блохом, Эрихом и Люси Гуткиндами и с другими, кто, подобно ему, не только искал освобождения в ландшафте и атмосфере итальянской жизни, но и стремился использовать преимущества необыкновенно дешёвой жизни на Капри.

Было ли случайностью или больше, чем случайностью, то, что с Вальтером уже в первый год после нашего расставания произошла метаморфоза, которая дала

толчок к «взгляду на актуальность радикального коммунизма» как к высшей степени легитимной возможности политической жизни? Его письма с Капри были пронизаны таинственными намёками на Асю Лацис, ни разу не названную по имени, которую он представлял мне как «русскую революционерку из Риги, одну из наиболее выдающихся женщин, с какими я был знаком», или как «выдающуюся коммунистку, работающую в партии со времён революции в Думе». О том, что он в неё влюблён, Бенъямин ни разу не обмолвился, но мне хватило бы пальцев одной руки, чтобы вычислить это. Меня озадачили эти первые сообщения о «политической практике коммунизма», которая стала ему теперь «в ином свете, чем прежде: как обязывающая позиция». Мне незачем было тогда обсуждать с ним теоретическую проблему коммунизма, так как он ещё долго отмежёвывался от марксистской теории, а цели коммунизма объявлял бессмысленными, но вот о практике коммунизма я знал больше, чем он, и не только от моего брата, с которым я перед своим отъездом вёл о ней долгие и ожесточённые разговоры — но также и из личного опыта с этой практикой, который я приобрёл в Палестине. Я не утаивал от Бенъямина своих сомнений и опасений, а также писал ему, когда он мне хвалил большую книгу Лукача*, на которую его навёл Блох, что как раз эту работу теоретические глашатаи русского коммунизма подвергли резкой критике, заклеив как рецидив буржуазного идеализма. На Капри он ещё даже не прочёл эту книгу Лукача, но

* «История и классовое сознание».



Эша Бурхардт и Гершом Шолем. Иерусалим, март 1924 г.
Национальная библиотека Израиля, Иерусалим

писал, что изучит её, когда сможет, «и я бы ошибся, если бы основы моего нигилизма не проявились во враждебном критическом разборе гегелевских понятий и утверждений диалектики против коммунизма» [B. I. S. 355]. С моей точки зрения, коммунизм в его марксистской форме представляет собой диаметрально противоположную позицию по отношению к анархическим убеждениям, в которых мы с Бенямином до того времени находили согласие на политическом уровне.

Итак, у Бенямина начался внутренний раскол, поначалу остающийся почти невидимым и в течение следующих пяти-шести лет проявляющийся только «на полях» его произведений, но впоследствии, как раз при усвоении теоретических мыслей из марксистского наследия, эта раздвоенность придавала его работам тот ореол двусмысленности, который я раскритиковал годы спустя в одном принципиальном письме. Борьба между его метафизическим образом мысли и марксистским, в который Бенямин пытался трансформировать первый, стала определять его духовную жизнь лишь в 1929 году и выражалась весьма зримо. Однако об этом потом. Книга о барочной драме, в период созревания которой новая коммунистическая перспектива проявлялась лишь как некий запоздалый момент, не содержит ни малейших связей или хотя бы даже намёков на коммунистическую точку зрения. Философский фон, которым Бенямин наделил эту книгу, и развитые в ней тезисы о диалектике феномена «барочная драма» остаются неразрывно связанными с метафизической областью, откуда они взяты, в том числе и в анализе.

О марксистских категориях не заходит и речи. При этом книга была завершена в тот период, когда Беньямин всерьёз поставил перед собой вопрос, должен ли он вступать в Коммунистическую партию Германии, вопрос, на который он незадолго до отъезда из Москвы в начале 1927 года, после взвешивания всех «за» и «против», ответил окончательным «нет». Но двойственность его мышления проявилась уже в эту первую эпоху его встречи с коммунистическими мыслями, а впоследствии она всё отчётливее определяла его письмо до самого конца. Отсылки к экспериментальному, эвристическому характеру такого обращения с миром мыслей или, как ему казалось, с практикой коммунизма то и дело проявлялись — после его возвращения в Берлин и до позднейшего периода — как в его письмах ко мне, так и в наших разговорах. Это был отнюдь не тактический приём, с помощью которого Беньямин спасался от принципиальных возражений, но — что явствует из всех его писаний до последних дней — это как раз соответствовало его подлинным убеждениям, которые никогда не позволяли ему подвести черту под прежним мышлением и, обретя новую точку опоры, начать новое мышление. Скорее здесь выступает зачастую загадочное соположение двух способов мышления — метафизически-теологического и материалистического — или же они скрещиваются, вкладываются друг в друга. И это скрещивание, которое по своей природе не может привести к равновесию, как раз и придавало произведениям Беньямина, отражающим такую позицию, их особую значимость и глубинный блеск — что столь впечатляюще выделяется на фоне большинства про-

дуктов материалистического образа мыслей и материалистического рассмотрения литературы, отличающихся необычайной скукой. Новый взгляд вызвал в его мыслях брожение, для которого он ещё долго не мог найти адекватного выражения, что заставило его перенести письменные объяснения на более поздний срок. Это началось с (напечатанного) письма от 22 декабря 1924 года, после которого я потребовал от него точнее определить моменты, вызвавшие его обращение в новую веру на Капри. Он говорил в этом письме лишь о «коммунистических сигналах», которые, по его витиеватому выражению, служат «симптомами переворота, который пробудил во мне волю не маскировать — как прежде — актуальные и политические моменты моих мыслей старофранконским языком, а развивать их — на пробу — до крайности». Насколько сильно подчёркиваются здесь слова «на пробу», доказывает продолжение, в котором он сводит возобновление своих экзегетических работ к защите «подлинного от экспрессионистских искажений», т. е. приписывает им охранительный и консервативный характер даже в их пробивающейся метафизической диалектике, так как ему заранее отказано «в соответствующей мне позиции комментатора пробиться к текстам совершенно иного значения и тотальности». В контексте наших разговоров и дискуссий за предыдущие шесть лет это примечание однозначно касалось древних текстов еврейской письменности, комментирование которых представляло собой для него своего рода утопическую точку, в которой находился весь узел его идей. Между тем, он считал, что его рассуждения на политическом уровне,

который здесь следует отличать от теологического, в присущей ему именно нематериалистической мыслительной позиции ошеломляющим образом «в разных местах возобновили контакт с крайностями большевистской теории» [B. I. S. 368].

Весьма примечательным для меня остаётся то, что около 1930 года Беньямин сказал по меньшей мере двум людям — Максу Рихнеру и Теодору Адорно, — что введение в книгу о барочной драме может понять лишь тот, кто знаком с каббалой — что делало меня, по сути, виртуально единственным читателем. Каждый из двух упомянутых слышал это его высказывание независимо от другого и спрашивал меня лет двадцать спустя, так ли это. Но ко мне самому, который, так сказать, несёт ответственность за такое сообщение, он напрямую по этому поводу не обращался — разве что имплицитно в своём посвящении на моём экземпляре книги: «Жертвуете Герхарду Шолему в *ultima Thule*²⁴⁹ его каббалистической библиотеки» — как будто эта работа действительно могла принадлежать каббалистической библиотеке. Вероятно, он считал, что соприкосновение с мыслями каббалистической теории языка, пусть даже отдалённое, должно быть для меня очевидным и не требует обсуждения — что в известном отношении верно, — или он позволил себе играть со мной в прятки? Или он поддался искушению похвастать, или хотел упрёк в непонятливости, на который мало какие страницы в его писании могли намекнуть лучше, чем это введение, зашифровать ссылкой на ещё более непонятное, в качестве которого должна была явиться каббала? Не знаю. Но это напоминает мне об одном

моём высказывании — тоже из тридцатых годов, — которое любили цитировать мои ученики. Якобы я сказал им: чтобы понять каббалу, в наши дни сначала надо прочитать Франца Кафку, особенно «Процесс».

Как бы там ни было, письма Бенямина в те годы — и не только ко мне — ещё полностью выдержаны в прежнем духе. «Поворот», произошедший с ним, представлял собой, прежде всего, именно виртуальный сдвиг, хотя едва ли проявлялся в реальных актах мысли.

Не знаю, сопровождала ли его Ася Лацис осенью 1924 года в Германию, но позднее осенью 1925 года он съездил к ней на какое-то время в Ригу. На этот же 1925 год пришлось важные события жизни Бенямина: завершение его габилитационной диссертации и окончательный крах его академических планов, который вместе с тем отвечал глубокому внутреннему сопротивлению намечавшейся карьере, которое я уже диагностировал в одном из более ранних писем к нему; но и возобновление его публицистической деятельности, поначалу во «Франкфуртер цайтунг» и в «Квершнитте»²⁵⁰, однако, прежде всего, в недавно основанном «Литературном мире», где — несмотря на все вмешательства — Вилли Хаас предоставил ему полную свободу действий. Бенямин регулярно присылал мне большие и малые статьи и рецензии, так что я мог бы представить почти полный архив его публикаций. С этим сочеталось более тесное сотрудничество с Эрнстом Ровольтом²⁵¹, который, однако, сдержал лишь часть больших обещаний, данных Бенямину, хотя и признавал за ним необычайное дарование и новый тон в критическом письме.

Кроме того, в том году стали теснее личные отношения Беньямина с двумя людьми, а именно — он вёл переписку с Гуго фон Гофмансталем, с дипломатичной тщательностью и с большим почтением к этому человеку; а также с Францем Хесселем²⁵², совместно с которым Беньямин участвовал в грандиозном проекте адекватного немецкого перевода романной эпопеи Пруста. Гофмансталь, будучи высочайшего мнения о Беньямине, о чём свидетельствуют его письма, был единственным писателем высокого ранга и авторитета, который энергично за него вступался; Гофмансталь прислал ему предмет своих постоянных забот, первый вариант «Башни»²⁵³, на которую Беньямин откликнулся подробной рецензией. Он писал мне, проясняя дипломатический момент в этих отношениях: «Самой вещи я пока не прочёл. Своё частное суждение я вынес заранее; противоположное для публикации — тоже». Беньямин высоко ценил Франца Хесселя — как человека даже выше, чем как писателя; его «Прогулки по Берлину»²⁵⁴ побудили Беньямина писать в том же духе. Хессель, в молодости в Мюнхене стоявший близко к кругу Георге, Клагеса и Шулера, принадлежал к числу авторов «Швабингского наблюдателя»²⁵⁵, в котором этот круг пародийно высмеивался; он сообщил Беньямину о тех годах в Мюнхене (1903–1904) много частных подробностей и разоблачений, которых Беньямин не мог бы получить ни от кого другого. Впоследствии в Париже Беньямин рассказывал мне кое-что из этого.

В 1925 году Юла Кон вышла замуж за химика Фрица Радта, брата его первой возлюбленной Греты Радт, и Беньямин ещё долго сохранял связь с обоими, кото-

рые тогда жили в Берлине. С Фрицем Радтом он один или два раза ездил в Цоппот²⁵⁶, где предавался в тамошнем казино пороку страсти к игре, временами на него находившей. В одной из таких поездок Бенъямин проиграл всю свою наличность до последнего пфеннига, и ему пришлось занимать деньги на обратную дорогу в Берлин.

Врождённая страсть к путешествиям, внутреннее беспокойство и неудовлетворённость тем, как сложилась его жизнь в качестве *homme de lettres*²⁵⁷, вкупе объясняли множество сменяющих друг друга адресов и мест, откуда мне в те годы приходили его письма и открытки. При первой же возможности он пускался в путь. Этому способствовала дистанция между ним и Дорой, а может, и кончина его отца в июле 1926 года. Но Париж, начиная с 1926 года, занял в его сердце прочное место; там он проводил большую часть года, работая над переводом Пруста. Бенъямин чувствовал, что этот город ведёт с ним живейший диалог, и возвращался туда, как только представлялась возможность. Но работа часто требовала его длительного присутствия в Берлине, и письма оттуда несли на себе печать беспокойства, тогда как письма из Парижа — гораздо непринуждённое и веселее. Он прочёл тогда «Историю и классовое сознание» Лукача и под воздействием этой книги — ещё и обязательную для всех интеллектуалов марксистского колорита главу о товарном фетишизме из первого тома «Капитала», а также кое-что из коммунистического анализа текущей политики — например, работу Троцкого «Куда идёт Англия?»²⁵⁸. Он ис-

кал путей в Россию, куда его влекло, во-первых, из-за происходящих там событий, а во-вторых — из-за его решения быть ближе к Асе Лацис. Его замысел осуществился после преодоления больших бюрократических барьеров, из-за которых он едва не отступил от своих планов. Он пробыл в Москве с 6 декабря 1926 года до 1 февраля 1927 года, запасшись авансами за обещанные работы, среди которых — заказанный Бубером для журнала «Креатур»²⁵⁹ большой очерк об этой поездке. Сохранился подробный дневник, в котором странно перемешаны его личные, развивавшиеся отнюдь не по его сценарию отношения с Асей Лацис, его встречи с её знакомыми и различными функционерами от культуры, а также подробные описания облика города и советской жизни для запланированного очерка; дневник очень точно отражает его настроение, в котором он пришёл к решению не вступать в коммунистическую партию. Его письма из Москвы были по понятным причинам скудными и сдержанными; порой на ужасной бумаге, такая могла быть только в Москве, и — против его обыкновения — иногда карандашом.

Когда я читаю его письма, написанные в те три года между его поездкой на Капри и нашим общим пребыванием в Париже в августе 1927 года, меня изумляет, как мало сказывается на личном и доверительном уровне вышеописанный новый поворот. У нас было заведено рекомендовать друг другу книги и статьи, которые, как нам казалось, попадали в сферу интересов адресата. Но его письма так же скудны на такого рода рекомендации, как скудны на релевантные названия списки прочитанных им до конца книг, которые он тщательно



Ася Лацис. 1924 г. Архив Академии искусств, Берлин

составлял. Если поездкой в Москву он стремился завязать и литературные связи с Россией, то успех был незначительным, а разочарования, вынесенные из этой области, не помогли разрушению метафизического строя его мысли. Вдохновение, которое давала ему Ася Лацис, так и осталось нереализованным²⁶⁰.

Между тем моё положение в Иерусалиме неожиданно изменилось. Не прошло и года после моего приезда в Палестину, как благодаря спонтанным пожертвованиям нескольких богатых сторонников основания Еврейского университета в Иерусалиме были изысканы средства, сделавшие возможным образование «института еврейских исследований» как ядра философского факультета. Это был важный шаг на пути к центру, свободному от фиксированной теологической ориентации, но посвящённому живым историко-критическим исследованиям иудаизма; этот центр мог пробудить большие ожидания, связанные с обновлением науки о еврействе, состояние которой вызывало у меня, как уже говорилось, немало опасений. При этом поначалу со стороны учёного совета речь шла только об исследовательском институте, которому лишь постепенно предстояло развиться в учебное заведение, где будут выдаваться формальные свидетельства об образовании и — *horribile dictu*²⁶¹ — дипломы. А надо знать, что в двадцатые годы — когда речь шла о значительном перепрофилировании специальностей в связи с сионистскими предметами, поскольку среди евреев был многочисленный «академический пролетариат» — звания и дипломы встречали слегка презрительное отно-



Гершом Шолем и Эша Бурхардт. Иерусалим, Суккот, 1926 г.
Национальная библиотека Израиля, Иерусалим

шение. Не буду здесь говорить о драматизме усилий по основанию такого факультета иудаики. Но спустя несколько месяцев после торжественного открытия упомянутого университета (начало апреля 1925 года) меня назначили доцентом по неисследованной области еврейской мистики, и на двадцать восьмом году жизни я смог направить все свои силы на изучение того, что мой отец, умерший незадолго перед тем, с горечью называл «бесхлебным делом».

Итак, начало моей университетской карьеры, которая открылась столь неожиданно, совпало с крахом университетской карьеры Беньямина, которой он упорно добивался шесть лет подряд. Мне просто больше повезло, так как едва ли будет преувеличением сказать, что учёный совет, принимая меня на работу, понимал в моих сочинениях так же мало, как и те люди, что отказали в должности Беньямину. Готфрид Соломон, который неутомимо хлопотал за Беньямина, рассказывал мне впоследствии, что Ганс Корнелиус и Франц Шульц, за которыми было последнее слово при реабилитации Беньямина, заявили ему, что ничего не поняли в его книге, хотя в их отношении к Беньямину вряд ли можно было усмотреть злую волю.

ПАРИЖ (1927)

Когда мы снова встретились в 1927 году в Париже, это произошло при тех обстоятельствах, которые повернули наши жизни в противоположные стороны. Мне дали полугодовой отпуск для изучения каббалистических рукописей в Англии и Франции, и я с большой надеждой ждал встречи с Бенъямином. Ведь в жизни молодых людей четыре года — это много. На моём пути в Лондон мы провели вместе последние дни апреля и обменялись впечатлениями тех лет. Вальтер сказал, что осел бы в Париже, так как атмосфера этого города ему особенно по душе; но в его обстоятельствах это почти исключено. Ни в один журнал или издательство его не взяли бы «литературным корреспондентом» по французским делам. Иностранцу вообще трудно войти с французом в близкий контакт. Конечно, писатели готовы дать интервью для «Литературного мира» или аналогичных изданий, или побеседовать на литературные темы и даже о планах и делах какого-нибудь иностранного литератора — но надолго этого не хватит, и тебе скоро дадут это почувствовать. Не знаю, верно ли подобное суждение в целом или отражает лишь конкретный личный опыт — но он часто к нему возвращался. В качестве единственного исключения

он называл мне Марселя Бриона, высоко ценимого им редактора *Cahiers du Sud*²⁶², которого он как-то вечером пригласил вместе со мной и который был явно очарован личностью Беньямина. В один из вечеров мы пошли в китайский ресторан; Беньямин был его завсегдаем и расточал похвалы в его адрес.

Я повёл его к Роберту Эйслеру, удивительному персонажу в учёном мире, с которым я уже сводил его однажды в Мюнхене, где часто с ним общался. Эйслер был одним из наиболее изобретательных и — если судить по запасу цитат, которые он приводил в своих книгах, не сверяясь с источником, — одним из самых образованных историков религии. На все великие нерешённые проблемы он имел наготове гениально-неправильные ответы, обладал необузданным честолюбием и неутомимой предприимчивостью, но и неустойчивым характером. Беньямин всегда интересовался Эйслером, и я часто сообщал о его напичканных цитатами прыжках в научный авантюризм; его затеи в разное время производили много шума, но оставались безрезультатными. Например, по ходатайству великого английского филолога Гилберта Мюррея Эйслер был назначен руководителем Секции интеллектуального сотрудничества Лиги Наций²⁶³ с резиденцией в Париже, не консультируясь перед этим с правительством Австрии, чьим гражданином он был. Когда я приехал в Париж, Беньямин рассказал мне о скандале, вызванном этим назначением, а именно: австрийское правительство заявило официальный протест против назначения Эйслера, а тот уже успел обзавестись гигантской квартирой на рю де Лилль²⁶⁴ ввиду своих будущих представитель-

ских обязанностей. Визит, который мы нанесли Эйсле-ру в его осиротевших апартаментах — «официальные лица» его уже избегали, — опечалил нас, тогда как сам он бодро говорил о своих великих открытиях: личность и роль Иисуса как зачинщика политического бунта, — о чём как раз читал *cours libre*²⁶⁵ в Сорбонне. В ту пору у него возникли идеи, которые он потом изложил в объёмистом труде «Jesus Basileus ou Basileusas²⁶⁶». Это была фантастическая сцена, и Бенъямин, обладавший особым чутьём к таким ситуациям, попал в свою стихию. Мы сходили и на лекцию из этого курса, который посещали ученики и друзья Соломона Рейнака. В высшей степени нехристианская гипотеза, в которой он остроумно и самоуверенно применял теории Каутского о происхождении христианства и подкреплял их неожиданными толкованиями столь же неожиданных источников, встречала одобрение «вольнодумцев» из *Cercle Ernest Renan*²⁶⁷. Но нам было ясно, что мы являемся свидетелями печальных перипетий в жизни незаурядного человека.

Вскоре после моего отъезда в середине мая Бенъямина посетила Дора, и он несколько дней водил её по городу. Дора написала мне об этом открытку; в ней она пыталась подражать бисерному почерку Вальтера, который сам он называл «важной частью новой каббалы». Потом он поехал с ней на Ривьеру и на несколько дней — в Монте-Карло, где выиграл столько денег, что смог на них позволить себе недельную поездку на Корсику. В июле он написал мне по возвращении в Париж: «Из маленькой открытки ты у зришь, что я был на Корсике. Эта поездка была чудесной и благотворной

для меня. Плохо в ней то, что у меня там пропала стопка незаменимых рукописей, *en l'espace*²⁶⁸ многолетних набросков к “Политике”, оригинал “Улицы с односторонним движением”, в котором, правда, не так много того, что не осталось в копиях, и всякая всячина. Как я тебе, вероятно, писал, для возвращения с Корсики в Антиб²⁶⁹ я воспользовался самолётом и тем самым оказался в курсе человеческих средств передвижения. Меня радует плодотворность твоего английского отпуска, но меньше — твоё запоздалое прибытие сюда. Я сейчас в полном порядке и через две недели останусь в полном уединении. Пока что я направил свои окрепшие силы на давно обещанный донос на сочинения Келлера²⁷⁰; льщу себя надеждой, что мне удастся пристроить сюда то, что уже давно околачивается по закоулкам моего мозга. Возможно, “Литературный мир” сочтёт его слишком длинным — во всяком случае, я учитываю такой вариант, — и тогда опять настанет публицистическая нужда».

В середине августа я снова приехал в Париж, и мы провели вместе несколько недель, до середины или конца сентября. Перед моим приездом, с 12-го по 16 августа, он совершил небольшую поездку в Орлеан, Блуа и Тур, по замкам Луары, договорившись поехать вместе с одной парижской знакомой. Познакомился он с ней недели за четыре до поездки и влюбился в неё, что в те годы случалось с ним довольно легко и часто. Она, однако, его подвела, и он поехал один, «хотя мука одиночества, особо настигающая меня в путешествиях», вызывала его меланхолию. Он колебался, ехать



Париж. 1929 г.

ли вообще, но — как писал он — «если бы сегодня не приезжал Шолем, я бы, наверное, не сделал этого. Но я сбежал. Я бы не вынес его порой хвастливой самоуверенности». Беньямин не видел меня четыре года и не мог знать, что после опыта в израильской земле, глубоко занимавшего меня, от «самоуверенности» у меня мало что осталось. Когда мы встретились 17 августа, Беньямин был сама любезность по отношению к нам с женой. Моя жена во время поездки к себе на родину заехала из Гамбурга на неделю в Париж, и мы несколько раз встречались втроём. Мы как-то посетили его и в убогом *Hôtel du Midi*²⁷¹ на авеню дю Парк Монсури, 4, где он занимал столь же убогую, крохотную и плохо обставленную комнату, в которой помещалась только железная кровать и кое-какие пожитки. Чаще всего мы встречались в кафе на бульваре Монпарнас — в «Доме» и в «Куполе»²⁷². С утра до начала вечера я обычно просиживал над рукописями в Национальной библиотеке; но вечера и выходные мы, как правило, проводили вместе. Ходили в кино, так как он восхищался актёром Адольфом Менжу и смотрел без разбора любой фильм, где тот снимался. Дважды он таскал меня и в «Гран-Гиньоль»²⁷³, на хоррор-шоу, которые дополняли его любовь к детективным романам.

Это время прошло под нежданно счастливой звездой — по крайней мере, для меня. Конечно, за эти годы кое-что изменилось и в нашем отношении к миру. Когда мы с Беньямином расстались в 1923 году, я унёс с собой образ человека, движимого прямолинейным импульсом к построению собственного духовного мира, неукоснительно следующего своему гению, зна-

ющего, чего он хочет — каковы бы ни были осложнения его внешней жизни. Я же шёл навстречу миру, где всё ещё было неупорядоченным и спутанным и где я, в тяжёлой внутренней борьбе, искал стабильное место, откуда мои старания понять еврейство могли бы сложиться в целое. Когда мы встретились вновь, я увидел человека, который находился в процессе интенсивного брожения; человека, чьё замкнутое мировоззрение взорвалось и распалось; человека в прорыве — к новым берегам, определить которые он сам пока не мог. Изначальное влечение к метафизическому мировоззрению в нём оставалось, но подверглось диалектическому распаду. Революция, возникшая на горизонте, ещё не могла преобразовать эту диалектику в конкретные формы. Марксистские вокабулы в нескольких статьях из «Улицы с односторонним движением», которые он читал мне вслух, производили на меня впечатление подземного гула.

Вальтер был необычайно раскован, а его ум — открыт для подступающих импульсов. В отличие от него, я должен был казаться более уверенным, так как при погружении в иудейские штудии меня вёл чётко работающий компас. Вместе с тем его привлекало то, что я рассказывал о своих исследованиях и о жизненном опыте в новой стране. И эти дни в Париже были периодом большой открытости и плодотворного интереса друг к другу.

В качестве приветственного подарка Бенъямин вручил мне, как старому почитателю и страстному читателю Анатоля Франса, вступительную речь Поля Валери, занявшего место покойного Франса во Французской ака-

демии. Беньямин объяснил мне, что новоизбранный «бессмертный» произнёс в своей вступительной речи похвальное слово предшественнику — однако Валери, который Анатоля Франса презирал, прибёг к сенсационному приёму, ни разу во всей речи не упомянув имени Франса. При этом Вальтер, глубоко почитая Валери как мыслителя, поэта и прозаика, дал мне почитать особо ценимый им *Soirée avec Monsieur Teste*²⁷⁴, чтобы познакомить меня с этим явлением. Его восхищению Валери противостоял, с другой стороны, жгучий интерес к сюрреалистам, в которых было многое из того, что в последние четыре года прорвалось и в нём самом. То, к чему он стремился проникнуть путём духовной дисциплины, было мыслимо для него и в противоположных формах безграничной отдачи вспышкам бессознательного и возбуждало его собственное воображение. Необузданность сюрреализма притягивала его гораздо больше, нежели намеренная «сделанность» литературного экспрессионизма, в котором он распознавал моменты нечестности и блефа. Сюрреализм был для Беньямина чем-то вроде первого мостика к более позитивной оценке психоанализа, однако он не строил иллюзий относительно слабых мест в методах обеих школ. Он читал журналы, где Арагон и Бретон возвещали такое, что сходилось с его собственным глубинным опытом. Происходило нечто схожее с его встречей с «экстремальным коммунизмом», как он это называл. Он не был восторженным человеком, но экстаз революционной утопии и сюрреалистического погружения в бессознательное был для него чем-то вроде ключа к открытию собственного мира, для которого

он искал совершенно иные, строгие и дисциплинированные формы выражения. *Le paysan de Paris* (1926) Луи Арагона²⁷⁵ дал Беньямину решающий толчок к запланированной работе о парижских пассажах²⁷⁶, первые наброски которой он читал мне в эти недели. Он намеревался написать эссе примерно в пятьдесят печатных страниц, в котором — пока ещё по ту сторону диалектического материализма — стремился спроецировать свою историко-философскую физиогномику Парижа на такую плоскость, которая должна была отражать и его собственный метафизический опыт или то, что находилось в вышеописанном процессе распада этого опыта. Беньямин тогда собирался завершить работу в ближайшие месяцы. Мы не подозревали, что с проектом о пассажах вступит в трудную и в итоге неразрешимую конкуренцию другой, всплывавший в наших разговорах. Этим вторым проектом было возобновление его древнееврейских штудий, которыми он хотел помочь своим метафизическим интенциям найти легитимное выражение. Он сказал, что по завершении работы о пассажах для него больше не будет причины откладывать изучение древнееврейского в долгий ящик.

Я поднимал в нашей переписке затронутый нами вопрос о коммунизме и о столкновении Беньямина с марксистскими идеями и методами, и меня удивило, что он уклонился от дискуссии и не стал глубже входить в детали. Он сказал, что тема ещё не созрела для обсуждения, но что он не видит противоречия между формой, в которой радикально-революционные перспективы могли бы оказаться плодотворными для его работы, и способом рассмотрения, которому он до сих

пор следовал, хотя и трансформированным на диалектический лад. Он говорил, что ему нужны тексты, имеющие каноническое значение, чтобы, комментируя их, адекватно развивать свои философские мысли. Всё прочее может-де для него представлять лишь некую предварительную ступень. Сюда добавлялось то, что я рассказывал Беньямину о продвижении своих исследований по иудейской мистике, требовавших всех сил и полностью занимавших мои мысли — хотя в моих филологических трудах это пока широко не высказывалось. Мы говорили об ангелологии и демонологии каббалистов, которые я начал изучать по рукописным текстам. К тому же Беньямин был первым, кому я рассказал о поразившем меня открытии саббатинской теологии, т. е. мессианского антиномизма, развитого в рамках иудаизма в строго иудейских понятиях; это открытие я сделал по рукописям Британского музея и библиотеки *Bodleiana* в Оксфорде²⁷⁷, и впоследствии оно привело меня к обширным исследованиям.

Незабываемым стал для меня вечер, который я провёл после отъезда Эши в кафе «Дом» с Беньямином и Францем Хесселем; они были явно дружны между собой. Во внешности Хесселя присутствовало нечто космополитически-небрежное. Контраст между ними был ярко выраженным и дополнительно подчёркивался густыми волосами Беньямина и совершенно лысым черепом Хесселя. Лишь по страстной заинтересованности к моим речам о Кардозо и Бердичевском я догадался, что Хессель — тоже еврей, что мне и в голову не приходило. В произведениях Авраама Мигеля Кардо-

зо в защиту саббатинской ереси, о которых я рассказывал под впечатлением своих оксфордских штудий, брезжила некая волнующая искра, которая перекинулась с меня на этих первых моих слушателей. Вечный вопрос о том, что теперь будет с еврейством, который в моих исследованиях принял совершенно новый оборот, по крайней мере, для меня — связался в разговоре этого вечера с длинным рассказом о Михе Йосефе Бердичевском (1865–1921), своеобразнейшей фигуре иудейского «модерна», влиятельном авторе, писавшем на иврите и идише, но издавшем свои учёные труды — прежде всего «Сказания евреев» и «Кладезь Иуды» — в немецком переводе; сколь бы глубоко этот автор ни был укоренён в иудейской традиции, иудаизм для него существовал только для того, чтобы познавать его. Был ли иудаизм ещё живым как наследие или опыт и даже как нечто непрерывно изменяющееся, или же он существовал лишь как предмет познания? Таков был вопрос, который тогда напрашивался при сопоставлении двух только что упомянутых фигур и решения которого я ожидал единственно от новой жизни в израильской земле и над решением которого долгие годы бился, по-разному расставляя акценты. Это был достопамятный вечер, и Бенъямин впоследствии часто возвращался к нему как к кульминации нашей встречи.

Ещё одной кульминацией совсем иного рода стала состоявшаяся немного позднее встреча с Иудой Леоном Магнесом²⁷⁸, ректором иерусалимского Еврейского университета, во время которой говорил, в основном, Бенъямин. Когда Вальтер сообщил мне о готовности изучать древнееврейский, я рассказал ему

о ещё не перебродивших планах по построению некоего гуманитарного факультета в Иерусалиме, где он, вероятно, сможет найти круг влияния, так недостающего ему в Европе. Его заинтересовала эта возможность, и я предложил ему устроить нашу встречу с Магнесом, как раз находившимся в Париже. Я разыскал Магнеса и рассказал ему, что думаю о даровании Беньямина и как Иерусалим мог послужить плодотворным решением духовной дилеммы, в которой находился Вальтер. Магнес был открыт всему живому в иудаизме; будучи раввином и публичной фигурой, он имел за собой разностороннюю карьеру в качестве одного из характерных лидеров американского еврейства — до того, как в 1922 году приехал в Иерусалим и отдался всей душой делу Еврейского университета. Только такой человек и мог приграть Беньямина. Так состоялась двухчасовая встреча между нами троими. Беньямин, явно хорошо подготовившись, изложил Магнесу во впечатляющих формулировках свою духовную ситуацию, выразив желание: через посредство древнееврейского изучить великие тексты еврейской литературы не как филолог, а как метафизик; он заявил о своей готовности уехать в случае необходимости в Иерусалим, хоть временно, хоть на долгий срок. Магнес защитил докторскую диссертацию 25 лет назад в Гейдельберге и бегло говорил по-немецки, так что никаких трудностей в общении не возникало. Я хорошо помню суть рассуждений Беньямина. Думая о философских и литературных предметах, занимавших его на протяжении 15 лет, он-де натолкнулся на проблему: где и на чём он сможет наиболее легитимно развивать свои

мысли? Ему-де стало ясно, что его идеи по философии языка не смогут сфокусироваться в доступных ему литературах — немецкой и французской. Дружба со мной, дескать, прояснила, что этот фокус для него сосредоточен в древнееврейском языке и письменности. Бенъямин объяснил Магнесу, что исследует романтических авторов, Гёльдерлина и Гёте, которого изучил не полностью, но интенсивно, а также рассказал о своём восхищении Бодлером и Прустом и о переводах, вдохновлённых ими. Как раз переводческая работа натолкнула Бенъямина на такие философские и теологические рассуждения, решения которых он ожидает от освоения древнееврейского. Свою еврейскую суть он-де осознал на этих вещах. Как комментатор значительных немецких текстов — он рассказал при этом о своей книге о барочной драме — он достиг своего потолка. И до нового слоя сможет добраться только как комментатор древнееврейских текстов. Его позиция не находит в Германии отклика. Он хочет посвятить свою продуктивную работу еврейским темам. И хотя он мало что знает из мира еврейской мысли, но то, что знает, глубоко взволновало его — в Библии, во фрагментах раввинической литературы, которые стали ему известны, и у таких мыслителей, как Мозес Гесс, Ахад Ха'ам, Герман Коген и Франц Розенцвейг. Не забывает Бенъямин и о религиозном мире еврейства как центральном предмете своей собственной работы. К работам по строительству государства Израиль он — с духовной точки зрения — относится позитивно, хотя и не вовлечён в политические аспекты сионизма и не идентифицирует себя с ними.

Я был ошеломлён той определённой и позитивной формой, в какой Беньямин представил эти мысли, о которых мы говорили и раньше и к которым я тоже был причастен. Это было живое признание в шансах на возрождение, которого и я — подобно многим — чаял в земле Израиля и только там: возрождения для еврейского народа и еврейства, отделить себя от которых я тогда не мог. Никогда прежде Беньямин не был настроен столь решительно в этой связи — и никогда впоследствии это не повторилось. Он рассказывал также о поездке в Россию и обещал Магнесу прислать статью «Москва», только что вышедшую в журнале Бубера и Виктора Вайцзеккера *Die Kreatur*²⁷⁹. Магнес, глубоко религиозный человек, который в политическом отношении стоял на крайнем левом фланге и претерпел значительные метаморфозы как в своих еврейских, так и в общеполитических позициях, был чрезвычайно тронут выступлением Беньямина и его рассуждениями — что подтвердил мне при следующей встрече. Магнес спросил Беньямина, как он себе представляет подготовку к такой возможной деятельности. Беньямин ответил, что если бы изыскал для этого финансовую возможность, то приехал бы на год в Иерусалим, где мог бы посвятить себя исключительно изучению языка и проверить, сможет ли он не только проникнуть в источники, но и проявить себя в качестве академического преподавателя. Магнес обещал подумать над этим и согласился с Беньямином, что такая попытка предшествовала бы окончательному решению. Он спросил также, есть ли научные и литературные авторитеты, готовые дать письменный отзыв относительно

Беньямина. Было условлено, что они свяжутся между собой отчасти напрямую, отчасти через меня. На Беньямина личность Магнеса также произвела впечатление, и он был увлечён перспективой, которую открывала перед ним эта встреча. Вальтер расписывал передо мной планы — как он сможет исполнять свои различные литературные обязанности, к которым относилась также неизданная антология сочинений Гумбольдта по философии языка. Он думал о том, чтобы летом или осенью 1928 года приехать в Иерусалим, где моя жена, будучи превосходной преподавательницей, поддержит его в обучении. Разговор с Магнесом, несомненно, стал кульминацией нашей парижской встречи.

Ретроспективно эта встреча видится ещё фантастичнее, чем казалась нам тогда. Современному читателю поздних работ Беньямина должно представляться невероятным то, что нам тогда казалось естественным и возможным — решение Беньямина о внутриеврейской карьере и будущем. Он был доволен встречами с Магнесом и усматривал в ней возможный поворотный пункт, если она принесёт практические результаты. Его социалистическая практика была пока в эмбриональной форме и — насколько я могу судить — оставалась такой ещё годами. Я видел в Париже один пример этому. Вечером 23 августа 1927 года я сопровождал его на демонстрацию протеста, которая долгие часы шла на северных и северо-восточных бульварах против состоявшейся той ночью в Бостоне казни Сакко и Ванцетти. Обстановка была весьма острой. Беньямин — впервые на моей памяти — надел красный галстук и сильно поношенный костюм. Он сказал, что не присутствовать

на этой демонстрации немыслимо. На мои вопросы о справедливости демонстрации, т. е. о невиновности американских рабочих, он ответил: даже если они и совершили убийство, недопустимо казнить их за это по прошествии семи лет. Шестилетнее ожидание смерти должно приравняться к приведению смертного приговора в исполнение. О правомерности смертной казни в принципе у него тогда ещё не было твёрдых взглядов. Решение, по мнению Беньямина, целиком и полностью зависит от исторических обстоятельств, а не от философских принципов. Вечер протекал очень бурно. Полиция — по большей части конная — перешла в наступление на демонстрантов. Мы попали в водоворот толпы и на бульваре Петербург²⁸⁰ лишь с трудом смогли спастись от дубинок фликов²⁸¹ в боковом переулке. Беньямин был чрезвычайно взволнован, и в тот вечер мне, вопреки обыкновению, пришлось выпить с ним много вина, чтобы он успокоился.

У Беньямина в то время печатались две книги, но вышли они лишь к началу следующего года. Книга о барочной драме и афористичный, недурно охарактеризованный Эрнстом Блохом как «философия в форме ревью», сборник статей, который после нескольких изменений, наконец, обрёл название «Улица с односторонним движением». Ещё не видя корректуры, Беньямин злился на колебания Ровольта и прочёл мне ряд кусков из своих рукописных заметок. Чудесную статью о Карле Краусе «Памятник воину»²⁸² он прочёл с почти георгеанской торжественностью и неподражаемо приподнятым тоном. Я и по сей день отношу эту статью к лучшему из

того, что он написал. Мы целый вечер провели в *Café de deux Magots*²⁸³ за разговором о смысле символов. В порядке эксперимента мы пытались заострять наши понятия, и я припоминаю, что разговор вышел далеко за рамки формулировок книги о барочной драме, с которых он тогда начался. Разговор представлял собой продолжение речи Бенямина, обращённой к Магнесу, относительно значения которой я заявил свой протест, так как он оперировал в ней понятием символа. Вальтер был в особенно благодушном настроении. Когда мы расставались, он попросил меня запротоколировать наш разговор, так как мы вышли на такие измерения, которые расширили бы выводы, сделанные в его книге, и он хотел бы их использовать в дальнейшем. Я этот «протокол» составил и послал ему в Берлин в декабре 1927 года. К сожалению, он не сделал с него списка, и мои заметки пропали в 1933 году.

Ещё один вечер я провёл с Бенямином, Хелен Хессель (женой Франца Хесселя) и одним приятелем, о котором Вальтер заранее спросил меня, можно ли его привести: этот приятель хотел со мной познакомиться. Это был Ханс Радт, о котором я мог вспомнить лишь то, что он состоит в родстве с Гретой Радт, а она когда-то была невестой Бенямина. Мы долго сидели в ресторане и говорили о литературе, речь зашла и о Йозефе Роте, который тогда заставил о себе говорить, особенно в кругу «Франкфуртер цайтунг». Бенямин и Рот терпеть не могли друг друга, хотя Вальтер в весёлые моменты любил говорить, что *априори* симпатизирует галицийским евреям — убедительным представителем этого вида, хотя и очень индивидуальным, и был Рот.

В доказательство своей симпатии Беньямин заявлял, что готов простить галицийским евреям даже крещение, которое было ему совсем не по нраву. (Так оно и было. За несколько лет до этого он показал мне открытку, на которой Игнац Йешовер, старый литературный приятель Беньямина, познакомивший его с Эрихом Гуткингом и поддерживавший связь с Беньямином года до 1930-го, — торжественными фразами сообщал, что вчера с женой «принял святое крещение». Сам факт, что Вальтер показал мне эту открытку, и был его комментарием.) По пути домой в тот вечер Беньямин внезапно и многозначительно сказал: «Это, — имелся в виду Ханс Радт, — был деверь Юлы Кон». После 1923 года он ни разу не упоминал её в своих письмах. Я спросил: «Ты ещё поддерживаешь с ней контакт?». Он ответил: «Да — и ещё как!» и начал рассказывать мне о ней, явно волнуясь. Он рассказал о её замужестве и карьере в качестве скульптора. Это было против его обыкновения. Не то чтобы он напрямую говорил о продолжающейся связи с ней. Но по тому, как он акцентировал фразы, было ясно, что с ним творилось. Я избегал расспросов, хотя своим сообщением он осознанно спровоцировал мой первый вопрос, т. е. захотел откровенно поговорить о ней.

Совершенно иначе складывался наш разговор о методе анализа звуков, который был изобретён мюнхенским адвокатом Отмаром Рутцем и затем позаимствован у него знаменитым в своё время лейпцигским германистом Эдуардом Зиверсом. Этот метод сегодня забыт, однако в течение пятнадцати лет до нашего разговора он играл значительную роль в критических

исследованиях цельности писаний и вызывал острые дебаты — не только в части проведённых Зиверсом исследований средневерхненемецких текстов, но и в применении метода к изучению аутентичности писем апостола Павла из Нового завета, а также разных «голосов», которые якобы слышны при исследовании нескольких вариантов еврейской Библии. Основное представление о том, что из письменной передачи речи или из литературных документов можно сделать вывод о многомерных голосах, якобы в них запечатлённых, должно было казаться Бенъямину — в связи с его собственными занятиями графологией и её теоретическими предпосылками — принципиально правдоподобным, и эта проблема его очень интересовала. Но он тогда не пришёл к твёрдому суждению по этому вопросу, а больше мы с ним к нему не возвращались.

НЕУДАВШИЙСЯ ПРОЕКТ (1928–1929)

В последующие два года в наших отношениях господствовал тот самый план: заняться древнееврейским, имея в виду последующую преподавательскую деятельность в университете Иерусалима, хотя наряду с этим — как прежде — речь заходила и о многом другом. После расставания в Париже мы больше не виделись, хотя октябрь я провёл в Берлине, где много общался с Дорой. Бенъямин же вернулся из Парижа в Берлин только в ноябре, когда я уже был в Иерусалиме. Намерение послать д-ру Магнесу стопку своих машинописных текстов Бенъямин то и дело откладывал, так как рассчитывал присовокупить к ним книгу о барочной драме и четыре свои лучшие статьи (по его мнению, это были статьи о Келлере²⁸⁴, о детских книгах²⁸⁵, об «Избирательном сродстве»²⁸⁶ и о задаче переводчика²⁸⁷). Когда же в конце января он всё-таки послал книгу Магнесу, то написал в сопроводительном письме о надежде, «что она придёт в благоприятный момент... когда с первых же страниц ей удастся пробудить в Вас воспоминание о нашем парижском разговоре, который сейчас для меня является актуальным и живым как никогда».

В конце ноября 1927 года он писал — отмечая выход в свет моей философской азбуки из Актов уни-

верситета Мури, изданной моими братьями для «Берлинер Библиофилен-Абenda»²⁸⁸, — что и он, со своей стороны, хочет внести в эти Акты свой вклад и думает о новом сборнике или о настенном литературном календаре вроде того, какой он сделал год назад для «Литературного мира». «Впрочем, я уже неделю, но сегодня особенно, чувствую себя худо и страдаю от неопределённого гриппозного состояния, безрадостным фоном которому служит множество ненаписанного. Вчера в новом берлинском житье-бытье возник парижский анклав. Был пойман и проинтервьюирован один чужеземный литератор. Эта картина охоты, однако, сразу же перестаёт быть благородной; чаще они приходят целыми толпами, чтобы излить душу перед бедными немцами. Но было и прекрасное, что бы я тебе с радостью показал. Я имею в виду пьесу Форда, дошекспировского драматурга, в неописуемо приличном исполнении. Одна из лучших драм. Предмет — любовь брата и сестры²⁸⁹. В остальном в театре — обычные сенсационные мероприятия, на которых засыпашь». Перед этим я писал ему, что Дора была со мной на премьере одного из вошедших тогда в моду на западе Берлина нельсоновских ревю, где я скучал. Вальтер написал, что в том же номере *Neue Deutsche Beiträge*, где вышел препринт главы о меланхолии (из книги о барочной драме), я «под заглавием “Метафизический сословный порядок мироздания”» найду «работу Леопольда Андриана²⁹⁰, над которой мы с Хесселем часами сотрясались от смеха». В приписке к письму Бенъямин сообщил мне, что грипп оказался тяжёлой желтухой. «И это именно теперь, когда я в честь своих писаний

должен показываться то тут, то там. Однако почётнее, когда посещают тебя. Это, предположительно, произойдёт со мной на днях — благодаря Вольфскелю». К письму на маленьком клочке было приложено следующее:

«Идея мистерии

Изобразить историю как процесс, в котором человек, в качестве управляющего делами безмолвной природы, подаёт жалобу сразу и на творение, и на неявку обетованного Мессии. Суд же постановляет заслушать свидетелей грядущего Мессии. Является поэт, который его чувствует, ваятель, который его видит, музыкант, который его слышит, и философ, который его знает. Поэтому их свидетельства не совпадают, как бы они ни говорили о его приходе. Суд не отваживается признать свою нерешительность. Поэтому новым искам несть числа, как и новым свидетелям. Применяются пытки, появляются мученики. Скамьи для присяжных заполнены живыми, которые с одинаковым недоверием слушают как человека-обвинителя, так и свидетелей. Места присяжных переходят в наследство их сыновьям. Наконец в них просыпается страх, что их прогонят с их насиженных мест. В конце концов, все присяжные убегают, остаются лишь истец и свидетели».

Эти краткие заметки, контраст которых по отношению к более поздним заметкам по теории истории столь же очевиден, как и их мессианский контекст, представляют собой первое свидетельство о воздействии «Процесса» Кафки на Беньямина²⁹¹. Он завершил раз-

личные приписки к упомянутому письму лапидарной фразой: «В роли ангела, спасающего больного, у моего ложа Кафка. Я читаю “Процесс”». Однако мистерию, которая заново осваивает «Процесс» Кафки на другом уровне, Бенъямин не вписывает в письмо, хотя места на странице хватило бы, а прилагает отдельно. С этого начинаются его раздумья о Кафке, которые должны были служить предварительной ступенью к его эссе о «Процессе». Не удивительно, что эту работу он посвятил мне. В те годы у него всё вертелось вокруг теологических категорий, в которых «смысловые слои теологии» следует отделять от «слоёв переживания сна». Ещё в середине 1928 года он прочёл написанную мной заметку о произведениях Агнона, где речь шла о том, что у Агнона предпринята ревизия «Процесса» Кафки. Он хотел в своей работе провести сравнение Кафки с Агноном и при этом на собственный лад развить категорию отсрочки, которую я в рукописи «О Книге Ионы и понятии справедливости»²⁹², написанной в 1919 году, охарактеризовал как основополагающую для еврейства — что убедило его. Значит, в эти годы, начиная с 1927-го, наши мысли, по крайней мере, об этом центральном предмете, сошлись в одной точке.

С этого года, со статьи о Готфриде Келлере, которая вышла незадолго до нашего совместного пребывания в Париже, у Бенъямина начали выходить значительные эссе по литературной критике; в них, после долгого перерыва, наступившего с выходом работы об «Избирательном сродстве», отчётливо обозначился его гений. В январе 1928 года он послал мне только

что вышедшую «Барочную драму». До 1930 года вышли «Сюрреализм»²⁹³, «К портрету Пруста»²⁹⁴, «Парижский дневник»²⁹⁵ и три статьи о Жюльене Грине²⁹⁶, где пока — в общем и целом — доминировала сугубо домарксистская линия. Только начиная с ряда рецензий на книги (особенно с 1929 года), с начала комментариев к Брехту²⁹⁷ и с большого эссе о Карле Краусе²⁹⁸, которое ещё до опубликования Вальтер выслал мне в машинописной копии, а затем в рукописном оригинале, обозначился поворот, напрямую заявленный как марксистский — наряду с которым, однако, шли и рассуждения другого характера. Эти высланные мне работы послужили поводом к письму в марте 1931 года, которое содержало уже не «осторожные возражения», как утверждалось, а острую фронтальную атаку на новый образ его мыслей и позицию! Бросалось в глаза, что в работах полностью отсутствуют комментарии в беньяминовском смысле, кроме парадоксального случая с его комментарием к Брехту. Для меня — после речи Вальтера, обращённой к Магнесу, где он говорил о своей задаче комментатора древнееврейских текстов — т. е. об утопической программе! — это было тогда менее удивительно, чем кажется в ретроспективе сегодня, когда комментаторский характер его многочисленных поздних сочинений гораздо отчётливее бросается в глаза как раз на уровне, чрезвычайно далёком от еврейского.

Беньямин был аутсайдером в двойном смысле: в науке, где он остаётся им и до сих пор, и в писательстве. Лишь единицы из его коллег среди писателей могли с ним как-то сотрудничать; многие его не выносили. И это было взаимно. Как раз о литературных автори-

тетах, обладавших тогда расхожей популярностью, он имел невысокое мнение, за исключением разве что Генриха Манна; а позднее и Томаса Манна — начиная с «Волшебной горы». Из-за него он едва не рассорился с Брехтом, ненавидевшим Томаса Манна. Такие авторы, как Лион Фейхтвангер или Эмиль Людвиг, бывшие тогда знаменитыми, в письмах Бенямина не фигурировали, и он по возможности избегал контактов с ними. Но в том, что в Берлине он упустил Кафку, Бенямин упрекал себя даже в 1938 году²⁹⁹.

Поэтому я оказался в трудном положении, когда Магнес захотел от меня узнать имена известных писателей и учёных, которых он мог бы попросить дать отзыв о произведениях Бенямина. Я обсуждал это с Бенямином. Вначале он предложил четырёх: Гофмансталя, венского германиста Вальтера Брехта, мюнхенца Фрица Штриха и бернца Самуэля Зингера, который был другом молодости его тестя. Все четверо высказались позитивно, что удовлетворило Магнеса. Особенно многого Бенямин ждал от рецензии на его книгу в *Neue Schweizer Rundschau*³⁰⁰, которую намеревался написать кёнигсбергский, а впоследствии берлинский востоковед Ханс Хайнц Шедер³⁰¹ для Гофмансталя, с которым он поддерживал дружеские связи. Шедер, разносторонне одарённый и заинтересованный человек, давно знал о Бенямине и обладал редким для учёных свойством: хвалить работы других. Бенямин полагал, что после выхода рецензии в свет он сможет обратиться к Шедеру с письмом Магнеса. Но он обманулся в суждении Шедера. Для понимания атмосферы, с какой приходилось иметь дело такому мыслите-

лю, как Беньямин, может послужить письмо Шедера к Гофмансталу от 21 апреля 1928 года, строки которого, касающиеся Беньямина, мы приведём полностью. Это письмо показывает, сколь трудно было справиться с книгой Беньямина безупречно либеральному и ни в коей мере не бездарному учёному; рецензию на неё он так и не написал. Я благодарен за сообщение об этом письме д-ру Рудольфу Хиршу³⁰², нашедшему рукопись в архиве Гофманстала:

«Уважаемый и дорогой г-н фон Гофмансталь!

...В подобную же двусмысленную ситуацию* я попал из-за важной книги В. Беньямина. Я помню, как меня лет 12 назад захватывала и занимала его статья о сущности [читай: жизни] студентов³⁰³, а впоследствии его трактат об “Избирательном сродстве”, вышедший в Ваших *Beiträge*. Я взялся за книгу, любезно присланную мне издательством, с большими ожиданиями, но оказался до боли разочарован. Позвольте же мне вновь апеллировать к Вам. Абсолютно достоверное чувство сути истории и адекватный этому стиль с первых же слов дают читателю Ваших статей ощущение непреложности и ясности. Вы расставляете вещи в их естественном порядке, в их естественной систематике, они говорят за себя сами. И наоборот, то, что делает Беньямин в своей новой книге, является, как мне кажется, самым опасным из того, что можно вообще делать в области истории духа. Он не изображает свой предмет, он к этому даже не стремится, пытаясь, однако, при отбрасыва-

* Здесь имеются в виду предшествующие строки, где упоминается историк литературы Наллер.

нии исторического *hic et nunc*³⁰⁴ уловить якобы идеальное в его материале. Результат, однако, не может быть иным, как тот, что я вижу перед собой: сам я — поскольку до сих пор высоко ценил этого автора — путём трёхкратного чтения и философской интерпретации отдельных предложений — пытался хоть отчасти пробиться к смыслу первой главы. Но я не скрою, что лишь у немногих читателей хватит терпения и времени на усвоение этой совершенно индивидуальной и до непонятности затемнённой схоластики. Мне кажется, автор не случайно полемизирует с нашим первым историком духа, Конрадом Бурдахом, а также с одним из немногих, если не единственным живым философом, действительно обращённым к истории, к духовному миру в его исторической манифестации: он намеренно полемизирует с Бенедетто Кроче и в обоих случаях выступает против позиций обоих мыслителей. Псевдоплатонизм — вот формулировка, которой можно охарактеризовать книгу Бенямина; и в то же время это опаснейшая болезнь, которую вообще может подхватить тот, кому приходится иметь дело с историческими явлениями *ex professo*³⁰⁵ или в силу собственной склонности. У меня нет более заветного желания, нежели то, чтобы человек такой остроты и глубины мысли возвратился с этих путей, которые не могут привести никуда, кроме духовного солипсизма. Надеюсь, это беспощадное изложение моего отношения к книге не обидит Вас. Я вижу абсолютное расхождение духовной позиции между стараниями Бенямина и Вашими трудами или,

к примеру, трудами К.Я. Буркхардта, которого Вы также упоминаете в своём письме и чьё “Путешествие в Малую Азию”³⁰⁶ демонстрирует столь безукоризненно равномерную остроту зрения относительно ландшафтов и людей при исторически обоснованной однозначности, сочетая это с выдающейся изобразительной и языковой силой, что этой книгой я восхищён до глубины души».

Наши переговоры об иерусалимском проекте продолжались между 1928-м и 1929-м годами и уточнялись в нашей переписке в том направлении, что Беньямин приедет в Иерусалим, чтобы там посвятить себя изучению древнееврейского. После конкретных размышлений мне стало ясно, что для него должно быть важно не только обрести доступ к древнееврейским текстам, но и получить новые связи и перспективы преподавательской деятельностью в университете. Однако его штудий даже в лучшем случае не могло быть достаточно, чтобы стать компетентным академическим преподавателем в области иудаики. Об этом я говорил со своей женой и с д-ром Магнесом и в феврале 1928 года написал последнему, что если Беньямину удастся устроиться на учёбу, он мог бы вести преподавательскую работу в области новой немецкой и французской литературы, а путь в еврейский мир для него остался бы открытым, но не был бы связан с напряжениями и внешними обязательствами. Ответ Магнеса от 11 марта, в котором моё предложение было воспринято позитивно, оказался очень волнующим. То есть я вникал в положение Вальтера и тогда, когда только начал гореть желанием привезти его в Иерусалим.



Вальтер Беньямин. Паспортное фото, 1928 г.
Архив Академии искусств, Берлин

По прошествии стольких лет не могу утаить, что и в этом замысле, и в поведении Беньямина были задействованы более сложные мотивации. Присутствовал там и настоящий утопический аспект: он сам верил в эти планы, так как теологические категории иудаизма в описываемые годы всё ещё были представимы в качестве «узловой точки» его мышления — ведь даже в рукописных дополнениях к книге о барочной драме он усматривал свою подлинную заслугу в переводе гётевского понятия *прафеномена*³⁰⁷ «из языческих природных взаимосвязей» в иудейскую категорию исторических связей в понятии источника. Была и возможность, которую Беньямин мог считать очень весомой: сойтись со мной на таком уровне, где нам было что сказать друг другу и оказать взаимное влияние. Но, с другой стороны, в его упорном убеждении, что он достиг потолка своих европейских возможностей, заключалось много самообмана, что мне в ближайшие два года стало ясно намного раньше, чем ему самому, по возможности избегавшему «очной ставки» с данной ситуацией. Но его собственные записи тех лет свидетельствуют о том, насколько глубоким, жизненным и актуальным оставалось всё это для него в дальнейшем.

Сюда примешивался момент, достоверного знания о котором у меня не могло быть на расстоянии и который Беньямин по возможности обходил молчанием, а именно: запутанность его личных отношений. То, что они вскоре могут обернуться против иерусалимского проекта, стало для меня очевидным к концу 1928 года, когда Ася Лацис приехала в Берлин. Ещё в январе 1928 года он писал, однозначно в дополнение

к нашим парижским разговорам: «Вероятно, настал последний момент, когда у меня ещё есть шансы обратиться к древнееврейскому и к остальному, что с ним связано. И момент весьма благоприятный. В первую очередь, по моей внутренней готовности» [B. I. S. 455]. В том же духе он писал в марте того же года и Гофмансталу, которому при личной встрече в Берлине высказывался о «своём отношении к еврейству и тем самым — к вопросу о древнееврейском». Весной было условлено, что он приедет в Иерусалим осенью, и я обсуждал с Магнесом финансовое обеспечение его пребывания. Незадолго до 18 мая Магнес встретился с Бен-ямином в Берлине, пообещав назначить ему средства на изучение древнееврейского. Ещё 1 августа его поездка в Палестину считалась делом решённым — «наряду со строгим соблюдением предписанного Вашим гиеросолимитанским³⁰⁸ превосходительством учебно-го расписания» [B. I. S. 478]. Он объявил, что пробудет в Иерусалиме четыре-пять месяцев. Он-де уточнит вопрос о сроках в ближайшие недели. Я, конечно, не знал, что за этой фразой стояла его переписка с Асей Лацис, которую он в это время пригласил к себе в Берлин. 20 сентября я получил из Лутано письмо, которое даёт возможность судить о его тогдашнем положении и работе:

«Дорогой Герхард,
конверт выдаёт своей почтовой маркой, а лист — своим смятым краем, что я в отъезде. Это случилось внезапно и продлится недолго. Всё лето я провёл в своей комнатке из отвращения к поездкам в одиночестве, к чему я сейчас травматически чувствителен.

Тем эксцентричнее оказались маршруты, которыми я увлёкся и которые хотел бы повторить: в тот раз я больше *не мог*. И, наконец, когда я узнал, что Фриц и Юла Радт были здесь внизу, желание и обстоятельства сошлись воедино. Последний раз я был здесь внизу девять лет назад. Ландшафт сохранил всю свою древнюю мощь и не торопился дать это почувствовать. Перед Сен-Готардом³⁰⁹ и сразу за ним в первый день всё было покрыто облаками. Даже во второй, когда мы сделали вылазку на озеро Комо³¹⁰, все горы были в облаках. Со вчерашнего дня небо прояснилось, и я прошеествовал по своим любимейшим путям.

Я благодарю тебя и Эшу за указания из вашего последнего письма и буду неукоснительно им следовать. Итак, теперь учиться читать... Мой дерзновенный “Гёте” будет готов через несколько дней. Его окончательный вариант я не буду просматривать, так как знаю, что он скоро выйдет. И не окажется ли он — при всей смелости постановки вопросов — обывательским, ещё неясно. И тотчас же начну читать. Одновременно возвращаюсь к работе о пассажирах. Всё было бы великолепно, если бы презренная подёнщина тоже не требовала исполнения на определённом уровне, чтобы не опротивить мне самому. Не могу сказать, что у меня было мало случаев печатать плохие вещи, но ведь — не смотря ни на что — у меня хватало отваги писать их. Разумеется, в этой сфере я ощущаю себя лишь литературным критиком. Теперь я ищу возможность пропагандировать одну французскую книгу,

роман, который особым образом увлёк меня. Его автор — молодой англосакс Жюльен Грин, живущий в Париже и пишущий по-французски. “Адриенна Мезюра”³¹¹ — вот как он называется, и на немецком тоже вышел. Раздобудь его себе поскорей, чтобы мне не пришлось дарить его тебе на день рождения. Что касается палестинских выплат, то я принимаю твоё с Эшей предложение обратиться к Магнесу не раньше, чем действительно смогу взяться за учёбу. Тут вы правы. Но я не хотел бы привязывать эти выплаты к срокам моего появления в Палестине. Я определённо приеду на четыре-пять месяцев. Но как раз потому, что это надолго, датировать поездку мне не так просто; это может быть и январь вместо декабря. Пребывание у вас с Эшей будет для меня полезным на *любой* стадии изучения иврита. В следующем пункте Магнес, по нашим договорённостям — я имею в виду по их духу, а не просто по букве — согласится со мной: я вправе ожидать поддержку тогда, когда займусь собственно учёбой и продвинусь в центр моей работы.

По возвращении в Берлин мне всё-таки хотелось бы — если дела не сложатся иначе — что-то предпринять у самого [д-ра Лео] Бека. Пожалуйста, напиши мне для этого директивы — твои и Магнеса.

В Париж я не поеду — по крайней мере, надолго. Пиши скорее, а я тебя с Эшей сердечно приветствую.

Твой Вальтер.

P. S. Чуть не забыл сказать тебе, что твоё письмо о книге [Оскара] Гольдберга [“Действительность евреев”] кажется мне самым важным и удачным из того,

что я о тебе знаю. Я прочту его — с твоего разрешения — Хесселю, который до сих пор не может прийти в себя после нашего тогдашнего разговора о Бен-Гурионе. Теперь я надеюсь, что скоро выйдет “Возникновение каббалы”.

За указания, связанные с техникой получения паспорта, большое спасибо. Придёт время — и я им скрупулёзно последую».

Сейчас уместно сказать об упомянутой статье «Гёте», которую он написал во время переговоров по еврейскому проекту, за полгода до приезда Аси Лацис, в качестве своего первого «корыстного» продукта. Весной 1928 года редакция Большой Советской Энциклопедии заказала Беньямину статью «Гёте»³¹², которая занимала его до октября 1928 года, со «смертельным презрением к тому, что прищипоривает меня к сроку». В августе он писал мне, что такую статью «невозможно произвести иначе, как со счастливой дерзостью» [B. I. S. 481]. Этот очерк фактически носил характер некоего *tour de force*³¹³, который не оставлял желать большего самоотречения. Это был единственный результат его московских стараний, так как из его надежд получить возможность самостоятельно, т. е. не в качестве компилятора, сотрудничать в русских журналах ничего не вышло. В сравнительно большой статье, где Беньямин применил материалистический лексикон, он пытался в чрезвычайном грубом облачении преподнести свои взгляды, касающиеся Гёте и значения его основных произведений. Конечно, эта статья никак не отвечала желательному для Москвы направлению и была «положена под сукно». Вышла она в 1929 году, в сильно сокращённом

и значительно переработанном, исковерканном редакцией варианте. Беньямин, который, конечно, осознавал недостатки претерпевшего множество нелепых искажений феномена Гёте, вынужден был обратить эту работу в шутку. Но от выраженной в ней интенции он никогда не отступал. После того, как статью отвергли в Москве, Вальтер предпринимал лишь вялые попытки опубликовать её в Германии и допускал возможность её последующей, не столь грубой обработки. Он послал мне копию этой статьи, которая хранится у меня до сих пор — 40 машинописных страниц. Когда много позже в Париже я высказал изумление кульбитами, которые Беньямин совершил в статье, чтобы получить возможность вставить туда и несколько оригинальных мыслей, он сказал: «Почему только идеалистам позволено танцевать на канате, а материалистические танцы на канате запрещены?!».

Мы с женой скептически отнеслись к плану перечислять ежемесячные выплаты в Берлин, даже при условии, названном самим Беньямином: сосредоточиться на иврите. Мы рассчитывали, что сумма в 300 марок позволила бы нашему другу — при тогдашних условиях — жить в Иерусалиме без дополнительных заработков — тем более, что расходы на занятия древнееврейским отпадали, так как Эша, будучи превосходной преподавательницей и поддерживая с Беньямином прекрасные отношения, хотела взять эти расходы на себя. В Берлине условия жизни были другие; оговорённой суммы вряд ли хватило бы, и приходилось бы отвлекаться на дополнительную работу.

Каков же был наш шок, когда Беньямин 18 октября сообщил мне о получении всей суммы, высланной Магнесом, и попросил меня передать ему сердечную благодарность! С этого момента мы больше не верили, что когда-нибудь увидим Вальтера в Иерусалиме, и уже предвидели, какая ситуация сложится в Берлине. Наши предчувствия скоро подтвердились его (напечатанным) письмом от 30 октября. Дескать, только после прибытия его «русской подруги» — а она приехала в Берлин в ноябре 1928 года, — Беньямин определится со сроками поездки в Иерусалим. И хотя путь к изучению иврита был открыт, но наметилась небезопасная конкуренция с безотлагательной необходимостью расширить работу о пассажирах. Беньямин перенёс поездку на весну 1929 года. Благое, но объективно негодное решение д-ра Магнеса привело — при наметившихся в жизни Беньямина событиях — к крушению плана, если Беньямин вообще собирался его исполнять.

То, что о начале занятий языком не было и речи, подтвердил его ответ на мои протесты, обходящий этот пункт молчанием; Вальтер написал его 23 ноября. На этот счёт там говорилось только: «Ты можешь рассчитывать на моё прибытие самое позднее — в марте». О том, как были встречены его книги — весной 1928 года вышла и «Улица с односторонним движением» — он писал: «Моя небольшая коллекция отныне из почти сорока вырезок зачастую курьёзного вида заинтересует тебя, и в Иерусалиме я сложу её к твоим ногам. Украшение собрания — язвительная рецензия в “Берлинер Тагеблатт”, её написал один берлинский фрукт, коему может благоволить (Альфред) Керр». Я разо-

был эту рецензию (от 11 ноября), в которой Вернер Мильх — фрукт не берлинский, а из Бреслау — зарабатывал себе полемические шпоры на Беньяmine. Мильх, молодой специалист по барочной литературе (и тоже еврей), подверг обстрелу обе книги Беньямина, «остроумного фрагментиста», «разностороннее дарование которого оборачивается злым роком». Он охарактеризовал его как последователя романтических доктрин. «Однако это касается лишь одной стороны проблематичного явления Беньямина, для истолкования которого потребовалось бы пространное эссе. Обе книги... в их смеси академической сухости, журналистского размаха, филигранного философского труда и романтизированных кувырков — настоятельно рекомендуются всем любителям остроумного аутсайдерства». (Сожалел ли автор впоследствии об этой злобной атаке? В сборник своих «Небольших произведений», вышедший незадолго до смерти, в 1949 году, он её не включил.)

В феврале 1929 года Беньямин в письме, подтвердившем мои опасения, которые я ему высказывал, написал, что готов прослыть несерьёзным человеком, поскольку вынужден отложить поездку в Палестину на осень. Конечно, это соответствовало моему ожиданию и реакции, в которой лояльность Вальтеру сочеталась с растущим скепсисом относительно всего проекта. Поведение Беньямина привело к моему отказу на предложение «Юдише Рундшау», главному редактору которого, Роберту Вельчу³¹⁴, я рассказывал о своих беседах с Беньямином — когда Вельч попросил меня написать статью о его книгах, «чтобы в этой связи что-нибудь

сказать о Беньямине как о еврейском мыслителе или вообще об отношении его мыслей к еврейству». Я намекнул на это Беньямину, и он написал мне: «Почему ты отказался от задания? — Впрочем, я знаю, почему — и да благословит тебя за это Господь». В том письме много говорилось о моих и его трудах, но не было ни слова об Асе Лацис, с которой он тогда некоторое время жил вместе на Дюссельдорферштрассе и которая вела активную кампанию против его палестинских планов — о чём я несколько месяцев спустя получил лишь косвенное известие в письмах Доры. В своих воспоминаниях Ася Лацис хвастается, что воспрепятствовала поездке Беньямина ко мне — причём события 1929 года она ошибочно отнесла ко времени пребывания на Капри в 1924 году, когда таких планов ещё и в помине не было. Беньямин просил меня рекомендовать ему учителя иврита в Берлине, и я указал ему д-ра Макса Майера, которого знал с 1916 года и который принадлежал к немногим сионистам из ассимилированных семей, действительно хорошо знавшим древнееврейский.

Но ежедневные уроки начались лишь в конце мая и продлились меньше двух месяцев, пока Макс Майер не уехал в отпуск. Беньямин тоже поехал в Италию вместе с Вильгельмом Шпейером. По возвращении обоих в Берлин занятия не возобновились. В недели обучения Беньямин действительно носился с древнееврейской грамматикой, что мне подтверждали с разных сторон. Реальные же события не были отражены в его письмах этих месяцев. Он пропускал всё, что называл «внешними обстоятельствами», т. е. всё, что

касалось его, Аси Лацис и Доры со всеми их кризисами, и писал лишь о других трудностях. 23 марта он написал: «Вчера я целый час говорил с д-ром Майером, и наш разговор меня ободрил. У него совершенно удивительный взгляд на то, что произошло, и он сумел мне распутать дело, хотя я не утаил от него ни одну из трудностей. Как тебе известно, крупнейшей из них я считаю то, что работы к “Парижским пассажирам” — ещё далеко не “над” ними — в настоящий момент прервать невозможно. Скорее, я хочу продвигаться в этом деле настолько, чтобы в Палестине быть уже свободным: без подспорья, то есть без риска либо заниматься работой, либо прервать её. В итоге разговора мне пришлось принять трудное решение: остаться в Берлине. Если финансы мне как-нибудь позволят, летом или осенью я поеду в Палестину через Францию». Спустя два месяца Бенъямин писал: «Предвижу разного рода изменчивые мысли у тебя — из-за моего молчания. Но я не виноват», — поскольку д-р Майер заболел. А теперь ежедневные занятия вот-вот начнутся, и сейчас Вальтер вычерчивает первые знаки еврейского курсивного письма. 6 июня он выразил Магнесу надежду, «что моё пребывание в Иерусалиме убедит Вас в серьёзности наших парижских разговоров, хотя моё молчание могло поколебать Вашу веру». Мне он написал в тот же день: «Мне нечего возразить на твои упрёки; они обоснованны, и тут я сталкиваюсь с уже патологической нерешительностью, свойственной мне, увы, и в других случаях». Затем последовал намёк, которого я тогда не понял — о препятствиях, «образ и размеры которых ты, кстати, отчасти знаешь, а по-



Вальтер Беньямин. 1929 г. Фото: студия *Joël-Heinzelmann*.
Архив Академии искусств, Берлин

скольку они сугубо личного характера, их лучше оставить до устного сообщения» [В. II. S. 493]. Из поездки в Банзин³¹⁵ на Балтийском море Бенъямин писал, что он доволен своими успехами меньше, чем его учитель. «Мне всё яснее становится, как быстро я мог бы продвигаться вперёд, если бы с утра до вечера голова была занята только этим — что, однако, невозможно. Я работаю страшно много, чтобы оставаться на высоте в обеих областях своей деятельности. Ведь в Палестине и так представится больше исключительности для иврита. Думаю, в сентябре я покину Марсель, если ничто не помешает». Это было зашифрованное предупреждение, которое повторилось (27 июля) в смутном указании на процесс, ставивший под сомнение все его возможности. В свою очередь, *dénouement*³¹⁶ наступил только в его коротком, но многозначительном сообщении, что он окончательно съезжает с квартиры «в туче пыли под горой сундуков», которое он мне отправил 4 августа 1929 года, переехав на время к Хесселю.

КРИЗИСЫ И ПОВОРОТЫ (1930–1932)

За неделю до упомянутого письма Дора уже написала мне, что Вальтер, который в декабре 1928-го и в январе 1929 года жил вместе с Асей Лацис на Дюссельдорф-ферштрассе, 42, теперь вновь живет у неё, но ещё весной потребовал развода, чтобы жениться на Асе. Дора утверждала, будто он хотел развода лишь для того, чтобы добиться германского гражданства для Аси, у которой были трудности с продлением разрешения на пребывание в Германии. Я сомневался в этом, но на расстоянии не мог судить, насколько предположение верно и каковы на самом деле их отношения. Из-за вопроса «вины» и связанных с ней финансовых споров по обязательствам их брачного контракта 1917 года, на котором тогда настояли родители Доры, дело дошло между июнем 1929-го и 27 марта 1930 года (когда брак был расторгнут) до судебного процесса, который проходил при крайнем ожесточении с обеих сторон и о котором я не хочу высказываться. Вальтер его проиграл. До июня 1931 года все связи между Вальтером и Дорой были прерваны, а затем очень медленно восстанавливались обеими сторонами; постепенно установился некий *modus vivendi*³¹⁷, а затем и вновь дружеские и доверительные отношения между ними.

Ещё в июне Дора мне писала, чтобы я не рассчитывал на то, что Бенъямин когда-нибудь ко мне придет. «Все друзья говорят, что он никогда не поедет в Палестину», — она имела в виду прежде всего Эрнста Шёна, Франца Хесселя, Густава Глюка и Эрнста Блоха, которые в то время приходили к ней, но после развода отстранились от неё — по её словам, под давлением Вальтера. Напрашивалось, что следующей жертвой этих процессов станет древнееврейский, и письма Бенъямина в тот период полны угнетённого смущения. За исключением письма от 1 ноября 1929 года, он не решился до 1930 года говорить о разводе *expressis verbis*³¹⁸. Тогда он писал мне: «Невозможно было предвидеть, что моё расставание с Дорой примет столь ужасные формы. Я втянут в серьёзный бракоразводный процесс и... Не надейся узнать об этом в письмах больше того, что узнаешь сейчас, да и то я откладывал, сколько мог. Дела таковы, что в ближайшее время я должен все без исключения мои планы строить с оглядкой на это положение». Меня уже не могло удивить значение этих слов. И телеграмма от 17 сентября, в которой Вальтер объявлял о своём приезде 4 ноября, больше не создавала у меня иллюзий. В сентябре и октябре он неоднократно бывал во Франкфурте, где Ася Лацис лечилась у невролога Курта Гольдштейна и где у него тогда завязались отношения с Теодором Визенгрундом-Адорно и Максом Хоркхаймером, достигшие кульминации в разговорах о марксизме, в которых участвовали Ася Лацис и Гретель Карплус, впоследствии ставшая женой Адорно³¹⁹.



Гретель Адорно. Фото: студия *Joël-Heinzelmann*.
Архив Академии искусств, Берлин

Сам я никогда Асю Лацис не встречал, потому что во время её приездов в Германию не был там. Но многие из упомянутых здесь людей впоследствии были единомышленны, рассказывая о ней, её облике и их отношениях с Бенямином. Её собственные мемуары очень избирательны. Когда я приехал в Европу в 1932 году, прошло уже много времени с тех пор, как Ася Лацис вернулась в Россию, и она, насколько мне известно, больше с Бенямином не виделась, но продолжала переписываться с ним вплоть до её ареста при Сталине. Сам Вальтер после письма от 18 сентября 1929 года (оно напечатано) больше ничего мне о ней не писал. Эта сторона его жизни прошла мимо меня.

Поразительными остаются способность Бенямина к концентрации, открытость духовному, взвешенность стиля в письмах и статьях в тот год сильнейших волнений, переворотов и обманутых ожиданий в его жизни. В нём был некий запас глубокого покоя, плохо отражаемый словом «стоицизм». Этот запас не затрагивали ни тяжёлые ситуации, в которые он тогда попадал, ни потрясения, грозившие выбить его из колеи. Как раз тот год ознаменовал поворотный пункт в его духовной жизни и апогей интенсивной деятельности в литературе и философии. Это был поворотный пункт в сфере видимого, который не исключал непрерывности его мышления и черпал мотивы, управляющие этим мышлением, в невидимом — что теперь заметно отчётливее, чем тогда. Я смог распознать это противоречие в последующие годы — может, как раз потому, что наблюдал за событиями издалека. Это двойное осозна-

ние поворота и непрерывности в Беньямине, понятное тогда, вероятно, мне одному, и определило наши отношения в последующие годы.

В мае 1929 года он познакомился с Бертольтом Брехтом, с которым Ася Лацис общалась по профессиональным мотивам. Если прежде Беньямин находил берлинские литературные знакомства преимущественно в кругу Франца Хесселя и Эрнста Блоха, где он познакомился также с Гретель Карплус и с Отто Клемперером, то вместе с Брехтом в жизнь Беньямина вошёл совершенно новый элемент — стихийная сила в подлинном смысле слова, и в это же время укрепились его прежде неопределённые отношения с Визенгрундом-Адорно. 6 июня Вальтер уже известил меня о своём близком знакомстве с Брехтом, «о нём и о знакомстве с ним следует много рассказать» [В. II. S. 494], и уже через три недели он писал: «Тебе будет интересно, что в последнее время у меня с Бертом Брехтом установились очень дружеские отношения — и живут они не столько на том, что он сделал и из чего я знаю только “Трёхгрошовую оперу” и “Баллады”, сколько на обоснованном интересе к его сегодняшним планам». Ещё до их личной встречи он с большим пафосом противопоставлял стихи Брехта песням Вальтера Меринга³²⁰, на которые обрушивался с резкими нападениями. Появление более сильных марксистских акцентов (начиная с 1929 года и впредь), очевидно, связано с влиянием Аси Лацис и Брехта; позже Адорно и Хоркхаймер в Кёнигштейне³²¹ вызвали очередной прорыв в этом направлении. Беседы с Брехтом, к которым вскоре добавились разговоры с марксистскими



Бертолт Брехт. 1930 е гг.

менторами последнего Фрицем Штернбергом и Карлом Коршем (близким другом моего брата Вернера, исключённым тогда уже из коммунистической партии, но продолжавшим заседать в Рейхстаге)³²², больше касались большевистской теории, политики и эстетики, нежели выходивших тогда сочинений Брехта. Беньямин на тот момент, по-видимому, прочёл из Брехта только вышедшую в июне 1930 года пьесу «Человек есть человек», прежде чем его очаровали «Опыты» Брехта. Даже в сентябре 1929 года Вальтер писал мне: «Новая пьеса Брехта [“Хэппи-энд”³²³] тоже не ахти что» [В. II. S. 502], а полное значение этих отношений прояснилось для меня лишь в 1930 году, после чего еврейские планы были окончательно положены *ad acta*³²⁴.

Беньямин в ту пору волнений очень много работал. В вышеупомянутом письме от 1 ноября он писал: «От энциклопедии (E. Judaica), которую издаёт (Якоб) Кляцкин³²⁵, заказ на тему: немецкие евреи в духовной жизни XIX–XX вв.³²⁶, как подраздел статьи “Германия”. Срок сдачи — конец ноября. До тех пор всё моё время будет занято этой работой. Она могла бы стать важной, если бы ты мог меня консультировать». Именно эта работа, в которой он впервые в концентрированной форме высказался на еврейскую тему, оказалась настолько далека от господствовавших тогда ожиданий и несла на себе печать такой независимости, что смогла выйти лишь в исковерканном виде и с «переработкой» Наума Гольдмана и раввина Бенно Якоба. Должно быть, больше всего Беньямина огорчало то, что от его имени говорилось противоположное тому, что написал он сам. Первоначальный текст, к сожалению,

нию, не сохранился. Наряду с этой работой он хотел написать статью об Андре Жиде³²⁷; статью об И.П. Хлебеле он прочёл в виде доклада в сентябре или октябре в Берлине³²⁸. Но враждебные обстоятельства требовали своего. Беньямин написал мне, что в октябре, в связи с волнениями по поводу развода, он испытал коллапс, на десять дней лишивший его дееспособности. «Я не могу звонить по телефону, с кем бы то ни было общаться — не то чтобы писать. Само это письмо я пишу через силу; хотя я и пришёл в себя, но оно настолько молчит о том, что мне сейчас следовало бы сказать, что я предвижу твоё недовольство (не говоря уже о более сильных чувствах) по его получению». Завершил он письмо прямо-таки молением: «Уповаю лишь на такт и пощаду моих друзей».

После этого он и впрямь погрузился в полное молчание почти на три месяца, прежде чем — видимо, после возвращения Аси Ладис в Москву — написал — по-французски! — то (напечатанное) письмо от 20 января 1930 года, содержание которого меня потрясло. Оказывается, поездку в Палестину он сможет рассмотреть лишь по завершении бракоразводного процесса, которое не так близко. Он положил конец и всем моим надеждам, что выучит древнееврейский, находясь в Германии. Дескать, его честолюбие отныне нацелено на то, чтобы стать самым значительным литературным критиком немецкой литературы. Тем самым он отрёкся от всех упований прежних лет и от собственной речи, обращённой к Магнесу. Этим письмом было перечёркнуто моё письмо, написанное за несколько дней до того, которое якобы вернуло

его — дружеским участием и пониманием его ситуации — «к употреблению родного языка». То, что я думал о возникшем положении, можно узнать из моего письма от 20 февраля 1930 года, которое закрывает эту тему [В. II. S. 510 и далее]. В нём я объяснил, что будет, «когда выяснится, что ты больше не рассчитываешь на подлинную встречу с еврейством — нигде, кроме нашей дружбы». «Для меня важнее знать, где ты есть на самом деле, а не чем ты собираешься заняться, поскольку жизнь твоя складывается так, что ты — в отличие от других — никогда не приходишь туда, куда шёл». Его ответ, который заставил себя ждать больше двух месяцев — что не могло меня удивить при сложившихся обстоятельствах, — очень взволновал меня. В нём он писал: «Живое еврейство я познал ни в каком другом обличье, как в твоём. Вопрос, как я отношусь к еврейству, это всегда вопрос о том, как я отношусь — не скажу “к тебе” (ибо моя дружба уже не будет зависеть ни от какого решения) — к силам, которые ты во мне пробудил». О глубине самопознания Беньямина свидетельствует следующая фраза: «От чего бы ни зависело это решение — сколь бы сильно оно ни входило в русло якобы чуждой ему ситуации, с одной стороны, а с другой, в той напряжённой нерешительности, которая свойственна мне во всех важнейших положениях моего бытия — оно будет принято очень скоро» [В. II. S. 513].

После состоявшегося развода ещё три месяца тянулась тяжба между Вальтером и Дорой по финансовому урегулированию, которая ставила его в затруднительное положение. Я написал ему, что Эша, моя жена,

летом приедет в Европу и намеревается посетить его. Я попросил её указать ему на щекотливое положение, в каком я оказался из-за того, что он растратил сумму, выделенную на конкретные цели — особенно если, как теперь следовало ожидать, он не приедет в Иерусалим. Вальтер ответил мне 14 июня, с какой-то новой временной квартиры:

«Дорогой Герхард,

ты знаешь, что иллюзии — тем более обо мне — не моя сильная сторона. В твоём письме, ожидавшем меня вчера вечером, я нашёл больше правды, чем это хотелось бы нам обоим. Твоё указание на Грина озадачило меня тем больше, что мне уже давно ясно: конstellляции — по меньшей мере они — в семье, откуда я происхожу — имеют разительное сходство с теми, какие встречаются в гриновских романах. Мою сестру можно поставить в ряд с наиболее неприятными женскими образами Грина. А какую борьбу мне пришлось вести против этой власти не только там, где она противостояла мне в ней — как сейчас — но и во мне самом! — впрочем, именно поэтому я тебе пишу. Кто так глубоко, как ты, касается самого условного и сомнительного во мне, вряд ли может не заметить то, что я — пусть даже поздно, пусть даже в роковых обстоятельствах — начал борьбу со всем этим. Сомневаюсь, что у тебя сложилось более верное, более положительное представление о моём браке, чем у меня самого, даже сегодня — а значит, надолго. Не оскорбляя этот образ, скажу тебе — или, может, не надо тебе это говорить? — что в последнее время они (я говорю

о годах) превратились в экспоненты этой власти. Я очень, очень долго полагал, что у меня никогда больше не хватит собственной силы выйти из-под этой власти, и когда она вдруг — посреди глубочайшей боли и полнейшего одиночества — пришла ко мне — конечно, я в неё вцепился. Поскольку трудности, проистекающие из этого шага, в настоящий момент являются определяющими для моего внешнего бытия — ведь нелегко на пороге сорока жить без имущества и положения, без жилья и состояния — сам этот шаг является основой моего бытия внутреннего, фундаментом, на котором чувствуешь себя тяжело, но в котором нет места для демонов. Сам этот фундамент ещё ненадёжен, т. е. я по-прежнему не могу быть уверенным в том, что после того, как напишу распоряжение о всём моём наследии последних лет, моё бремя уменьшится до состояния терпимого; это решится в ближайшие дни. До того, в меняющихся изо дня в день конstellациях, в которых я пребываю уже несколько месяцев и даже по сей день, так как сам процесс развода закончился неблагоприятно для меня и я принял приговор первой инстанции — действительно ничего невозможно. О твоём письме — хватит. Я останусь в Берлине до середины июня и надеюсь, что, таким образом, увижу Эшу... Я так хочу отдохнуть, поскольку в последнее время — не говоря уже обо всём прочем — перегружен работой. Сейчас я готовлю (опираясь на две большие, ещё не напечатанные рецензии на сборник “Война и воины”, изданный [Эрнстом] Юнгером³²⁹, и на работу “Поэт

как вождь в немецкой классике” Макса Коммереля³³⁰, ученика Вольтерса) передачу для радио, где я теперь тоже, немного позже, чем ты, начал заниматься книжонками Вольтерса [книгой о Георге и журналом “Листки об искусстве”³³¹]. Ведь ученик и наставник находятся здесь в контрасте, который делает честь первому. Для своего сборника эссе я по-прежнему готовлю очерк о Карле Краусе³³². С издательством “Кипенхойер”³³³ я заключил договор на том избранных новелл Марсея Жуандо».

Это глубоко личное письмо и сообщение моей жены о двух визитах к Доре и Вальтеру дали мне представление о тяжёлых кризисах и переменах в его жизни, где хватало дальнейших обострений. «Вы, пожалуй, многое услышите», — сказал Вальтер Эше, посетив её для разговора на даче моих родителей под Берлином. Он мог думать, что она встретится с Дорой. Но Эша уклонилась от его готовности рассказать ей подробности дела. Когда она представила ему ситуацию, в какой я окажусь в Иерусалиме, если Бенъямин не приедет или не вернёт сумму, которую давно растратил, Вальтер избежал ясного ответа. В личных беседах он не любил затрагивать неприятные ситуации. Разговор зашёл о его очевидном повороте к марксистскому рассмотрению литературных и философских предметов и к его коммунистическому уклону в политической практике. Вальтер сказал Эше буквально следующее: «У нас с Герхардом всегда было так, что мы убеждали друг друга». Это была достопамятная фраза, хотя в воспоминаниях о наших разговорах зимой 1918–1919 годов о русской революции и теократической политике она не соответ-

ствовала фактам, а лишь, пожалуй, различным направлениям общего для нас радикализма позиций. Американский романист Джозеф Хергесхаймер, с которым Беньямин познакомился в эту эпоху волнений, говорил тогда — как писала мне Дора, — что Вальтер производит «впечатление человека, который только что сошёл с одного креста и собирается взойти на новый».

В это время в Берлине уже шли жаркие дискуссии между Беньямином, писателем Сомой Моргенштерном, с которым он познакомился в 1927 году, и Брехтом на значительную тему «Троцкий и Сталин», и Моргенштерн, у которого было обострённое еврейское чувство, поднял вопрос о возможном антисемитизме Сталина. (Моргенштерн писал мне об этом в пространном письме.) О «больших массивах разговоров в присутствии Брехта, шум прибоя которых Вас пока не достиг», писал Вальтер в ту пору к Адорно. Из писем его ко мне о проекте журнала, который он хотел издавать совместно с Брехтом, было видно, какой глубины и значения достигли его отношения с Брехтом. В это же время Зигфрид Кракауэр, принимавший марксистские взгляды Беньямина куда мягче, чем я, в Берлине «имел с ним весьма резкий спор о его рабско-мазохистской позиции по отношению к Брехту», о которой он мне писал и обещал «как-нибудь рассказать устно». Это была не единственная контроверза такого рода в круту общения Вальтера.

В письме от 3 ноября 1930 года странно выглядит его восторженное высказывание о «сухости, с какой каббалистические источники, о которых ты говоришь, упорядочивают мистические обстоятельства или пред-

лагают их для дебатов» рядом с настойчивой отсылкой к «Опытам» Брехта, которые он мне также прислал. «Признаю, что настала пора подробно информировать тебя об этих вещах, так как они уже приближаются к официальному объявлению. В следующий раз ты получишь программу и устав нового журнала под названием “Кризис унд Критик”, который будет выходить раз в два месяца в издательстве “Револьт”, издатель — [Герберт] Ихеринг; первый номер выйдет 15 января следующего года, и на титульном листе буду фигурировать я рядом с Брехтом и ещё двумя-тремя членами редколлегии. Ты испытаешь двусмысленное удовлетворение, увидев там меня в качестве единственного еврея среди сплошных гоев» [В. II. S. 519; это место письма до сих пор не было опубликовано]. Он осознавал «имманентные трудности всякого сотрудничества с Брехтом», как он писал мне за месяц перед этим, хотя и признавал, «что если кто с ним и справится, так только я» [В. II. S. 518]. То, что он, несмотря на моё упомянутое письмо от начала года, всё-таки строил иллюзии по поводу «определённого решения в делах палестинского эксперимента», которым суждено было рассеяться в течение года, я воспринимал скорее как свидетельство длящегося чувства неловкости за своё поведение — что проявилось и в дальнейших письмах.

И опять прошли два месяца, в которые я написал мрачное письмо о положении в стране и о сионистском движении после арабских бунтов в августе 1929 года. 5 февраля 1931 года Вальтер отвечал:

«Дорогой Герхард!

Твоё письмо пришло вчера и сокрушило меня. Ко-

нечно, я не одобряю перерыв, наступивший в моих письмах, равно как и причины этого перерыва. А тут ещё множество смутных намёков в моих последних письмах, выставленных цветником на краю пропасти молчания. Чтобы перебросить мост через эту трёхмесячную пропасть, мне самому в нашей переписке пригодился революционный прибор, которому я диктую это письмо, иначе снова пропадут несколько дней.

Чтобы начать с менее важного — “Следы” (Эрнста Блоха)³³⁴ у тебя есть, но, кажется, тебе неизвестно, что получил ты их по моей инициативе; завтра я обедаю с Ровольтом и раздобуду для тебя “Саббатая Цви” (Йозефа Кастайна)³³⁵. Почти одновременно с этим письмом к тебе отправится очередное послание, так сказать, моё собственное сочинение, являющееся одной из причин моего продолжительного молчания. Это — экземпляр “Карла Крауса”, над которым я работал чрезвычайно долго — почти год, а в последний месяц — вообще отодвинув в сторону все мои личные и материальные обязательства. И тогда перед тобой всплывут все ключевые слова из того времени, которое — видит Бог! — уже можно назвать нашей юностью. В этом смысле ты должен понимать, что рукопись — представляющую собой четвёртый вариант всего материала — я сохранию для твоего архива и по желанию пришлю её. Я приложу к посылке также печатный лист новейшей книги Брехта, случайно оказавшийся у меня в распоряжении, и дам тебе тем самым если не общее представление о задуманном журнале, то хотя

бы о том, что меня в нём больше всего интересует. Вопрос о моём участии в журнале в последнее время снова остаётся открытым. От оформления первого номера зависит — буду ли я участвовать как соиздатель. После того, как длительное время под вопросом стояло всё — вплоть до выхода журнала — наконец ситуация приняла более конкретный вид. Выход журнала ожидается в апреле.

Поскольку из-за диктата технических обстоятельств у меня в распоряжении не так много времени, как хотелось бы, я ещё вкратце обрисую тебе положение — в качестве предвестника подробного рукописного сообщения.

Внутренней нерешительности у меня больше нет. От ситуации в Германии я мало чего ожидаю. Интерес к этой ситуации не выходит за рамки маленького кружка, сложившегося вокруг Брехта. Некой неизменности моей ситуации, вероятно, больше способствует эта безучастность к внешнему — связанная с более интенсивным обращением к моей работе, отчасти в её изначальных мотивах — нежели то, что ты гипотетически называешь “жёстким ядром моего характера”. Остаётся только пожаловаться Богу на неизменность и во внешнем смысле. Если бы ты услышал сумму долга, которую мне пришлось заплатить за последние месяцы*, ты воздал бы должное негативности моего финансового портрета. Скажу лишь то, что ничем распорядиться я не могу, и тех 3000 марок, которые — согласно расчётам Эши — могли бы стать основой для какой-никакой

* Речь шла о 40 000 марок.

“перестройки” моего бытия, у меня нет. Их принёс бы мне разве что переворот в экономической ситуации в Германии. Но откуда ему взяться?

В подробности твоих замечаний по поводу “Следов” я буду вдаваться после того, как выполню обязательство, которое давит на меня: представить их для “Литературного мира”. Но я не могу закончить письмо, не попросив тебя сказать ещё словечко о смутных намёках, которые ты делаешь на тамошние отношения “скорее во внутреннем, чем во внешнем измерении”. — Напиши мне, как только сможешь, по вышеуказанному адресу. В ближайшие 12 дней я буду во Франкфурте, “проворачивая” сомнительные радиодела. Но твой ответ застанет меня уже в Берлине.

От всего сердца тебе и Эше, как всегда.

Твой Вальтер.

P. S.* Я только что перечитал твоё длинное ноябрьское письмо и почувствовал, что депрессивные намёки твоего последнего послания, вероятно, следует понимать в смысле обстоятельного изложения сионистской ситуации, которое ты в нём приводишь. Впрочем, за всякое разъяснение буду тебе благодарен. Я избираю твой факультет для зарубежной переписки с тем бóльшим основанием, что я — как мы условились и запланировали — подвигнул Ровольта прислать “Саббатая Цви” на твой адрес. Однако придёт он, разумеется, лишь через несколько дней после этого письма. В остальном, в той же беседе мне удалось отодвинуть на полгода срок вы-

* Эта часть написана от руки.

хода сборника моих избранных эссе — и это в интересах их оформления. Я должен не только написать предисловие “Задача критика”³³⁶, но и осуществить свою надежду — написать летом большое эссе о югендштили, ходы мысли которого отчасти уже есть в работе о пассажах. А чтобы Эша после этого длинного письма не осталась с пустыми руками, можешь обещать ей от моего имени мою следующую статью в “Угу”³³⁷. О чём там идёт речь — недоступно цивилизованным письмовникам*.

Начало своего ответа от 19 февраля я написал на обороте машинописного письма:

«Дорогой Вальтер,
для эпиграфа, который я — чтобы оставаться верным стилю, а кроме того, дать вздохнуть моему слегка сдавленному сердцу — должен был бы предпослать ответу на твоё письмо, полученное вчера, у меня, к сожалению, нет под рукой образца: откуда его возьмёшь, например, в произведениях Гёте или Лихтенберга? Ибо однозначно, как ты справедливо заметил, что техническое производство письма, несомненно, вносит крайне актуальный революционный оттенок и уклон в нашу переписку, и столь же открыто я — как весьма сведущий в этих делах — смею утверждать, что этот косвенный вид сообщения представляет собой прямо-таки удвоение молчаливости, и хотя мне не хотелось бы вести дерзкие речи, я всё-таки сказал бы, что ещё

* Это был «Разоблачённый пасхальный заяц», который вышел в «Угу» только в апреле 1932 года (Der enthüllte Osterhase oder Kleine Versteck-Lehre, 1932 // GS. Bd. IV, 398. — Прим. ред. в скобках).

никогда письмо, вызывающее к авторучке, не было так мало пригодно к тому, чтобы диктовать его stenографистке. Но поскольку ты доказываешь с очевидностью, что всё это есть специфика такого высказывания, и гораздо отчётливее, чем я, знаешь и осознаешь, то из этого тем настоятельнее возникает необходимость почитать молчание или, точнее говоря, немотствование (пусть даже словесное), чем более непостижимы для меня его основания. Ибо работа о Краусе, в которой ты — как я всё-таки смог уловить вчерашней ночью при первом, чрезвычайно напряжённом прочтении — возобновляешь самые великолепные и значительные мотивы твоего мышления, даже сильнее и рафинированнее, чем можно было ожидать в эти годы, *отнюдь* не содержит, если ты позволишь мне это констатировать, ни подобных оснований, ни хотя бы одно из них. Поэтому я должен предпочесть довольствование — я бы сказал — пылким неведением, которое даже не преобразено входящей в него иронией, но является и, предположительно, обречено оставаться сплошным, драматическим незнанием. И довольно о твоём письме».

Я не вхожу здесь в подробности объёмистых письменных споров о повороте Беньямина к диалектическому материализму, развернувшихся между нами в мартовое 1931 года. Импульсом к ним послужило большое эссе о Карле Краусе, которое столь же впечатлило меня, сколь и возмутило — но также и письма Вальтера к Брехту и Рихнеру, копии которых он послал мне. Относящиеся сюда документы имеются в собрании

писем [В. II. S. 525–533]. Однако я ещё раз привожу три основных письма — два моих и одно его — в специальном приложении из-за их особой важности для понимания наших отношений и дискуссий. Неудивительно, что я захватил инициативу в этих делах — и тогда, когда необходимо было сказать ясное слово о его отношении к еврейству, и тогда, когда речь шла о материалистической продукции Бенъямина. Вдали от превратностей судьбы, мешавших Бенъямину занять решительную позицию, мне было легче однозначно и даже провокативно сформулировать существенное. Причём я осознанно стремился действовать в этих необходимых выяснениях в качестве катализатора. Я легко понимал, что сам он не особенно приветствовал такое прояснение. Однако то, что оно было для него в принципе невозможно, я осознал не сразу: его дальнейшая продукция доказывала, что выбор между метафизикой и материализмом — в его понимании — так и остался неосуществимым. Его установка на диалектический материализм как на эвристический принцип, а не как на догму — так он понимал это, начиная с 1931 года — оставила открытыми ворота для продолжающегося развития духа метафизических истоков, который имел с категориями материализма мало общего, а то и ничего. Этому соответствовала и продолжавшаяся привязанность Бенъямина к категориям иудаизма, ощутимая в его произведениях до самого конца.

Как сильно эти еврейские интересы продолжали воздействовать на наши отношения, ничто не покажет лучше, чем мой подробный ответ на его письмо от 20 июня 1931 года, т. е. ненамного позже только

что упомянутой переписки. Это письмо иллюстрирует климат наших отношений в том виде, в котором он мог сложиться только в переписке, по особенно важному пункту. Беньямин строго доверительно сообщил мне о возобновлении сближения между Дорой и ним, попросил в дальнейшем дать несколько «намёков» о моих мыслях о Кафке, в связи с его запланированной аннотацией к вышедшему тогда тому из наследия Кафки «На строительстве китайской стены»³³⁸, и, наконец, хотел услышать моё мнение о бурно прошедшем в 1931 году конгрессе сионистов в Базеле. Оригинал этого письма сохранился среди бумаг Беньямина, так как он — из-за своего особенного интереса — извлёк его из пачки нашей корреспонденции и положил к своим заметкам о Кафке. Я писал 1 августа 1931 года:

«Дорогой Вальтер,
твое последнее письмо лежит передо мной, и из него я, к моей радости, могу извлечь и кое-какие сведения о тебе и настоятельно прошу тебя понять, что хорошего не бывает слишком много и что известная темнота и проблематика метафизики и таких родственных ей наук, как политика и мораль, может быть приятнейшим образом дополнена светом твоей автобиографии. Прими это признание близко к сердцу и пиши мне, как и где ты живёшь. Доверительное сообщение о новом сближении между тобой и Дорой — пусть даже зачаточном — сильно волнует меня. Одним из наиболее радостных событий моей собственной жизни было бы просветление страшной и хаотичной тьмы, в которую ваши отношения были погружены в последнее время.

Никто из свидетелей ваших более счастливых лет не может поверить, что всё это было неизбежно. Нельзя было доводить дело до того, чтобы ваша жизнь так беспомощно вверглась в унижительную игру озлобления. Это единственное, что заставляло меня в эти годы сожалеть о том, что я не оказался в Германии — осмелюсь утверждать, что если ваш развод был неизбежен, я бы всё-таки избавил его от катастрофичных сопровождающих обстоятельств. О банкротстве Ровольта я узнал только от тебя. “Литературный мир”³³⁹ сюда больше не приходит, и я сталкиваюсь лишь с некоторыми более или менее мрачными продуктами немецкой реакции. Но всё равно меня удивляет, что ты не можешь пристроить свои эссе во многих издательствах. Я допускаю, что первый том своих критических разборов ты посвятишь памяти Гундольфа. Но в любом случае ты должен написать планируемую тобой статью о Кафке так, чтобы она нашла место в этой книге, поскольку с моральной точки зрения немыслимо, чтобы ты издал книгу критического содержания, которая не вводила бы Кафку в круг рассматриваемых тем. Поскольку ты требуешь от меня “намёка” относительно этого дела, я могу лишь сказать, что у меня до сих пор нет тома его наследия и я знаю оттуда лишь две вещи высочайшего совершенства. Но “разрозненные мысли” о Кафке у меня, разумеется, есть, однако они касаются положения Кафки не в континууме немецкой (там у него нет никакого положения, относительно чего сам он, впрочем, нисколько не сомневался; как ты, наверное, знаешь,

он был сионистом), а в континууме еврейской словесности. Я бы тебе посоветовал начинать всякое исследование о Кафке с Книги Иова или хотя бы порассуждать о возможности Божьего суда, который я считаю единственным предметом сочинений Кафки [!]. Ведь это, по-моему, те же исходные точки, из которых можно описывать языковой мир Кафки, который в своём сродстве с языком Страшного суда представляет собой прозаическое в его самой канонической форме. Мысли, высказанные мною — как ты знаешь — много лет назад в тезисах о справедливости, в их связи с языком можно считать путеводной нитью моих рассуждений о Кафке. Для меня загадка, как ты, будучи критиком, хотел обойтись, не поместив в центр работы учение, называемое у Кафки законом, и не сказав что-нибудь о мире этого человека. Пожалуй, именно так *должна была бы* выглядеть — если бы оно было возможным (*однако это — гипотеза самонадеянности!!*) — моральная рефлексия галахиста, который захотел бы попробовать *языковую* парафразу Божьего суда. Здесь говорит мир, в котором спасение не предвидится — поди же объясни это гоям! Я думаю, в этом пункте твоя критика будет столь же эзотерической, как и её предмет: столь беспощадно, как здесь, свет Откровения ещё не горел. Это теологическая тайна совершенной прозы. Ведь тот грандиозный тезис, что на Страшном суде речь идёт, скорее, о законах военного времени³⁴⁰, исходит, если не ошибаюсь, от самого Кафки. Посылка с “Опытами” Брехта пока не пришла. Если тебе повезёт получить ещё один экземпляр нового

тома перевода Пруста, надеюсь, ты переправишь его мне. Я, со своей стороны, послал тебе на прошлой неделе одну немецкую статью немного мудрёного содержания вместе с рецензией на книгу. Сейчас много моих материалов — почти десять печатных листов — находится на рассмотрении в журналах, но публикуются они медленно. Одна большая работа на иврите, скорее даже книга — по истории одного *terminus technicus* каббалы, публикуется медленно, но верно вот уже полгода в ежеквартальнике университета. Хочу побольше писать по-немецки, поскольку ни один историк религии не в состоянии читать на иврите. Тогда как, наоборот, мои иерусалимские чародеи могут отведавать моих разоблачений только на иврите.

На твой скромный вопрос, поставленный напоследок, как расценивать последний конгресс сионистов, к сожалению, можно ответить только описанием безотрадной ситуации, в которой он нас оставил. По правде говоря, радикальное расхождение между моей сионистской интенцией (которую характеризуют как ориентированную на обновление еврейства и религиозно-мистическую, и с этим я согласен) и сионизмом эмпирическим, который исходит из невозможного и провокационного искажения мнимого политического “решения еврейского вопроса”, стало очевидным по событиям последних двух лет, нашедшим кульминацию в постановлениях этого конгресса. Конечно, сионизм как движение стал существенно шире, нежели его эмпирическая организационная форма, но как-никак все эти годы

для людей вроде меня существовала возможность продвигать наше дело — которое, видит Бог, изначально не имело ничего общего ни с англичанами, ни с арабами — в рамках этой организации или, точнее: это было для нас безразличным (по крайней мере, с 1920 года), поскольку истинное историческое событие сионизма в любом случае было легитимно. Но в последние годы в сионизме проявились сутобо реакционные силы — и в политическом, и в моральном отношении, и на конгрессе дошло даже до постановлений, касающихся этой стороны дела, и с тех пор для меня и многих других обострился кризис в отношении к этому вопросу. Ведь я не верю, что существует некое “решение еврейского вопроса” в смысле “нормализации” евреев, и, конечно, не верю, что этот вопрос в таком смысле можно решить в Палестине — мне было ясно с незапамятных времён лишь то, что Палестина *необходима* — и этого было довольно, даже если от здешних событий можно было ожидать чего угодно: никакая сионистская программа никому здесь рук не связывала. На сей раз всё сложилось иначе. Вследствие выдвинутого небольшим иерусалимским кругом, к которому принадлежу и я, требования о чёткой ориентации сионизма по отношению к арабскому вопросу, но, конечно, из другой, не внешнеполитической точки зрения; вследствие фантастической, тебе вряд ли известной травли, которая велась против нашей позиции с 1929 года, теперь приняли открыто направленную *против* нас резолюцию о так называемой “конечной цели” сионизма, вследствие

чего — называя вещи своими именами — мы, собственно говоря, автоматически уже не предстаём в качестве “сионистов” в смысле организации. Правда, худо-бедно проводится представленная нами (эти “мы” не насчитывают и двадцати человек, здесь их называют “интеллектуалами без корней”, которые, однако, обладали большим влиянием) *внешняя политика*, пусть даже слишком поздно и при отрицании нашего авторства, но поскольку ей не соответствует никакой внутренней позиции, а дело как раз в ней, она остаётся пустой скорлупкой. Да, против Магнеса и преподавателей университета, которые, скажем кратко, держат знамя Ахада Ха’ама, была принята фантастически реакционная резолюция (правда, при жесточайшем сопротивлении, причём досталось по первое число социалистам — с которыми мы находимся в тяжёлом конфликте, поскольку мы ставим им в упрёк реакционную арабскую политику, за что на нас страшно обижаются), заткнувшая нам рот — впрочем, эта резолюция никогда не получит реального значения, разве что всякий немецкий антисемит теперь с успехом может на неё сослаться, если захочет потребовать “чистки” университетов от неугодных теоретиков. (Конгресс сионистов уж никак не является авторитетной инстанцией для университета.)

Что это за силы, которые ведут сионизм к краху, сказать можно, но не знаю, поймёшь ли ты меня: сионизм одержал победу над самим собой, упав замертво. Он предвосхитил свои победы в области духа и тем самым утратил силы одержать их в физиче-

ской сфере. Он выполнил функцию, притом с чудовищным усилием, *на которое он не рассчитывал. Мы победили слишком рано.* Наше существование, наше печальное бессмертие, бесповоротно стабилизировать которое собирался сионизм, вновь лишь временно — на два следующих поколения, но ужасной ценой. Ещё не достигнув воссоединения с жизнью страны и языка, мы потеряли силы на том поле, где не собирались сражаться. Когда сионизм побеждал в Берлине, т. е. с точки зрения нашей задачи — в пустом пространстве, победить в Иерусалиме он уже не мог. Требование, которое история поставила перед нами, уже давно удовлетворено — правда, мы этого не заметили, и оказывается, что историческая задача сионизма — совершенно иная, нежели та, что он ставил перед собой. Отчаяние побеждающего вот уже долгие годы является поистине демоном сионизма, который, может быть, — самый значительный всемирно-исторический пример той таинственной закономерности, с которой сказывается пропаганда (субстанция нашего поражения). Горы статей, в которых интеллигенция документировала нашу победу в сфере видимого ещё до того, как она была решена в области невидимого, а именно — в обновлении языка, представляют собой настоящую Стену Плача нового Сиона. Ибо речь теперь идёт не о том, чтобы спасти нас — утешением в несправедливой победе может быть только забвение, — а о том, чтобы прыгнуть в бездну, разверстую между нашей победой и действительностью.

В пустом увлечении призванием, ставшим публичным, мы сами накликали силы разрушения. Наша катастрофа началась не там, где призвание кормится от своей профанации, не там, где общность развивается в своей законной укромности, а там, где заманившая нас измена тайным благам стала позитивной стороной демонической пропаганды. Она разрушила зримость нашего дела. Встреча со Спящей красавицей состоялась при многочисленных платных зрителях вместо того, чтобы завершиться объятиями. Сионизм пренебрёг ночной темнотой и перенёс зачатие, которое должно было стать для него всем, на мировой рынок, где всюду светило солнце и где чувственность живого выродилась в проституирование последними остатками нашей юности. Это было не то место, которое мы искали, и не тот свет, от которого мы могли зажечься. Между Лондоном и Москвой по пути к Сиону мы заблудились в пустыне Аравии, и наша собственная *hybris*³⁴¹ отрезала нам путь, ведущий к народу. Нам остаётся лишь продуктивность погибающего, который узнаёт себя. В ней я погрёб себя на долгие годы. Ибо, в конечном счёте, где должно крыться чудо бессмертия, если не здесь? Засим вновь возвращаемся к Кафке!

Сердечный тебе привет, и прости меня за краткость в выражении столь бесконечной темы, и если ты уже не хочешь или не можешь отвечать, то пришли хотя бы почтовую открытку с твоим портретом и собственноручной подписью. Твой Герхард».

Вторая часть письма, в резкой немецкой формулировке, соответствовала мыслям, которые я в то же время

подробнее высказал в статье на иврите. Беньямин, которого это письмо очень взволновало, как показывает его (напечатанный) ответ, считал, что «разбираясь с этими вопросами, мы пришли бы к ошеломляющему взаимопониманию в других, лишь мнимо им чуждых вопросах, которые оставались открытыми с некоторых пор» [В. II. S. 540]. Эта надежда не сбылась да и не могла сбыться при моём отрицании теории классовой борьбы как ключа к пониманию истории. Гитлер также внёс свой вклад, чтобы сделать таковой ключ устаревшим — пусть пока в немногочисленных и маловажных частях. Но Беньямин сделал мне серьёзный комплимент: «Я считаю эти твои строки своего рода историческим документом». На мои тезисы о Кафке он прореагировал на удивление положительно и написал, что ему также приходили в эти годы мысли, близкие моим.

И действительно, незадолго до этого появился и доклад о Кафке, напечатанный лишь десять лет назад и проистекавший из долгих рассуждений, которые Беньямин тогда написал, применив к своим исследованиям метод Бахофена. Если Вальтер здесь также прибегал к иудейским категориям агады и галахи, на которые отчасти ссылался и я, то в разговорах, которые он в начале июня вёл в Ле Лаванду³⁴² с Брехтом, он был поражён его «совершенно позитивным отношением к творчеству Кафки» [В. II. S. 539]. Однако Брехт — как заметил Беньямин 6 июня 1931 года по поводу одного разговора — видел в Кафке «единственного настоящего большевистского писателя». Между такими полюсами в те годы — пока экзистенциалистские и психоаналитические толкования Кафки не вошли в моду — и про-

исходила дискуссия о Кафке, в той мере, в какой она входила в его кругозор.

Тем временем вышла статья Бенъямина о Краусе, и он известил меня об этом в сильно опоздавшей открытке, исписанной микроскопическим почерком и отправленной 8 июня из Ле Лаванду. Ещё в мае я обратил его внимание на очень сдержанное, чтобы не сказать — непонятное высказывание Крауса по этому поводу (в «Факеле», май 1931, стр. 52)*. Он писал мне об этом:

«Возможно, ты теперь в курсе дела больше меня — так как ко мне тот номер журнала, первое известие о котором принёс мне ты, ещё не пришёл... От суждения о том, что пишет Краус, воздержусь, пока не прочту — поскольку не знаю, насколько это соответствует той речи, которую он произнёс примерно 8 недель назад и о которой я, конечно, достаточно проинформирован, хотя и не слышал её. Как бы там ни было — от реакции Крауса неразумно было бы ожидать ничего, кроме того, что есть; надеюсь, что и моя реакция окажется в сфере разумно предсказуемого: а именно, я никогда больше о нём писать не буду.

Вот уже четыре недели, как я уехал из Берлина. Сначала я был со знакомыми в Жюан-ле-Пене, затем недолго в Санари³⁴³ и Марселе. Теперь — вероятно, до моего возвращения к концу месяца — я нахожусь в Ле Лаванду. Время не потеряно, так как здесь я могу заниматься разными делами на самых разных

* «Факел» был единственным не научным немецким журналом, который я выписывал после 1923 года.

“этажах”, начиная с занятий Кафкой и, прежде всего, с великолепного тома его наследия, до сотрудничества с [Вильгельмом] Шпейером, которое два года назад вызвало немалое удивление Эши. Впрочем, здесь не только Шпейер, но и Брехт с целым штабом друзей и с новыми проектами. Сейчас мы заняты предварительной работой над новой пьесой. Я поспособствую тому, чтобы к тебе сразу же после издания пришёл новый том “Опытов”, где содер­жится великолепная повесть в стихах для детей. То, что на твоё последнее письмо ответа пока нет, я знаю [это касается моего напечатанного письма от 6 мая]; для меня причина заключается в том, чтобы продолжение наших дебатов теснее связать с про­дукцией Брехта, которую я сейчас — по идеологи­ческим мотивам — привлекаю как свидетельство в мою защиту».

Конечно, тексты Брехта ничего не значили в продолжении наших дебатов, и хотя Беньямин многократно к ним возвращался, но так и не мог как следует объяснить, что это за два «идеологических» лица, конфлик­тующие друг с другом, которые он в одно и то же время обращал ко мне и к Брехту. Долгое время у меня были лишь неопределённые предчувствия того, что теперь мы знаем из жалоб Брехта в его «Рабочем журнале»³⁴⁴ о «мистике при настрое против мистики» и о вечных «иудаизмах» Беньямина: а именно, то, что меня столь привлекало в мышлении Беньямина и связывало с ним, было как раз тем элементом, который раздражал и должен был раздражать в нём Брехта. Кое-что в парадоксальности брехтовских сочинений, из которой при

34

Erik Steffie København Kronprinsessegade
 118 To Bortan
 Maja Steinhilf 7 Rue Armand Chantier
 Günther Stern 9 Rue Toulon Hotel Louffet
 Paris 7208
 Ernst Schorn Vale of Health Hampstead
 Heath London To Lea Steps
 Rudi Schurmer 31 Rue St Germaine Pantin 2240
 Toet Tellier Hotel Bisson Anvers 90
 34 Augustinus Pantin 4895
 Max Strauss Esplanade 9350 upmtr 3136
 Jean Pils 83 Rue Claude Bernard
 Eliane Simon Gobelins 2414
 Scholom Jerusalem Recharge 3 Rambouillet
 street 51

TU

VV

XY

34

прочтении первых тетрадей «Опытов» меня захватило лишь несколько вещей, я понял лишь в поездке в Европу в 1932 году, когда заехал в Берлин и зашёл на постановку «Трёхгрошовой оперы», где она вот уже два года шла при переполненных залах. Выражаясь по-берлински, что здесь, пожалуй, уместно: я обалдел, увидев, что публика, состоящая из граждан, утративших всякое ощущение собственной ситуации, встречается ликованием пьесу, где их высмеивают и оплёвывают самым последним образом. За три месяца до прихода Гитлера к власти это была подлинная прелюдия к грядущему для каждого, кто смотрел на происходящее со стороны. У меня не было иллюзий по поводу того факта, что значительная часть этих зрителей была евреями.

Совершенно по-иному доступный и особенно захватывающий аспект собственной продукции Беньямина открылся мне, начиная с осени 1931 года, с первых же строк извлечённых им на свет Божий и снабжённых великолепными краткими предисловиями «Писем», которые тогда начали выходить во «Франкфуртер цайтунг»³⁴⁵. Здесь я вновь встретился с автором, который был мне хорошо знаком, в неискажённом и незамаскированном виде, и при всей глубине светскости и простоты выражения выказывал зрелый ум и полную независимость. Я написал ему восторженное письмо, которое — как показал его (напечатанный) ответ — очень его обрадовало [В. II. S. 541 и далее].

Встреча Беньямина с сюрреализмом, пожалуй, подготовила почву для опытов с гашишем, которые он принимал вскоре после нашего расставания и своего

возвращения в Берлин и о которых он много писал мне в эти годы. Ещё в 1932 году он планировал книгу на эту тему, так и не написанную. Ибо он, конечно, не хотел довольствоваться протоколами и описаниями в том виде, как они дошли до нас, а стремился вникнуть в философскую релевантность восприятий в изменённом состоянии сознания, в которых он усматривал больше, чем просто галлюцинацию. Это было совершенно в духе его представления о подлинном опыте, о чём я уже говорил в одной из предыдущих глав. Из своих заметок на эту тему Вальтер послал мне лишь одну напечатанную и многократно просил меня соблюдать строжайшую тайну относительно экспериментов, которые он проводил с двумя врачами, д-ром Фрицем Френкелем и д-ром Эрнстом Йозелем. При этом он черпал особое вдохновение из присутствия Эрнста Блоха и одной знакомой, впоследствии покончившей жизнь самоубийством. В употреблении наркотика Бенъямин проявлял чрезвычайную осторожность и сказал мне, когда я спросил его об этом в Париже в 1938 году, что вот уже несколько лет полностью воздерживается от подобных опытов.

Беспокойство, которое на протяжении всех этих лет непрерывно гнало его в путешествия и достигло особенной кульминации при разрыве с Дорой, сменялось лишь кажущейся внешней гармонией, а временами и «внутренним покоем», о котором он не раз писал мне, переехав поздней осенью 1930 года на Принцрегентенштрассе, 66, в Вильмерсдорф. Он занял эту квартиру после художницы Евы Бой — псевдоним Евы

Хоммель, будущей супруги художника ван Хобокена, которая рассказывала мне о Беньямине спустя более чем тридцать лет в Асконе³⁴⁶. Сначала жильё в течение почти года обставлялось, а затем, под собственным руководством, заселялось, что он живо описал в одном письме как «заселение собственной квартир»³⁴⁷. Это была двухкомнатная квартира-студия, расположенная напротив квартиры его двоюродного брата Эгона Виссинга³⁴⁷, подниматься в которую надо было по узкой лестнице. В большом рабочем кабинете Беньямина нашли своё место две тысячи книг, до которых разрослась его библиотека; был там и *Angelus Novus*³⁴⁸. Это было в последний раз, когда ему удалось собрать всё вместе. По существу, почти половину времени проживания в этой квартире он провёл в путешествиях. В письме о своих новых жизненных обстоятельствах [В. II. S. 544–547] он попросил меня «как можно скорее» высказаться о пропагандировавшейся тогда в КППГ совершенно никчемной книге Отто Геллера «Закат еврейства»³⁴⁹, мнение о которой, столь же подробное, сколь и уничтожающее, я высказал с обратной почтой. Ибо с точки зрения облыжной и невежественной болтовни этого халтурщика, только наиболее разгильдяйский и вульгарнейший, какой-то разжиженный сионизм — не принимая во внимание того кризиса, о котором я говорил в приведённом выше письме несколько месяцев назад — выступал в качестве голоса истины и, прежде всего, выдавался за честный диагноз положению евреев.

В этом же письме я сообщал Вальтеру, что в середине марта 1932 года собираюсь ехать в длительное путешествие в Европу за рукописями и рассчитываю

встретить его. За пять лет, которые прошли после моей первой поездки в Европу, накопилось так много такого, чего письмами не выразишь; эти годы принесли и в жизни Вальтера столько разочарований, кризисов и новых поворотов, что нам необходимы были подробный диалог и дискуссия. Мне это было ясно.

То, о чём я не мог знать, было более критическим. Спустя две недели после ответа Вальтера на мою принципиальную атаку его материалистических позиций, но, пожалуй, не столько в связи с этой атакой, сколько из-за общей «усталости от борьбы на экономическом фронте» и ощущения того, что его жизнь дошла до исполнения его главных желаний, он (как свидетельствуют дневниковые записи начала мая 1931 года, сделанные в Жюан-ле-Пене близ Ниццы) почувствовал растущую готовность покончить жизнь самоубийством. Вальтер считал «три великих любовных переживания» его жизни — очевидно, с Дорой, Юлой и Асей — завершёнными. «Я познакомился с тремя разными женщинами в жизни и с тремя разными мужчинами в себе самом. Писать историю моей жизни означало бы описывать становление и гибель этих трёх мужчин, а также компромисс между ними». Беньямин написал также «Дневник с седьмого августа тысяча девятьсот тридцать первого года по день смерти»³⁵⁰, который начинается словами: «Очень длинным этот дневник быть не обещает. Сегодня пришёл отрицательный ответ от Киппенберга, и тем самым мой план приобретает всю ту актуальность, которой его может наделить только безвыходность. “Средство, столь же удобное, но чуть менее окончательное, я должен найти”, — сказал я се-

годня И. Надежда на это осталась очень небольшая. Если же решительность и даже спокойствие, с какими я сегодня продумываю это предприятие, могут ещё возрасти, то будет разумным провести последние дни или недели достойным человека образом. В предшествующие им дни я многое в этом отношении упустил. Не способный что-либо предпринять, я лежал на диване, часто к концу страницы впадая в столь глубокую рассеянность, что забывал её перевернуть; по большей части занятый своим планом, неминую ли он, приступить ли к его реализации здесь в студии или же в отеле». То, что эти намерения, которые работали в нём ещё год и требовали разрядки, принадлежали к вещам, которые он не допускал в письма ко мне, понятно, даже если он высказал их в доверительном разговоре с И., одной из тогдашних его подруг, — пожалуй, с Ингой Бухгольц.

Его письма того времени позволяют распознать как раз внутренний покой, а также невозмутимость во внешних трудностях, истинной причины этого я не мог провидеть, хотя она лежала на поверхности в упомянутых записях: он разобрался с собой и решил свести счёты с жизнью. При том, что в то лето Беньямин испытал необычайное удовлетворение от того, что Адорно, который тогда получил габилитацию как приват-доцент по философии во Франкфурте, как в своей габилитационной диссертации, так и во вступительной лекции продолжал мысли Вальтера, т. е. Беньямин нашёл своего рода ученика, по крайней мере, в эстетике. С Адорно он — не считая коротких посещений Франкфурта, с которыми ему помогал Эрнст Шён, давая задания для радио — вёл дружественную переписку, хотя

и не без трений. Ближайшим же другом Вальтера в эти предгитлеровские годы был Густав Глюк, моложавый директор иностранного отдела имперского кредитного общества — оба, Адорно и Глюк, были на 11 лет моложе его. Родившийся в Вене Глюк, который вышел из круга Карла Крауса и с которым Бенямин познакомился через Брехта, был человеком необычайно благородного характера, глубокой образованности, но при этом — что до некоторой степени необычно в таких кругах — у него отсутствовали литературные амбиции и он был совершенно свободен от тщеславия; именно такой образ навсегда отпечатался и в моей памяти, хотя я завёл с ним личные дружеские отношения лишь гораздо позднее. В одном письме той поры Бенямин сообщил мне, что Глюк («это следует понимать *cum grano salis*³⁵¹») послужил моделью для «Деструктивного характера»³⁵², одной из его самых выразительных коротких прозаических вещей.

Незадолго до моего отъезда в Рим Бенямин писал мне 28 февраля 1932 года:

«Ах, дорогой Герхард, сегодня я с ужасом заметил, что ты собираешься уезжать двенадцатого, а у меня твоё письмо пролежало почти два месяца. Может быть, ты бы чуть помедлил с отъездом. Это я сейчас диктую, чтобы оно вообще попало на бумагу... Почему я не писал — нужно говорить слишком длинно или слишком кратко, как почти всегда в таких случаях. А краткий и длинный вариант состоит в том, что в последние недели я пасовал перед писаниной, вернее, перед трудностями, с которыми мне, к сожа-

лению, приходится сталкиваться при письме. Не всё, что можно об этом сказать, годится для диктовки, но мы, я надеюсь, поговорим ещё в этом году. Моё единственное утешение при такой деятельности в десяти направлениях состоит в том, что я всё больше научаюсь беречь перо и руку для наиболее важных предметов, а всё текущее для радио и газеты набалтываю в фонограф. То, что при этом введения к письмам причисляются к написанным вещам, тебе подтвердят, как я надеюсь, и новые письма... Если бы в этой стране ещё можно было что-то продать, кроме статей по 25 или 50 пфеннигов, то книга, которую предполагают образовать эти письма, давно бы нашла издателя. А так я веду переговоры там и сям, не строя для себя никаких иллюзий. Иногда мне чудится, будто и за моей спиной возникает что-то в форме записей, которые я делаю при удобном — а чаще неудобном — случае несколько последних недель; эти записи касаются моей жизни в Берлине.

Если это письмо застанет тебя ещё в Палестине, пошли мне как можно скорее копию твоего письма к госпоже [Эдит] Розенцвейг. Взамен ты получишь, побывав у меня, два последних тома Брехта. В остальном всё моё существование я поставил на прижизненную или посмертную славу Брехта: недавно, после продолжавшихся два года интриг, мне удалось получить первое издание его “Домашних проповедей”, которое так и не попало в продажу и было выпущено тиражом только 25 экземпляров³⁵³.

Что это за две большие работы, о которых ты — из заносчивой скромности и скромной заносчиво-

сти — ничего не сообщаясь? И смею ли я надеяться, что получу гранки твоей статьи о каббале в энциклопедии?»

Здесь теперь начинается год Гёте, и я как один из двух-трёх людей, которые как-то разбираются в предмете, конечно, не получил никаких заказов. Не мог бы ты ради праздничного дня дать протрубить в иерихонскую трубу?

Планов я строить не могу. Если бы у меня были деньги, я бы удрал отсюда лучше сегодня, чем завтра, но когда представится случай [и] представится ли вообще, я не знаю.

Пиши поскорее и не игнорируй меня в Европе.

Сердечный привет. Твой Вальтер».

Из этого письма, которого не было в моём распоряжении при издании «Берлинской хроники»³⁵⁴, явствует, что в действительности предварительные наброски к тем статьям, которые он записал на Ибице и о существовании которых я в послесловии к ним (S. 125–126) рассуждал лишь гипотетически, возникли в январе-феврале 1932 года в Берлине.

Однако опасения Вальтера по поводу года Гёте не оправдались. «Меркантильная конъюнктура года Гёте» [В. II. S. 547] предоставила и ему возможность заработка, который позволил ему — по внезапному решению его старого знакомого Феликса Нёггера, открывшего тогда «таинственный угол» Ибицу³⁵⁵, — поехать туда.

7-го или 8 апреля Вальтер отплыл из Гамбурга на грузовом судне, с капитаном и командой которого он сдружился; через одиннадцать дней он попал в Барсе-

* В *Encyclopaedia Judaica*. Том IX. Стр. 630–732. Он получил препринт.

лону, а оттуда, на почтовом пароходе, на Ибицу. Там он оставался три месяца и жил, отказываясь от всякого комфорта, но в подходящей ему атмосфере и несусветно дёшево — менее чем за две марки в день! Другим Вальтер писал длинные письма об острове и житье на нём. При всём обилии работы в этих порой красивых письмах он казался отдохнувшим и лишь мягко намекал на полное уединение, в котором ему пришлось встречать свой сороковой день рождения, и на гложущие его медитации о себе и своей жизни — в ответ на моё подробное поздравительное письмо. О том, как сложно складывались его дела, я узнал лишь месяцы спустя.

Я тогда был в Риме и изучал в Ватикане каббалистические рукописи. Начались переговоры о возможных перспективах встречи. Окончательный провал этих планов оставил меня в тот год с тяжёлым сердцем и навёл на раздумья.

Пребывание на Ибице с самого начала было омрачено тем, что Беньямин с Нёггератом ещё в Берлине дали себя одурачить одному мошеннику, который сдал Нёггерату на Ибице не принадлежавший ему дом и снял квартиру Беньямина в Берлине — он её не только не оплачивал, что серьёзно осложняло финансовую ситуацию, но и посягнул на некоторые вещи. Разыскиваемый полицией аферист быстро исчез, но Беньямина долго терзала мысль, что «из-за цепи злосчастных конstellаций этот тип мог проникнуть в мой — вообще-то запертый — шкаф с рукописями. Поскольку он не только мошенник, но и раздолбай, я пребываю в тревоге из-за бумаг, которые представ-

ляют собой плоды трёх-четырёхлетней работы мысли и исследований — прежде всего для моей книги о пассажах — и содержат важнейшие — пусть не для других, но для меня — директивы. Надеюсь, что в кругу твоих друзей не с каждым вторым случается происшествие, как с Агноном [чья библиотека сгорела при пожаре в доме]. Итак, мы видим, что бедность — зло, а практические её последствия — частично от дьявола. Если бы я разделался с берлинскими неприятностями, то мог бы праздно подумать, не остаться ли здесь надолго или не вернуться ли сюда. Вряд ли где ещё я мог бы жить в сносных условиях за 70–80 марок в месяц, а то и дешевле, поскольку через пару дней перееду к Нёггератам, которые обустроили для себя ветхий крестьянский домик, в двадцати минутах от местечка [Сан-Антонио³⁵⁶], у самого леса и моря... С одной стороны, средства мои скудны, с другой, заповедь разума велит чтить отсутствием инаугурационные торжества Третьего рейха. Впрочем, насчёт их сроков вроде бы ничего не прояснилось. Хотел бы в связи с этим сделать маленькое замечание, которое пришло мне в голову недавно, но, как мне стало известно, уже проникло отсюда в Германию. Лучше тебе услышать его “из первых рук”, чем из вторых уст. Так вот: Третий рейх — это поезд, который отправится не раньше, чем в него сядут все пассажиры».

В своих первых письмах из Рима я впервые рассказал о Залмане Шокене³⁵⁷, одной из наиболее достойных фигур немецкого еврейства, который тогда — будучи владельцем большой сети универмагов в немецких го-

родах средней величины, высокообразованным самоучкой, страстно заинтересованным в еврейской духовности — задумывался об издательских планах, которые впоследствии, при Гитлере, приняли иную, но весьма плодотворную для евреев в Германии форму. Я хотел встретиться с Шокеном, интересовавшимся моими работами, осенью в Германии и при этом поговорить с ним о Беньямине как об одном из потенциально важнейших авторов, сотрудничеством с которым такому издательству следовало бы заручиться. В уже цитированном письме (от начала мая) Беньямин писал: «Если бы ты видел возможность заполучить упомянутого Шокена для этой книги [собрание писем, для которого Вальтер не мог найти издателя] или для моих трудов в целом, это было бы, конечно, очень важно. Исхожу из того, что эта инициатива сделает тебе больше чести, нежели твоя первая инициатива. О, в каком же я долгу перед тобой!».

Он тогда с воодушевлением читал автобиографию Троцкого и его историю русской Февральской революции. Но в то же время он пишет: «Сначала я закончу серию “Историй с Ибицы”³⁵⁸, сборник, если даже и ни на что не годный, то хотя бы очищенный от всевозможных впечатлений и построений, связанных с путешествиями. И тотчас же займусь давешними короткими теньями; может, ты помнишь, что под этим названием я когда-то опубликовал несколько продолжений “Улицы с односторонним движением”³⁵⁹... Конечно, я не упускаю возможности почитать кое-что из того, что в Берлине мне недоступно из-за нехватки времени. Во второй раз прочёл необыкновенно восхитительную

*Chartreuse de Parme*³⁶⁰, сейчас застрял на “Штехлине” Фонтане, перечитывать которого в Средиземноморье равносильно рафинированию и без того основательного комфорта, который даёт этот автор. Сколько бы удовольствия он мне ни доставлял, я всё-таки могу понять, как люди его не переносят; да, порой я наслаждаюсь негодованием воображаемых читателей».

В мае я предложил ему, чтобы мы встретились в июне в Парме, где мне предстояло несколько недель заниматься в библиотеке, которая, чтобы не перетрудиться, закрывалась в четыре часа пополудни. Таким образом, мы не только располагали бы послеполуденным временем и вечерами, но и смогли бы отпраздновать сороковой день рождения Бенъямина. Он, однако, отказался, хотя я не мог судить, действительно ли сыграли роль финансовые причины. Он писал:

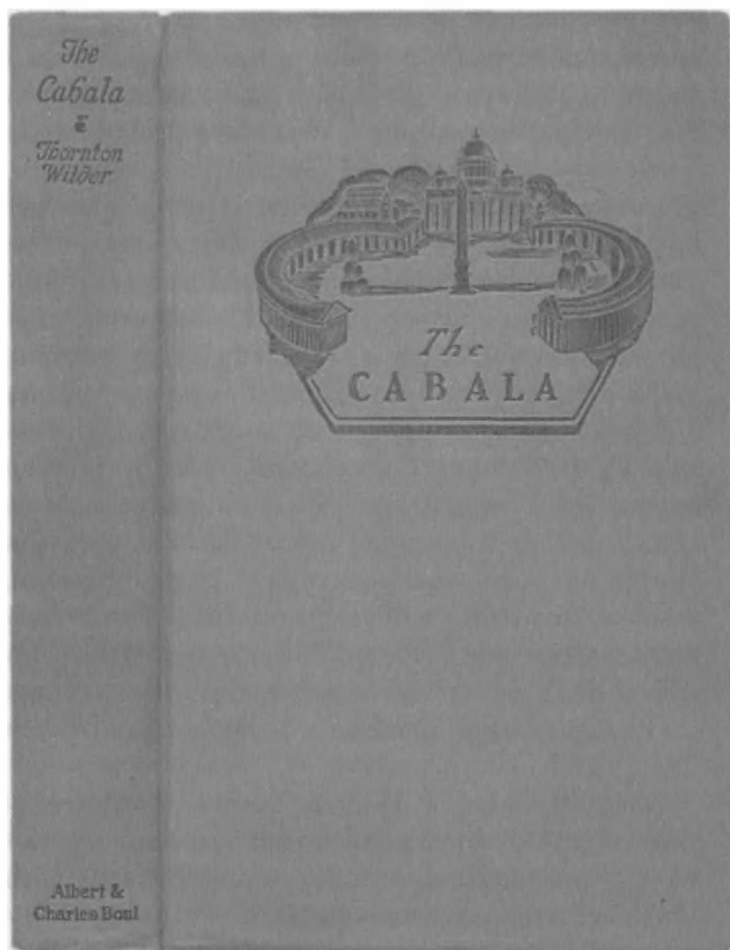
«И снова возвращаюсь к самому неотложному вопросу: чем позднее произойдёт встреча, тем легче мне будет её запланировать. Провести несколько недель в Парме вместе было бы чрезвычайно заманчиво, но как я могу обеспечивать их финансово? Я живу здесь — без комфорта в общепринятом смысле, но не без приятности — на полторы марки в день. Такова моя “плата за пансион” у Нёггера-тов. Для встречи был бы возможен либо конец августа — начало сентября в Берлине, либо середина июля на итальянско-французской границе — скажем, в Ментоне³⁶¹ — что было бы куда реальнее и сулило бы нам гораздо больше. А что, если бы ты поехал немного окольным путём — не через Бреннер³⁶², а через Лёчберг³⁶³, тогда поехал бы в Берлин

прямым вагоном от Вентимильи³⁶⁴. Этот путь, пожалуй, можно было бы сочетать и с Мюнхеном. Для тебя это был бы вариант поездки, за который ты мог бы взять ответственность, учитывая важность нашей встречи».

Но и с Ментоной ничего не получилось; казалось, что-то всегда вставало между нами. Я не мог знать, что в это решающее время в жизни Беньямина наступил внезапный кризис. Он перенёс нашу встречу в Берлин, «как ни велика была всегда моя склонность держаться оттуда подальше. Однако насколько больше были бы шансы нашего совместного пребывания здесь, на Юге, и что бы мы здесь только не обсудили! Не говоря уже о том, что мои *catholica*³⁶⁵ находились бы в Ментоне в безопасности от тебя». Поскольку я писал ему, что открыл в своей библиотеке отделение католической теологии. Он же имел в виду, что у него есть какие-то книги, «которые я лишь с неохотой могу предоставить твоему пресловутому сладострастию» [В. II. S. 553]. «Университет Мури, — писал он 25 июня, — пусть теперь задумается, как выпутаться из этой аферы [с его предстоящим днём рождения]. Строго между нами, я хочу надеяться, что он покажет себя более неуступчиво, чем газеты и мои друзья, которые легко пойдут навстречу моему желанию не делать из этого дня шума». Он намекал на то, что думает провести этот день в Ницце «с одним гротескным парнем», которого уже часто встречал на путях и перепутьях и «которого я приглашу на стакан праздничного вина, если мне не будет предпочтительнее одиночество». Тогда я тщетно гадал, к кому относится этот намёк. И по сей день

я не могу с определённой уверенностью сказать, не был ли тот гротескный парень³⁶⁶ смертью, а стакан праздничного вина — чашей цикуты, если он уже тогда возобновил свои планы самоубийства. В остальном его письма ни о чём таком не говорили. В том же письме он в приподнятом настроении «проболтался», что «в прошлом году я был близок к тому, чтобы написать книгу о Гёте, написать которую мне поручило издательство “Инзель”, если бы... [так в рукописи!]. Боюсь, что я потерял план к ней, однако мог бы сообщить достаточно, чтобы вызвать удивление преподавательского состава в Мури — особенно профессоров каббалистики и еврейской философии Средневековья. Ибо ты должен уяснить себе, что твоя карьера в земном мире является лишь точным зеркальным отражением — выражаясь по-марксистски — твоей карьеры в Мури. Впрочем, известен ли тебе как каббалисту роман “Каббала” американца Торнтона Уайлдера³⁶⁷? На днях я прочёл его второй раз и должен сказать, что он заслуживает твоего прочтения из-за последних 6 страниц (всего в нём 280)».

Планы Вальтера на июль изменились, о чём свидетельствовали отправленные ко мне письма и открытки — и изменились на долгий срок, что лишь отчасти объясняется предложением Вильгельма Шпейера о совместной работе в Поверомо (под Марина ди Масса)³⁶⁸. В душе Бенъямина тогда развёртывались разнообразные и противоречивые процессы. Он работал с большой интенсивностью, много читал и делал записи, не предназначенные непосредственно для печати. Ввиду своего сорокового дня рождения Бенъямин написал —



Обложка романа Торнтона Уайлдера «Каббала» (NY: Albert & Charles Boni, 1926)

как воспоминания о Юле Кон — автобиографическое сочинение «На солнце»*, где в прямо-таки мистическом абзаце мы слышим примечательное эхо предисловия Бубера к книге «Даниил, разговоры об осуществлении»³⁶⁹, которую много лет назад он воспринял критически, но из которой неосознанно запомнил фразу Бубера о его встрече с ясеневым стволом. На стихотворный характер этого абзаца указывал Д. Тиркопф**, который считает его уникальным для Бенъямин явлением — хотя такие стихи в прозе многократно встречаются у него в патетических местах, особенно в книге о барочной драме, что мне уже много лет назад бросалось в глаза тем более, что Бенъямин в одном месте недвусмысленно высказывается против такой прозы.

Свой сороковой день рождения Бенъямин — когда я всё ещё надеялся на встречу с ним в Милане — провёл, отказавшись от прежних договорённостей, на Иббце, где незадолго до этого познакомился с Жаном Сельцем³⁷⁰ и его женой, вызывавшими его симпатию. Как из всех этих внутренних и внешних событий — было ли оно давно обдуманно и подготовлено или решено внезапно — дело дошло до прошлогодних планов покончить жизнь самоубийством в Ницце (в отеле «Пти Парк»³⁷¹), остаётся столь же большой загадкой, как и то, почему после тщательной подготовки он внезапно отказался от своего замысла. Насколько я знаю, об этом он не говорил никогда и ни с кем. То был кульминацион-

* Теперь в: *Gesammelte Schriften*, IV. S. 417–420, а также примечание, S. 1004.

**В: *Text und Kritik*, Heft 31/32, 1971. S. 15, 18.

ный пункт его жизни, внезапно разразившийся и столь же внезапно преодоленный лихорадочный кризис. В свете этого знания, которого тогда у меня не было, длинное письмо, написанное мне 26 июня из Ниццы и в котором он многозначительными фразами вдавался в подробности моего письма к его дню рождения [В. II. S. 555 и далее], приобретает вдвойне загадочный и даже жуткий характер. Зашифрованный намёк на то, что происходило в его душе, связывался в последнем абзаце с приветом, который я должен был передать Эрнсту Шёну во Франкфурте, и с его советом — сформулированным в его манере косвенно — завязать там знакомство с Адорно, который «в прошлом семестре провёл семинар по книге о барочной драме». Глубоко пессимистичный настрой предыдущего, определяющего абзаца соответствует мрачному тону его констатаций. Шансы на исполнение моих пожеланий ко дню рождения — как нельзя хуже. «Нам обоим приличествует... посмотреть ситуации в глаза». И это он делает «с серьёзностью, которая граничит с безнадёжностью». Вальтер говорил о распаде, по-прежнему угрожающем его мышлению, и о «победах в малом» в некоторых его работах, которым, однако, соответствуют «поражения в большом». Отсюда оставался всего шаг до того прощального письма, которое он написал к Эгону Виссингу вместе с завещанием на следующий день и где он обосновывал свою решимость умереть в упомянутой комнате отеля безнадёжностью своего положения.

Я воспроизвожу здесь часть его завещания, касающуюся наших отношений и написанную в полном доверии ко мне, которая и образует его первый абзац.

Я нашёл это завещание в 1966 году в Центральном архиве ГДР в Потсдаме и цитирую его по фотокопии из архива сына Стефана:

«Всё моё рукописное наследие, включая мои и чужие рукописи, — должно перейти к д-ру Герхарду Шолему, Иерусалим, Абиссиниан роуд. В моём наследии содержатся, кроме моих собственных работ, прежде всего, сочинения братьев Фрица и Вольфа Хейнле. Моей воле отвечало бы, если бы их наследие хранилось в иерусалимской университетской библиотеке или в прусской государственной библиотеке. При этом речь идёт не только о собственных рукописях братьев Хейнле, но и о моих отредактированных списках их работ. Что касается моих собственных работ, то моей воле отвечало бы, если бы некоторые из них нашли себе место в университетской библиотеке Иерусалима. Если д-р Герхард Шолем составит и издаст сборник моих работ — частью из наследия, частью из того, что было издано при моей жизни, — то моей воле отвечало бы, если бы определённую долю чистой прибыли от этого издания — примерно 40–60% после вычета его издержек — он передал моему сыну Стефану».

В прилагаемом прощальном письме к своему двоюродному брату и соседу д-ру Виссингу, которому Вальтер поручил исполнение завещания, он объявил о своём плане «из-за глубокой усталости» покончить жизнь самоубийством не как о «несомненном», но «вероятном». Он поручил Виссингу ещё раз передать мне «во владение» всё рукописное наследие. «Я вверяю Герхарду

Шолему все права, каких потребует возможное издание моих сочинений». Он также писал: «Было бы замечательно, если бы отделение рукописей библиотеки Иерусалимского университета приняло из рук двух евреев — Шолема и моих — наследие двух неевреев». Отдельно от завещания и прощального письма были написаны три коротких и очень искренних обращения к Эрнсту Шёну, Францу Хесселю и Юле Радт, которой он писал: «Ты знаешь, что я тебя очень любил. И даже когда я собираюсь умирать, жизнь моя не располагает более ценными дарами, чем те, что привнесли в неё мгновения страданий по тебе. На этом и кончаю. Твой Вальтер».

Эти письма и указания Беньямин сохранил среди своих бумаг и не уничтожил, когда воля к жизни в последний момент возобладала. Вскоре он намекнул мне на эти распоряжения в одном из писем.

Во всех этих решениях — что понятно из небольшого интереса Беньямина к актуальным политическим событиям — ещё не сыграл роли «холодный» государственный переворот, произошедший как раз за неделю до этого, 20 июня, в результате которого рейхсканцлер фон Папен отправил прусское правительство в отставку, из-за чего над положением Беньямина со всей серьёзностью нависла угроза нищеты. Уже в ближайшие месяцы лишились должностей левые директора и режиссёры в Берлине и Франкфурте, которые давали Вальтеру хорошо оплачиваемые заказы на радио. Зато пару недель спустя я услышал от Эрнста Шёна во Франкфурте и от Доры в Берлине, что Вальтер проводит на Ибике время с некоей женщиной. То была

привлекательная и бойкая Ольга Парем, проживавшая в Германии русская, которую друзья называли Олей; он познакомился с ней в 1928 году через Хесселя, и четыре года они были очень дружны. (Она сыграла роль и в бракоразводном процессе и очень живо рассказывала мне, как её допрашивал судья и как она старалась повернуть дело к выгоде Вальтера, чтобы спасти его собрание детских книг, которым он очень дорожил и выдачи которого — и притом успешно — требовала Дора.) В Беньямине её привлекали ум и шарм. «У него был волшебный смех; когда он смеялся, раскрывался целый мир», — говорила мне Оля. Она посещала его на Ибнице, где также жила у Нёггерата. По её рассказам, это было прекрасное время. Вальтер в эти годы влюблялся во многих женщин, у него и в Барселоне была «красавица-подруга», разведённая жена берлинского врача. Точно не знаю, но и не исключаю, что на его решение, оставшееся в последний момент неисполненным, повлияло и разочарование после того, как Оля Парем ответила отказом на его неожиданное брачное предложение, сделанное в середине июня. Она рассказывала мне, что Вальтер так обиделся, что больше никогда не спрашивал о ней у Филиппа Шея, за которого она позднее вышла замуж, хотя тот вращался в том же кругу Брехта, и с которым Беньямин ещё долго после этого встречался в Париже.

Наше свидание так и не состоялось, потому что с начала августа Вальтер три месяца провёл с Вильгельмом Шпейером в Поверомо, откуда писал мне необыкновенно часто, как будто хотел тем самым возместить провал наших планов. Через четыре недели после того

кризиса в Ницце Вальтер написал мне на открытке: «Судя по всему, твоя поездка в Европу [сделает] тебя на сей раз свидетелем тяжелейшего кризиса, постигшего меня. Если, конечно, ещё будет на что посмотреть; сижу тут с чёрными мыслями, даже не пытаюсь уладить хоть что-то и заплатить по счетам — из-за событий на берлинском радио, на гонорары от которого я рассчитывал... Ещё раз подумай обо всём, что меня касается. Это необходимо». То были несомненные сигналы тревоги, перед которыми я был беспомощен. Я настоятельно просил Вальтера приехать в Берлин хотя бы в октябре. 26 сентября он писал мне туда:

«Дорогой Герхард, ты представить себе не можешь, как меня убивает перспектива вообще не увидеть тебя. Увы, нам приходится считаться с этой возможностью. Ситуация совсем простая: поездку за свой счёт я не могу себе позволить, но полагаюсь на Шпейера, который прихватит меня в свой автомобиль, когда поедет назад сам... вряд ли до конца октября. Это зависит от пьесы, над которой мы с ним здесь работаем^{*}; так что мы многого ждём от этого октября... Я использую это положение — при всём его убожестве, в нём остаётся много достохвально-го, — чтобы разрешить себе неслыханную роскошь впервые с незапамятного времени сосредоточиться на одной-единственной работе. Ибо только что упомянутая, общая со Шпейером, требует от меня лишь консультативных задач и служит мне пленительным отдыхом от моей собственной. А собственная у меня всего одна, и пишу я её целый день, а то и но-

* Речь идёт о какой-то детективной пьесе.

чами. Если тебе из этого видится объёмистый манускрипт, ты ошибаешься. Это не только нечто малое, но ещё и фрагментарное: форма, к которой меня подталкивает, во-первых, материально нестабильный и сомнительный характер моего производства, во-вторых, оглядка на его рыночную реализуемость. Но в данном случае мне кажется, что этой формы безусловно требует и сам предмет. Короче говоря, речь идёт о серии заметок, которым я дам заглавие “Берлинское детство на рубеже веков”³⁷². Тебе я приведу и девиз: “О поджаристая колонна Победы³⁷³, / Посыпанная зимним сахаром детства!”. Откуда взялся этот стих — надеюсь как-нибудь рассказать тебе*. Бóльшая часть работы уже готова и могла бы немного спустя очень благоприятно повлиять на моё материальное положение, если бы вследствие совершенно необъяснимых обстоятельств, насчёт которых я до сих пор не в курсе, не прервались мои отношения с “Франкфуртер цайтунг”. Но я всё же надеюсь, что эти детские воспоминания — ты заметишь, что написаны они не в хронологическом порядке, а представляют собой отдельные вылазки в глубину воспоминаний — выйдут в свет книгой, может быть, у Роволята... Обязательно дай мне знать точную дату твоего отъезда из Берлина. Напиши мне, как тебе показался Стефан. И ещё просьба — пусть изложенные в этом письме факты останутся между нами. В особенности я пока что не хочу, чтобы кто-нибудь в Берлине узнал о новой книге».

* Как я впоследствии обнаружил, он записал его как эхо опьянения от гашиша, как своего рода сюрреалистическое стихотворение.

Таким образом, всего три месяца — правда, критических — разделяют «Берлинскую хронику», написанную на Иббисе, и «Берлинское детство», направляемое новой, уже не чисто автобиографической, а поэтико-философской концепцией и внёсшее новую ноту в его труды.

В конце октября мне пришлось вернуться в Иерусалим, а Вальтер приехал в Берлин лишь в середине ноября. Между тем, хотя я неоднократно встречался во Франкфурте с Эрнстом Шёном и его женой, не пользовавшейся особенной симпатией Беньямина, которые много рассказывали мне о приездах Вальтера, какая-то странная боязнь удерживала меня от встречи с Адорно, которая тогда, так сказать, назрела и которой Адорно, пожалуй, тоже ожидал. Я написал об этом Вальтеру. Он ответил мне, что мои сдержанные замечания об Адорно не смогли помешать ему рекомендовать мне его первую, только что вышедшую книгу о Кьеркегоре³⁷⁴. «Впрочем, случай с этим автором настолько сложен, что он не поддаётся описанию. Если же я сообщу тебе, что уже во втором семестре, в продолжение предыдущего, он ведёт семинар по книге о барочной драме, никого не известив об этом в расписании, то перед тобой окажется небольшая миниатюра, которая могла бы до поры до времени сослужить свою службу. Независимо от этого ты безусловно должен принять его книгу к сведению». В Берлине я встретился с Дорой, которую нашёл очень изменившейся, а также, благодаря посредничеству общего друга, и с родственником Вальтера — Гюнтером Штерном (впоследствии Андерсом³⁷⁵)

BEITRÄGE ZUR
PHILOSOPHIE UND IHRER GESCHICHTE

2

KIERKEGAARD

Konstruktion des Ästhetischen

von

Theodor Wiesengrund-Adorno



VERLAG VON J. C. B. MOHR (PAUL SIEBECK)
TÜBINGEN 1933

Обложка книги Теодора Адорно «Кьеркегор — создание эстетического» (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1933)

и его женой Ханной Арендт, для которой — что было тогда, разумеется, редкостью — Беньямин уже представлял собой важную духовную инстанцию.

25 октября Вальтер написал мне в Иерусалим о своём положении то, что ещё раз варьировало вышеизложенное: его работы-де «теперь в Германии подверглись бойкоту, организованному так, будто я какой-то мелкий еврейский торговец одеждой в Нойштеттине³⁷⁶». «Франкфуртер цайтунг», дескать, вот уже четыре месяца оставляет без ответа его письма и не печатает его рукописи. «Письмо, в котором редакция “Литературного мира” извещает меня, что сейчас не нуждается в моём сотрудничестве, я оставляю для отдела рукописей Иерусалимской библиотеки, которая быстро схватится за него, коль речь идёт о диспозициях немецкого фатерлянда», — смутный намёк на распоряжения из его написанного два месяца назад завещания. В том же письме он горячо рекомендовал мне две книги: «Это “История большевизма” [Артура] Розенберга³⁷⁷, вышедшая у Ровольта, которой я обязан многими ценными сведениями. Вторая представляет собой небольшое исследование по философии языка, которое — несмотря на полное отсутствие теоретической обоснованности — всё же даёт много материала к размышлению. Она написана *bis dato*³⁷⁸ ничем не примечательным литератором Рудольфом Леонхардом и называется “Слово”³⁷⁹. Речь при этом идёт об оноματοпоэтической теории слова, проиллюстрированной на примерах». Рекомендация относительно Розенберга запоздала, так как с этим автором, близким другом моего брата Вернера и историком античности из Берлинского универ-

ситета, я уже был знаком, и мы обменялись нашими последними работами: его книгой о большевизме и моей большой статьёй «Каббала», в которой Розенбергу очень понравились места о диалектике Исаака Лурии, одного из величайших знатоков каббалы. Своей присланной мне книге он предпослал слова посвящения: «От Лурии до Ленина!».

Последнее в том году письмо Вальтера, за которым последовала посылка рукописи «Берлинского детства» с просьбой высказать моё мнение, могло быть в сложившихся обстоятельствах лишь глубоко пессимистичным. «Тебе достаточно вспомнить о факте, что “интеллектуалы” среди наших “единоверцев” готовы первыми принести утнетателям массовые жертвы из собственного жизненного круга, лишь бы их самих пощадили — чтобы знать, что может случиться с тем, кому приходится иметь дело с такими интеллектуалами, будь то редакторы или хозяева прессы... Благодаря перенесению моей деятельности на французские темы было бы надёжнее избежать столкновения с ним [с “наихудшим”]. При всём моём чутье к материи этой языковой жизни, местоположение, из которого я смотрю на вещи, слишком продвинулось вперёд и не может оттуда попасть в поле зрения публики. В Италии я задумался над этим вопросом не впервые. Результат всегда был одинаковым». Спустя месяц его пессимизм уступил оптимистическому, хотя и очень умеренному, настрою, и он сообщил, что начал сотрудничать у Хоркхаймера в «Журнале социальных исследований». Если учесть, что в это время он не только углублялся в две мои иудейские публикации, но и участвовал

в подготовке — впоследствии не состоявшейся — радиопьесы о спиритизме, где рассмотрел литературу этого «тонкого, как паутина, тайного знания», то можно, пожалуй, составить представление о поляризации его тогдашнего крутозора — за две недели до прихода Гитлера к власти. Ибо к этому сообщению Вальтер добавил, что он «смастерил, сидя в засаде и при тайном удовольствии от этих вещей [спиритизма], одну теорию, которую предполагаю изложить тебе как-нибудь отдалённым вечером за бутылкой бургундского». Об отныне закрытой серии его «бесчисленных» докладов по радио, тексты которых я просил у него для моего архива и которые сохранились в Восточном Берлине, он уничижительно писал в последнем письме из Германии, что они «не представляют ни малейшего интереса, кроме исчерпанного экономического».

На самом деле было большой бедой, что мы тогда не смогли выговориться друг перед другом. Насколько я его знал, я исхожу из того, что внутренние препятствия и неопределённости больше виноваты в том, что встреча не состоялась, чем внешние причины, которые обрисовались, а то и возникали лишь благодаря этим препятствиям. Физическая разлука между нами в долгие годы до 1938-го, несомненно, имела двоякий эффект. В одном смысле она повышала интенсивность письменного общения, которое оставалось живым на протяжении длительного времени. Я был очень далеко; то, что Вальтер говорил мне, я держал при себе, и в письмах, где он часто сообщал о своих внутренних и внешних событиях, звучит чувство доверия. Но

в другом смысле факт его развития в новую сторону всё-таки усилил чувство отдаления. Было много вещей, о которых в письмах не скажешь — таков уж был Бенъямин, — и с годами их становилось всё больше. Вместе с тем мы не искали конфликта, но это значило, что количество тем, которых мы избегали, увеличивалось из-за молчания. И слишком многое из того, что могло бы проясниться в дружеском разговоре с глазу на глаз, осталось в «подвешенном» состоянии. От этого пострадали последующие пять лет. Оставалось невысказанным то, что не было предназначено для писем и — как всё невысказанное — было опасным.

ГОДЫ ЭМИГРАЦИИ (1933–1940)

Если я сравнительно сжато охватываю этот долгий период, за который встречался с Бенямином лишь однажды, в феврале 1938 года в Париже, проведя с ним несколько дней, причина тому — особое положение дел. От этих лет сохранились не только его письма ко мне, по большей части неопубликованные, но и (чего я не мог знать при отборе писем для печати) все мои письма к нему. Большинство его личных бумаг — прежде всего, письма к нему, начиная с 1933 года, — считалось утраченным: ведь если они — что было в высшей степени вероятно — попали в руки гестапо, то были уничтожены со всеми гестаповскими документами на основании февральского постановления 1945 года, о котором я узнал от заместителя директора Центрального архива ГДР. То, что бумаги Бенямина, попав в руки гестапо в Париже в 1940 году, сохранились, объясняется необычайными обстоятельствами, за которые следует благодарить случай. Я просмотрел эти бумаги, состоявшие в основном из адресованной ему корреспонденции, в упомянутом потсдамском архиве в октябре 1966 года, куда его обходительные служащие обеспечили мне тогда доступ, и при этом нашёл свои собственные письма тех лет. Мне обещали

прислать фотокопии этих и других писем. Но потом, в 1967 году, явно по указке сверху, мне ничего не прислали. Чего добились для себя компетентные органы таким отказом в использовании документов, авторское право на которые принадлежит мне, для меня столь же непонятно, как и отсутствие объяснения причин. Если бы этот материал был доступен, существовала бы полная документация о наших отношениях в те годы, и она могла занять целую книгу. Поскольку же этот первостепенный источник существует, но его держат под замком и тем самым остаются невыясненными также и многие намёки в письмах Бенямина ко мне, я не могу решиться входить в подробности того, что может стать понятным только благодаря письмам. На руках у меня остались лишь наброски или списки некоторых фрагментов этих писем. Я удовольствуюсь беглым обзором этих лет, который принимает более отчётливую форму лишь благодаря рассказу о моей поездке в Париж, ярко сохранившейся во мне, в связи с усилиями, связанными с этой поездкой³⁸⁰.

При новом правительстве Бенямин оставался в Германии лишь до середины марта. Моя подруга Китти Маркс, посетившая его по моему поручению в начале марта перед своим отъездом в Палестину, была поражена спокойствием, с каким он воспринимал ситуацию. Эта безметежность, однако, сильнее проявлялась в его поведении с другими людьми, нежели в его корреспонденции, свидетельствующей о тревоге, которая — что вполне понятно — терзала его. За несколько дней до визита Китти он написал мне: «Та малость хладнокровия, с каким приняли новый режим в близком мне кругу,

быстро израсходовалась, и теперь люди отдают себе отчёт, что этим воздухом вряд ли можно дышать» [В. II. S. 562]. Но даже с таким настроением в письмах примечательно отсутствие паники, обуявшей тогда многих. Вероятно, это связано с тем, что в июле 1932 года Беньямин заглянул в глаза смерти и его больше не ужасали подобные перспективы. В письмах тех лет ко мне он лишь однажды сделал недвусмысленный намёк на то, что при известных обстоятельствах мог бы покончить с собой, причём не по «внутренним», а по сугубо финансовым факторам. Во всяком случае, читалось это так.

Беньямин покинул Германию примерно 18 марта 1933 года и после более чем двухнедельного промежуточного пребывания в Париже вновь отправился на Ибицу, где оставался почти полгода. В это время он писал мне необычно много и длинно. Его друзья — Альфред и Грета Кон — находились в это время в Барселоне, а жизнь на острове всё ещё привлекала его, хотя атмосфера у Нёггератов, где он поначалу жил, изменилась и вскоре привела к разрыву ослабевшей связи. Лишь слегка просветляли его жизнь супружеская чета Сельцев, с которыми Беньямин работал над французским переводом «Берлинского детства», и ожидавшийся визит Инги Бухгольц.

Вальтер очень много работал. О его внутренней ситуации в эти месяцы, когда у него было достаточно поводов для подведения итогов, красноречиво свидетельствует его очерк «Агесилай Сантандер»³⁸¹, который я подробно обсуждал в другом месте*. Его главную ра-

* *Walter Benjamin und sein Engel // Zur Aktualität Walter Benjamins.* Hrsg. Siegfried Unseld. Ffm, 1972. S. 87–138.



Ибица, бухта Сан-Антонио, 1933 г.
Жан Сельц (слева), Поль Гоген (внук художника),
Вальтер Беньямин и рыбак Томас Варо (в шляпе)



Вальтер Беньямин. Пальма-де-Майорка, 1933 г.
Архив Академии искусств, Берлин

боту тогда составляла та первая статья о социальном положении французского писателя, которую заказал ему Институт социальных исследований и которая заняла первую половину года. Сколь бы тесно он ни связывал себя с работой этого института, смиряясь с дополнительными нагрузками, первое же его доверительное высказывание на этот счёт не скрывало сдержанности его отношения. В первом письме с Ибицы Бенъямин писал: «Эта статья, по сути, чистое мошенничество, приобретает некую магическую маску лишь благодаря тому, что мне приходится писать её почти без всякой литературы, — в Женеве-то [местопребывание Института] её смело можно носить, но перед тобой я её сниму». Уже часто бывало с литературными заказами Института, что темы мало радовали Бенъямина, но готовый текст всё-таки приносил ему удовлетворение, какого нельзя было ожидать при его первоначальных сетованиях. Упомянутая статья была «отвоёвана с кровью» в сложнейших условиях. «Что-либо неуязвимое здесь сделать невозможно. Однако я полагаю, что — несмотря на это — мы получаем представление о таких связях в этом деле, которые до сих пор распознать было не так просто». Когда год спустя статья вышла, она привела к письменной дискуссии между нами, которая по тону была умеренной, а по сути — довольно острой с обеих сторон.

Между тем, друзья Бенъямина в земле Израиля обдумывали, как бы переправить его туда на длительное время. Вальтер реагировал на это, а также на приглашения — например, Китти Штейншнейдер приглашала его в Реховот³⁸², где она тогда жила с мужем — в прин-

ципе, всегда положительно, но в конкретных случаях всегда находил причины удержаться или отложить поездку. Аналогичная ситуация повторилась в 1935 году, так и не дойдя до ощутимых шагов.

Когда в 1933 году Беньямин вернулся в Париж, он был там в тяжёлой экономической ситуации, а при попытках её улучшить лишь отчётливее осознавал её унижительные аспекты. Нельзя забывать, что в этой ситуации предложение Института предоставить ему прожиточный минимум за работу должно было служить чем-то вроде спасительного якоря, а ориентация на работы, к которым побуждал его Институт, была жизненной необходимостью. Не надо упускать из виду, что стало бы с ним в Париже без помощи, которую оказывали ему Фридрих Поллок и Макс Хоркхаймер — несомненно, направляемые тем, что Адорно понимал ситуацию Беньямина и его уникальность.

Здесь также удивительным образом сохранялась та сила духовной концентрации, о которой я говорил ещё при описании предыдущих кризисных ситуаций. То, что как раз в это время, наряду с работами для Института, Беньямин вернулся к размышлениям о Кафке³⁸³, которые буквально лежали поперёк упомянутых работ, доказывает, насколько важны для него были эти соображения. Сколь бы явно его мысли — в том виде, как он их выражал — ни были включены в новую систему координат, он ещё оставался, по существу, расположен к такому ходу рассуждений, в каком эта система не могла иметь ни малейшего значения. Нигде это не проявилось отчётливее, чем в мыслях по философии языка в широком смысле и в тех соображениях о Кафке, где

его «лик Януса», как он охотно его называл, приобретал явные контуры. Одну сторону здесь образовывал Брехт, другую — я, и Бенъямин не делал из этого тайны передо мной. Он пытался, что я думаю о Кафке, и мои мысли были диаметрально противоположны мыслям Брехта, которые Вальтер записывал из его уст. В мае 1934 года он писал мне: «Твои особенные, происходящие из иудаистских взглядов воззрения на Кафку [имели бы] для меня при этом предприятии колоссальное — чтобы не сказать незаменимое — значение». Не иначе дело обстояло и в философии языка, хотя здесь ему было легче представить свои мысли со стороны социологии языка. При возобновлении работы о пассажирах, к которой Институт социальных исследований проявил в 1934–1935 годах позитивный интерес, поначалу прямо-таки ошеломивший Вальтера, лингвофилософские тенденции явно отступили на задний план по отношению к историко-философским.

Сколь бы часто и подробно Бенъямин ни высказывался в письмах о своих работах и их продвижении, от меня оставался скрытым один важный момент личного характера, входить в детали которого он, пожалуй, осознанно избегал, хотя — как мне стало ясно лишь при поездке в Париж — он играл важную роль в его трудах. Этим моментом было напряжение, скажем так, отсутствие симпатии между Брехтом и группой, сложившейся вокруг Института, и это напряжение доставляло Бенъямину много неприятностей. Поскольку его контакты с обеими сторонами в эмиграции стали теснее, а в парижские годы он трижды по месяцу жил летом у Брехта в Свендборге³⁸⁴, диалектическая ситуация,

в которую он попал, требовала от него больше, чем я мог бы предполагать. Мне бросилось в глаза лишь то, что Вальтер, часто писавший о Брехте и его произведениях, постоянно просил меня ознакомиться с его статьями, но при множестве его сообщений о работе для Института он ни разу не попытался склонить меня к чтению или хотя бы к изучению *Zeitschrift für Sozialforschung* и, в особенности, не приглашал меня высказаться о выходивших там значительных статьях Хоркхаймера. И поэтому, хотя я время от времени видел этот журнал в библиотеке Иерусалимского университета, я всё-таки полагаю, что слишком редко высказывался о его содержании в письмах.

С октября 1933 года пребывание Беньямина в Париже прерывалось не только упомянутыми поездками к Брехту; он также трижды пользовался длительным гостеприимством, которое оказывала ему Дора³⁸⁵, открывшая пансион в Сан-Ремо. В этом «убежище в Сан-Ремо» он провёл однажды зимой 1934—1935 годов четыре месяца³⁸⁶, а также бывал по несколько недель в сентябре 1936-го и июле 1937 года. В изгнании отношения Вальтера с сестрой Дорой, которые были очень напряжёнными после смерти матери, также стали теснее, и — между 1935-м и началом 1938 года — когда он жил в собственной большой комнате на рю Домбаль³⁸⁷, 10, он переехал в маленькую квартиру на рю Робер Ленде³⁸⁸, 7, где жила сестра. Дора, которая была социальным работником и осталась старой девицей, ещё в 1935 году тяжело заболела болезнью Бехтерева, от которой она — а ей удалось в годы войны бежать

в Швейцарию — скончалась весной 1946 года в Цюрихе. За три дня до её кончины я навестил её там в клинике «Парацельс».

В первые два года эмиграции Бенъямин писал необычайно часто, затем темп переписки замедлился, и — так же, как и в его переписке с другими — месяцами длились паузы, после которых переписка возобновлялась. В те шесть месяцев между октябрём 1935 года, когда я принял решение развестись с женой, и апрелем 1936 года, когда я сделал сообщение о состоявшемся разводе, переписка почти полностью прервалась, так как я не находил в себе силы сообщить о причинах своего молчания, и это встревожило его. Он написал мне в то время лишь однажды (29 марта 1936 года) горестное письмо, в котором объяснил причину и своего молчания.

«Дорогой Герхард,
какой бы из богов ни отвечал за переписку смертных, кажется, нити нашей переписки выскользнули у него из рук, чтобы стать добычей какого-то дьявола молчания.

Я, конечно, признаю, что его правление — поскольку моя собственная душа служит ему арендой — для меня загадка. При том, что разные разочаровывающие колебания срока нашего свидания при этом значительно утяжеляются. И тяготят меня ещё больше, когда пробуждают во мне вопрос — так уж ли ты проникнут значением и необходимостью нашей встречи, как я? Время, начиная с которого мы её ждём, представляет собой поток с растущим перепадом высот, против которого нашим письменным

посланиям становится всё тяжелее бороться. Я имею в виду не только письма, но и другие коммуникации, например, тираж моей последней статьи [“Проблемы социологии языка”³⁸⁹], не случайно оставленной тобой без отклика. Воображаю риск, от которого ещё меньше смогу уберечь свою новейшую работу, чем многие предыдущие (ведь она важнее): вступая в зону нашей переписки (а тем самым и в её латентные периоды), я не всегда могу удержаться от опасения. В остальном, занятия этой работой, в которую я полностью погрузился в январе и феврале, стали фоном, внесшим светлую черту в картину моего молчания.

Вначале — вероятно, скоро, а возможно, только к концу года — она выйдет по-французски, и при том *Zeitschrift für Sozialforschung*, который способствует публикации, предпочитает перевод оригинальному тексту. Её заглавие таково: “Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости”. Для публикации оригинального текста я пока не вижу никаких шансов³⁹⁰.

Подробнее об этой работе — соответственно о её тексте — я сообщу в следующий раз. Сегодня же я хотел бы с интересом спросить тебя о твоём разборе книги Оскара Гольдберга о Маймониде³⁹¹. Благодаря этой рецензии я получил первое представление о самой книге и вскоре надеюсь её получить.

О внешнем облике моего здешнего житья не буду распространяться. Большая книга отступила на задний план, за новую работу, которая хотя объективно не имеет с ней ни малейшего соприкосновения, но методически теснейшим образом с ней связана.

Прежде чем вновь за неё приняться, я должен буду написать небольшой очерк о Николае Лескове, что я обязал себя сделать³⁹². Фукса я вновь убрал в долгий ящик³⁹³. Надеюсь, ты по случаю читал что-нибудь у Лескова, одного из величайших рассказчиков».

Внятное облегчение, с каким Вальтер воспринял последовавшее затем моё объяснение событий, приведших к моему молчанию, ощутимо в его последующих письмах. У него будто камень упал с души. Написал ли я ему о книге Гольдберга — одном из самых бесплодных памфлетов против Маймонида как истинного губителя того еврейства, которое хотел видеть Гольдберг? Может быть, ответ находится в Восточном Берлине. В любом случае, я нахваливал ему — в противоположность Гольдбергу — важную книгу Лео Штрауса «Философия и Закон. Доклады к пониманию Маймонида <и его предшественников>»³⁹⁴, которая только что вышла. Бенъямин даже подумывал, не сделать ли предметом обсуждения эту книгу Лео Штрауса, где содержался глубокий, пусть и проблематичный анализ центральной роли политической философии в воззрениях Маймонида на еврейство. При этом он мог бы противопоставить два полюса «политической философии» еврейства; оба они вызывали интерес Вальтера и затрагивали родственные струны в его собственных мыслях: ликвидацию всякого магического элемента в рациональной эзотерике и чрезмерное выпячивание строго магически-мифического мировоззрения.

Перед подходом к этим глобальным темам своего труда Бенъямин в 1934 году показал свой «лик Януса» в двух

работах, вышедших почти одновременно. Ибо пока он сидел над большим очерком о Кафке, заказанным ему с моей подачи, и пока мы вели об этом оживлённый письменный диалог, он написал доклад «Автор как производитель»³⁹⁵, который прочёл 27 апреля 1934 года в *Institut pour l'étude du fascisme*³⁹⁶ — организации коммунистического фронта. Этот доклад в видимом *tour de force*³⁹⁷ представляет собой кульминацию его материалистических усилий. Этот текст, фигурировавший в его письмах и рассказах, я так и не получил для прочтения. Когда я наехал на него в 1938 году в Париже, он сказал: «Думаю, не дам я тебе его читать». С тех пор, как я знаю эту статью, я могу это понять. К этому же времени относится, кстати, знакомство Беньямина с Артуром Кёстлером, который тогда был почётным казначеем ИНФА³⁹⁸, а впоследствии, в 1938 году, жил в одном с ним доме, населённом почти исключительно эмигрантами.

Французский текст работы о произведении искусства я получил лишь в июне 1936 года. Беньямин писал: «Не знаю, доступен ли он тебе без усилий. Если да, то — невзирая на сдержанный приём, оказанный тобой, — меня интересует впечатление, какое он на тебя производит. Между тем, я закончил новый, совсем не такой объёмистый манускрипт... [который] тебе, пожалуй, будет гораздо приятнее, и не только в языковом отношении». Это было его эссе о Лескове «Рассказчику». А раньше я настоятельно рекомендовал Беньямину книги Льва Шестова и советовал ему с ним познакомиться. Он долго уклонялся от этого «задания». Он и духу набрался, может быть, лишь в связи с работой о Лескове и

теперь приписал к сообщению о «Рассказчике» фразу: «Завтра я наконец-то познакомлюсь с Шестовым».

Мою сдержанность по отношению к работе о произведении искусства невозможно было не заметить. Он прореагировал обиженно. «Хочу тебе также признаться, что полная непонимаемость моей последней работы для твоего понимания (это слово следует воспринимать не только в техническом смысле) тяжело легла мне на сердце. Если в ней ничто не намекнуло тебе на ту область мыслей, которая когда-то была родной для нас обоих, то причину этому я пока склонен искать не столько в том, что я вычертил совершенно новую карту одной из её провинций, сколько в том, что эта карта предстала перед тобой написанной по-французски». Он по праву ожидал в том же письме от 18 октября 1936 года, что книгу «Люди Германии»³⁹⁹, вышедшую затем, я приму благосклоннее. Он объявил мне, что «название книги “Люди Германии” под моим пером объясняется лишь интересом, состоящим в том, чтобы замаскировать сборник, который мог бы в Германии принести некоторую пользу». И действительно, об этой книге я писал очень воодушевлённо.

Между тем, в письмах Бенямина от 1934-го до 1937 года всё больше места занимали сетования по поводу полученного из Института заказа на очерк о коллекционере Эдуарде Фуксе, который он *volens nolens*⁴⁰⁰ принял, но в итоге результат его удовлетворил больше, чем он сам ожидал от этой вынужденной работы.

Когда Бенямин в январе 1937 года прислал мне «Немцев», он вписал туда: «Не найдёшь ли ты, Герхард, для

воспоминаний твоей юности каморку в этом ковчеге, который я построил, когда начался фашистский всемирный потоп?». Этот мотив получил отчётливый еврейский оттенок в посвящении на экземпляре для его сестры: «Этот построенный по еврейскому образцу ковчег для Доры — от Вальтера. Ноябрь, 1936 г.». Мы узнали об этом посвящении благодаря Иоганнесу Э. Зайфферту, который приобрёл этот экземпляр у одного цюрихского антиквара*. «Еврейский образец», однако, в отличие от толкования Зайфферта, означает не мидраш⁴⁰¹ в теперешнем глубоком смысле, а гораздо проще: спасение от фашистского всемирного потопа благодаря Писанию. В книге автор уловил то, что — будучи сконструированной подобно ковчегу — может противостоять всемирному потопу. Подобно тому, как евреи спасались от преследований в Писание, в каноническую книгу, так и его написанная по еврейскому образцу книга представляет собой спасительный элемент. Когда весной 1936 года разразились затяжные арабские волнения, я очень пессимистично писал Беньямину о положении дел. До того, как *Royal Commission* во главе с лордом Пилом⁴⁰² предложила разделение Палестины, я не видел приемлемого выхода. Вальтер со мной соглашался. 25 июня он писал мне:

«Твоё письмо от 6 июня впервые входит в детали политического положения в Палестине, которое много занимало меня в мыслях о тебе и исходя из простой данности. Мне, конечно, не хватает сведений для самостоятельного суждения (конкретные

* *Jahrbuch des Instituts für Deutsche Geschichte (Universität Tel-Aviv)*, 1 (1972). S. 160.

*politicis*⁴⁰³ — не моя сильная сторона). Тем более внимателен я к подробным сведениям из первых рук. Вынужден признать, что не натолкнулся ни на один факт, который мог бы опровергнуть твой пессимизм. Прежде всего меня впечатлило ожидаемое воздействие происходящих сейчас переговоров по сирийскому вопросу... И в дальнейшем есть чего опасаться, если движение арабов на Востоке так популярно, как о нём рассказывают здесь.

Опасаюсь, что психическая реакция евреев не менее пагубна, чем физические действия арабов. И если ты на месте событий не видишь выхода, то мне узреть его отсюда тем более невозможно».

Правда, и положение в Европе Беньямин не считал более надёжным, чем в Палестине. Тогда начались его долгие хлопоты по получению французского гражданства. Несмотря на таких высокопоставленных покровителей, как Алексис Леже, Жид и Жироду, с которыми он был знаком с двадцатых годов, эти шаги остались безрезультатными. Хотя Жироду, раньше помогавший Беньямину получить разрешение на пребывание во Франции, накануне войны был министром информации, но в те же годы сделался отъявленным антисемитом — о чём свидетельствует его вышедшая в 1939 году книга *Pleins Pouvoirs*⁴⁰⁴, где хватает прямо-таки штрайхеровских интонаций⁴⁰⁵.

Мы оба понимали, как сказывается на переписке многолетняя разлука. При той прогрессирующей изоляции, в которой Беньямин очутился в Париже, несмотря на все внешние связи, он был особо чувствителен

к подобным вещам — о чём свидетельствует, например, напечатанное письмо от 6 мая 1934 года [В. П. S. 603–606], которое я должен был расценить как предупредительный сигнал. Но интенсивность нашей переписки в первые два года его эмиграции гарантировала сравнительно лёгкое преодоление таких трудностей. В последующие годы интенсивность упала, но мы часто обсуждали настоятельную потребность свидеться и поговорить с глазу на глаз. Его выражения стали горше и пронзительнее, когда не реализовались планы поездки в Палестину. Так, 11 февраля 1937 года он писал:

«Дорогой Герхард,

не то чтобы мне не хватает выдержки, но бывают часы, когда я не уверен, встретимся ли мы ещё раз. Уж на что Париж — город мира, но он стал таким хрупким, а если правда то, что я слышу о Палестине, то там дуют такие ветры, от которых даже Иерусалим колеблется, как тростник. (Об Англии я думаю, что вот уже несколько лет её политика определяется уверенностью в том, что *Commonwealth*⁴⁰⁶ перестанет существовать через первые двое суток серьёзной войны.) Возвращаясь к нашей встрече, иногда я воображаю её себе — только чтобы удержаться за её образ — как в бурю касание двух листьев с разных деревьев, отдалённых друг от друга».

В том же письме Беньямин писал о тревожном повороте в развитии его сына Стефана, которое очень беспокоило его и Дору. «Мои мысли, о чём бы я ни думал, сумрачны, как ты можешь видеть. Работа сейчас не годится для того, чтобы сделать положение светлее». Это относилось к столь претившему Вальтеру «изго-

товлению текста» эссе о Фуксе. Спустя два месяца, после удачного завершения этой работы, у него возникли чуть более светлые перспективы на ближайшее будущее, «а о том, что я вижу нашу встречу окрашенной в ещё более светлые краски радости, мне нет нужды говорить тебе, каков бы ни был фон этой встречи — стены ли Иерусалима или серо-голубые фасады бульваров» [В. II. S. 729].

Летом 1937 года я получил приглашение в Нью-Йорк прочесть лекции о результатах моих исследований по еврейской мистике; курс лекций должен был начаться в конце февраля 1938 года. Так мы, наконец, смогли конкретно очертить контуры свидания. Я полагал, что по дороге в Нью-Йорк встречу с Бенъямином на совсем короткое время, а затем, летом 1938 года, встреча будет более продолжительной. Эта диспозиция натолкнулась на энергичное возражение Вальтера, так как «нет никакой гарантии, что запланированная на лето встреча — если ты назначаешь её в Париже — может состояться. Пока я не знаю, где буду летом». Тогда, в конце ноября 1937 года, он колебался между Сан-Ремо (где находилась Дора) и Данией (где жил Брехт). Мне удалось — между завершением моих лекций в Иерусалиме и отъездом в Америку, перед которым мне ещё предстояло встретиться с матерью в Цюрихе — выкроить пять дней для нашего совместного пребывания в Париже, которое и состоялось в середине февраля. Вальтер предложил, чтобы я остановился у его сестры, но когда я приехал, она настолько сильно болела, что я переехал в отель. Во время поездки по Италии и Швей-

царии я простудился и принимал сильнодействующие средства, чтобы не слечь. Это изрядно понизило мои способности дискутировать, хотя и не воспрепятствовало оживлённым, порою бурным спорам.

Я не видел Беньямина одиннадцать лет, и он изменился за это время. Стал шире, держался чуть небрежнее, а его усы стали более густыми. В волосах появилась заметная проседь. Мы много говорили о его работе и принципиальной позиции, но, конечно, и о тех предметах, которые в письмах не затрагивались. Так, его заметка по философии языка «Миметическая способность»⁴⁰⁷, которой Вальтер очень дорожил и жаловался на отсутствие моей реакции, стала для меня ясной и значительной лишь в этом разговоре. Но в центре наших бесед стояла его марксистская ориентация. В 1927 году этот вопрос, от которого Беньямин уклонялся как от не созревшего для обсуждения, всё же не вызывал личных напряжений. В 1938 году дела обстояли иначе. Между этими временами пролегли годы, тяжело нагруженные политическими событиями, прежде всего, в России и Германии, и нам было непросто друг с другом. Если Беньямин после моего отъезда писал Китти, что «философская дискуссия прошла в должной форме», это было всё-таки дружественное смягчение, поскольку проходила она в эмоционально напряжённой атмосфере и имела две-три драматические кульминации, когда дело касалось его собственной позиции, его отношения к Институту социальных исследований и к Брехту, а также процессов в России, взволновавших тогда весь мир. Что характерно — ни одна из этих кульминаций не затрагивала дела сионизма.

В первый день, когда я ещё едва ли мог много говорить, Вальтер читал мне вслух разные заметки и с большой теплотой говорил о Фрице Либе и своих отношениях с ним, завязавшихся три года назад. Вокруг отношений Бенямина с его собратьями-марксистами — в Париже это стало мне очевидно — витала некая неловкость, связанная с приверженностью Вальтера к теологическим категориям. К Брехту это относилось в той же мере, что и к институтскому кругу. Внимательная настороженность Бенямина и подчёркивание равенства воззрений не могли скрыть то, что было вынесено за скобки. Брехт заметно мешал теологической стихии Бенямина. Бенямин это осознавал и не утаивал от меня. Хоркхаймер и другие сотрудники Института не могли тогда с этим абсолютно ничего поделать, и лишь Адорно говорил о теологической составляющей на секуляризованном уровне. Сам Адорно был далёк от теологических интересов, но понимал, что они имеют для Бенямина центральное значение. Так вышло, что в кругу марксистов, где Бенямин вращался, он смог завязать настоящую дружбу только с Фрицем Либом, совершенно необычной фигурой. Ведь Либ, один из самых оригинальных учеников Карла Барта, был сложившимся теологом — в те годы приват-доцентом теологии в Базеле — и подлинным социалистом коммунистической веры. Он был единственным, для кого теологическое измерение позднего Бенямина оказалось непосредственно понятным и значимым без сомнения. Они сошлись на общей почве. Насколько я помню, это был единственный человек в годы эмиграции, с кем Бенямин после немногих встреч пере-

шёл на «ты» — чего не было ни с крутом Института, ни с Брехтом. Либ, с которым я познакомился лишь в последние годы его жизни, излучал некое свойство мира веры, каким не обладали другие.

Когда мы смогли дискутировать, на первый план сразу вышла работа о произведении искусства⁴⁰⁸. Я анализировал то, что понимал в ней и находил столь же великолепным, сколь и сомнительным. Я обрушился на понятие ауры, которое, на мой взгляд, было искажено псевдомарксистским контекстом, так как Беньямин долгие годы употреблял его в совершенно ином смысле. Его новое определение этого феномена — утверждал я — представляет собой, с логической точки зрения, уловку, позволяющую ему протаскивать метафизические взгляды в не соответствующие им рамки. Но прежде всего я критиковал вторую часть, в которой совершенно надуманная и никуда не годная философия кино как революционной формы искусства пролетариата не имела внятной связи с первой частью. Беньямин упорно отстаивал свою позицию. Его марксизм-де имеет не догматический, а эвристический, экспериментальный характер, а перевод метафизического и даже теологического хода мыслей, который развился у него в наши совместные годы, на марксистские рельсы является чуть ли не заслугой, так как марксистские перспективы смогли раскрыть именно там бóльшую жизненность — по крайней мере, в наше время — чем в первоначально отведённой для них сфере. Ответ Вальтера на мою критику в адрес второй части работы я уже процитиро-

вал в другом месте*. Он сказал: «Не замеченную тобой философскую связь между двумя частями моей работы революция докажет эффективнее, чем я». Но если в *эту* революцию не веришь, то на это вряд ли можно было что-то возразить.

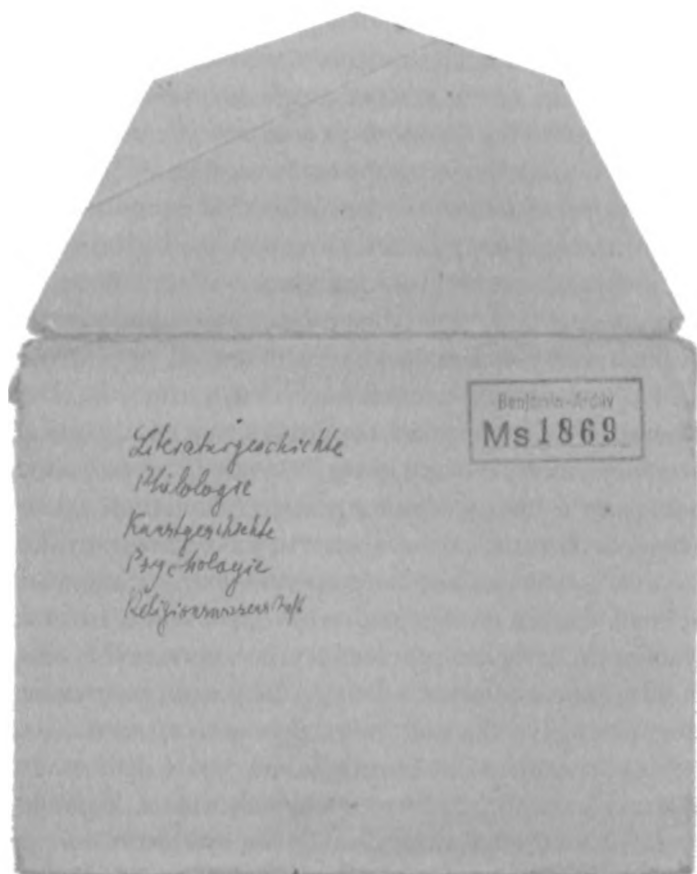
Другой также довольно страстный оборот принял разговор о Брехте и о моей — отмеченной стойким молчанием — сдержанности в письмах по отношению ко многим произведениям, которые Вальтер мне нахваливал. Например, «Трёхгрошовый роман» я считал низкопробным продуктом, тогда как Вальтер прислал мне копии восторженной критики на него. Он говорил: «Я тебя не понимаю. Ведь это ты в своё время так нахваливал мне Шеербарта. Всякая похвала в его адрес казалась тебе недостаточной, и ты был, конечно, прав. А теперь, когда я рекомендую тебе Брехта — который завершил начатое Шеербартом, а именно — писать на немагическом, совершенно очищенном от всякой магии языке, — ты не проявляешь интереса!».

Я говорил, что всё не так, ведь я читал чудесные магические стихи Брехта. «Да, это было в начале, в “Домашнем молитвеннике”», но затем он пошёл по пути Шеербарта, даже ничего не зная о нём, и столь высоко ценимая тобою “Библиотека революционного театра”⁴⁰⁹ — прелюдия к прозе пьес Брехта. Ты был в восторге от прозы в “Лезабендио”⁴¹⁰, а теперь возмущаешься “Опытами” и “Трёхгрошовой оперой”». Я ответил: «Но у Шеербарта там был элемент, отсут-

* В моей статье о Вальтере Беньямине: *Judaica II* (Bibliothek Suhrkamp, Band 163). S. 214–15.

ствующий у Брехта». Он: «И что именно?». Я: «Радость от бесконечности, которой у Брехта нет и следа, так как всё сводится к революционной манипуляции в пределах конечного». (Та радость была стихией, впечатлившей меня в математические годы.) Беньямин: «Дело не в бесконечности, а в исключении магии». Каждый из нас остался при своём мнении, но его заступничество за Брехта всё-таки меня впечатлило, хотя восторг Беньямина по поводу «эпического театра» и теоретическое обоснование такого театра остались мне совершенно чуждыми из-за отсутствия марксистской веры. Он прочёл мне тогда несколько чудесных — как он их назвал — ещё не напечатанных стихотворений Брехта. Я живо вспоминаю ту манеру, в которой Беньямин декламировал Брехтов «Сонет о стихотворениях Данте, посвящённых Беатриче», причём тайком передаваемый неприличный вариант второй строки он прочёл с полной небрежностью, как если бы речь шла о самом обычном коммуникативном слове — хотя и посмотрел на меня большими глазами. Беньямин обещал переписать для меня этот сонет — что и сделал потом, не скрыв, что копия отличается от произнесённого текста, который я, дескать, хорошо помню. Он сказал мне, что у Брехта много неприличных стихов, многие из которых он относит к лучшим у него.

В этой беседе я полностью осознал поляризацию в языковом восприятии Беньямина. Ибо та ликвидация магии языка, которая соответствовала материалистическому взгляду на язык, безошибочно опознавалась в напряжении по отношению ко всем его ранним рассуждениям о языке, черпавшим силу из теолого-ми-



Конверт со списками книг и заметками на различные темы Вальтера Беньямина. На конверте на немецком языке перечислены темы: история литературы, филология, история искусства, психология, религиоведение. Архив Академии искусств, Берлин

стического вдохновения; эти ранние рассуждения он ещё сохранял и даже развивал в заметках, которые читал тогда мне вслух, а также в работе о миметической способности. То, что я ни разу из его уст не слышал ни одной атеистической фразы, конечно, не было для меня удивительным — в особенности после некоторых писем ещё из тридцатых годов, — но меня поразило, что он до сих пор мог говорить о «Слове Божьем», в отличие от человеческого слова, совершенно не метафорически, называя его основой всякой теории языка. Различие между словом и именем, которое Вальтер за двадцать лет до нашей парижской встречи положил в основу своей работы о языке 1916 года⁴¹¹ и продолжал развивать в предисловии к книге о барочной драме, всегда оставалось для него живым, и в его заметке о миметической способности по-прежнему отсутствуют малейшие намёки на материалистический взгляд на язык. Наоборот, материя представляла там лишь в сугубо магических взаимосвязях. Очевидно, Беньямин разрывался между симпатией к мистической теории языка и столь же сильно ощущавшейся необходимостью преодолеть мистику ради марксистского мировоззрения. Я заговорил с ним об этом, и он согласился, что нисколько не преодолел данное противоречие. Это было в разговоре о задаче, которую Вальтер ещё не осилил, но от исполнения которой много ждал. Его «лик Януса» до сих пор живейшим образом давал о себе знать.

Мы перешли к вопросу о готовности поехать в Палестину — о чём он не раз писал мне в эти годы, — но тут в нашей дискуссии речь зашла о его работах под

эгидой Института и в целом о его отношении к Институту. Он подчёркивал, что должен благодарить Институт за возможность существовать, пусть даже в скромных рамках, и развивать свои мысли — хотя многие из заказов, которые он оттуда получал, ему не нравились. Бенъямин чувствовал глубокую симпатию к тенденциям Института, но не хотел таить от меня, что есть оговорки и поводы для потенциальных конфликтов. Он пересказывал мне некоторые дискуссии (ныне подробно задокументированы в аппарате «Собрания сочинений» под редакцией Тидемана и Швеппенхойзера⁴¹²), но в устной речи чувствовался более мощный тон неутраченной критики и даже горечи, который никак не согласовался с примирительным тоном его писем к Хоркхаймеру. В нём осталась некая заноза. Для него было важно, что Институт открывал перед ним перспективы под своей эгидой завершить и опубликовать работу о пассажах, в которую он был вовлечён долгие годы и которую считал своей главной работой. Но он осознавал пределы этого сотрудничества. Он надеялся, что в Нью-Йорке, где я намеревался провести почти полгода, я познакомлюсь с сотрудниками Института — и особенно с Хоркхаймером и Адорно. О своём отношении к Адорно, которого он горячо мне рекомендовал, Вальтер высказывался в позитивных выражениях, а об отношении к Хоркхаймеру — с большей сдержанностью. Так как я не был знаком ни с одним из них, я не мог оценить нюансировку в этих высказываниях и не видел причины — как всегда бывало в наших разговорах — вникать в глубоко личные вещи, если Бенъямин сам о них не заговаривал. Поэтому я лишь

в Нью-Йорке смог составить собственное мнение и собирался открыто обсудить его при нашей будущей встрече. Я напомнил ему о нашей переписке касательно пропагандируемой в своё время Институтом книги Франца Боркенау [В. II. S. 624 и далее]⁴¹³, которую воспринимал, скорее, как философскую хуцпу⁴¹⁴, нежели как убедительный марксистский анализ, — и спросил Вальтера, придерживается ли работа Института по-прежнему этой линии. Программные статьи Хоркхаймера о том, что теперь распространялось под маскировочным словосочетанием «критическая теория» (под которым, как объяснил мне Беньямин, скрывалось из политической осторожности табуированное слово «марксизм»)⁴¹⁵, не дали мне разумного представления об этом. (Только в Нью-Йорке я узнал от Адорно, что там поняли бессодержательность этой неуклюжей халтуры.)

При обсуждении той ситуации и конкретных условий, а также возможных ограничений его работы я заводил речь и на темы, которые хотя и были для Вальтера существенными, но, учитывая аспекты деятельности Института, должны были носить нерегулируемый или неудобоваримый характер, как, например, его длительный и страстный интерес к Кафке. И здесь он выступил с неожиданным признанием. Он сказал, что для него было бы облегчением получить независимость от Института для работы на длительное время — он назвал как минимум два года. В Европе-де об этом и думать невозможно. Но если бы я видел способ добыть ему какой-то заказ, гарантирующий ему независимость, он бы не задумываясь разорвал свои связи с Институ-

том надолго, а то и навсегда. Не могу ли я в связи с вышедшей тогда в издательстве Шокена книгой Кафки устроить ему такой заказ у Шокена, о котором мы часто говорили? Он, дескать, готов на всё время такой работы осесть в Палестине. За неделю до этого я встречался с Шокеном в Цюрихе, мы говорили с ним о направлении его издательства и о живом участии, которое он принимал в моей собственной работе. Он только что издал мою книгу на иврите об одной важной рукописи из его коллекции — я посвятил эту книгу его шестидесятилетию, и он, пожалуй, мог бы прислушаться к моим рекомендациям. Из разговора с Бенямином мне стало ясно, что он испытывает большее давление, чем я думал, и я предложил ему воспользоваться предстоящим выходом биографии Кафки, написанной Максом Бродом⁴¹⁶, как поводом для акции у Шокена. Он с радостью согласился. О необходимости защищать в Европе какие-то блага, о чём он незадолго до этого говорил с Адорно, переселявшимся в Нью-Йорк, у нас речи не заходило.

Говоря об Институте, мы затронули тему отношения Института к коммунизму — неявного для непосвящённых, — каким он представлялся в перспективе московских процессов, и об отношении группы, сложившейся вокруг Института, к коммунистической партии. Из загадочных формулировок Бенямина я не мог уразуметь, как на самом деле обстояли дела, кто был коммунист, кто — нет, кто троцкист, а кто сталинист. Его собственная позиция удивила меня и вызвала во мне подозрение, что она отражает позицию сотрудников Института. Он выражался очень витиевато, не

хотел принимать ни чью сторону, и разговора не получалось. Я ожидал, что он скажет что-нибудь об Асе Лацис. Но сам он не упомянул её имя, и я избегал заводить об этом речь. Я не знал, что она сама оказалась жертвой «Большой чистки», не знаю и теперь, была ли она тогда уже арестована и знал ли об этом Беньямин. Но я до сих пор так и вижу, как он в ответ на деликатный вопрос о членстве одного человека в партии — возникший в ходе нашей бурной дискуссии, — он, обычно ходивший по комнате взад-вперёд, вдруг пристально взглянул на меня с жуткой решимостью, чтобы выпалить эмфатическое «Да», не допуская дальнейших реакций. Впоследствии я был ошеломлён, когда в Нью-Йорке выяснилось, что, в отличие от Брехта, институтская группа — и, прежде всего, евреи среди них, а их было подавляющее большинство — за редким исключением состояла из страстных антисталинистов. Ведь *Zeitschrift für Sozialforschung* избегал вникать в проблемы российского опыта и отношений — как и сам Брехт.

В другой раз мы говорили об антисемитизме. Когда я приехал в Париж, прилавки книжных магазинов были на каждом шагу «украшены» только что вышедшей книгой Селина *Bagatelles pour un massacre*⁴¹⁷. Это был разнужданный антисемитский памфлет объёмом в шестьсот страниц, который я, будучи с незапамятных времён внимательным читателем антисемитской литературы, тут же приобрёл — хотя мой французский не позволял мне понять и половины вульгарного лексикона автора. Книга стала сенсацией. То, что нигилизм Селина нашёл естественный объект ненависти в евреях,

наводило на раздумья. Беньямин книги пока не читал, но не питал никаких иллюзий о масштабе антисемитизма во Франции. Он рассказывал, что литературно влиятельные почитатели Селина не хотели высказываться о книге — с таким объяснением: «*Ce n'est qu'une blague*»⁴¹⁸; в дальнейшем оказалось, что это было ничем иным, как грандиозным фарсом. Я пытался объяснить Вальтеру несерьёзность такого бегства к безответственной фразе. Он сказал, что собственный опыт убедил его в том, что латентный антисемитизм распространён даже в кругах левой интеллигенции и что очень немногие неевреи — он называл Фрица Либа и Адриенну Монье⁴¹⁹ — так сказать, физически от него свободны. Он цитировал примеры, которые мне стыдно тут приводить, но я хорошо их запомнил. Может, под влиянием этого опыта, который в те годы было легко приобрести, Беньямин, который сам дважды рассматривал возможность брака с нееврейками, в одном разговоре в кругу французских левых — о чём мне рассказывала его хорошая знакомая Жизель Фройнд — к её большому удивлению, высказался против смешанных браков между евреями и неевреями. Тогда это сильно задело всех присутствовавших.

Несмотря на такие рассуждения и опыт, глубокая симпатия Беньямина к Франции осталась непоколебимой — на фоне этой симпатии бросалось в глаза несомненное отчуждение и даже антипатия к Англии и Америке. Он ещё тогда сказал мне, что уже более не в состоянии приспособливаться. Это обременённое чувствами колебание сыграло свою роль в провале нескольких попыток вовремя переправить его в Англию

или Америку. Его бывшая жена Дора рассказала мне в 1946 году, что в 1939 году она тщетно пыталась уговорить его уехать с ней в Англию, где она — после принятия антисемитского законодательства в Италии — собиралась строить новую жизнь. Он тогда привёл ей те же основания против «пересадки» на чужую почву.

Однажды под вечер мы общались с Ханной Арендт и Генрихом Блюхером, её будущим мужем; с обоими Беньямин поддерживал отношения в парижские годы. К этому времени Ханна, выполняя свои функции — а она возглавляла парижское бюро Молодёжной «Алии»⁴²⁰, переправлявшее детей в Палестину, — уже бывала в Иерусалиме, и там мы познакомились ближе. И в Париже встреча нашей четвёрки проходила бурно. Блюхер и Ханна резко отрицательно относились к московским процессам, и я с удвоенной тревогой спросил Вальтера, что же кроется за его неуверенностью в этом вопросе? Правда, Ханна с Блюхером были далеки от марксизма, сыгравшего большую роль в прошлом Генриха, а Беньямин придавал существенное значение марксистскому политическому и военному анализу. Тогда я узнал, что Ханна Арендт работала над темой, щекотливой с еврейской точки зрения, а именно писала о Рахели Фарнгаген⁴²¹ и только что поставила последнюю точку в монографии о ней. С провалом еврейской эмансипации такие фигуры, как Рахель, выступали в совершенно новом свете, и Беньямин, которому Рахель в связи с его занятиями Гёте была знакома гораздо больше, чем мне, выказал исключительный интерес к этой работе.

В апреле Вальтер писал мне в Нью-Йорк, где я по завершении своего цикла лекций по иудейской мистике сидел над каббалистическими рукописями *Jewish Theological Seminary*⁴²², что он только что получил биографию Кафки Макса Брода, о которой уничтожающе высказался [В. II. S. 748] в одной великолепной фразе⁴²³. Я попросил его написать мне подробное письмо об этой книге и о собственных его воззрениях на Кафку, которые я при удобном случае мог бы предложить Шокену — чтобы побудить того сделать заказ на книгу в свете наших парижских бесед. Так возникло чудесное письмо от 12 июня 1938 года [В. II. S. 756–764], к которому прилагалось ещё одно письмо с той же датой. К этому времени я уже написал Вальтеру, что недавно у Пауля и Ханны Тиллих познакомился с Тедди и Гретьель Визенгрунд-Адорно, и при последовавшей продолжительной встрече в его квартире мы неожиданно сблизились. (Письмо Адорно к Бенъямину об этом напечатано в *Neue Zürcher Zeitung* от 3 декабря 1967 года.) Упомянутое сопроводительное письмо гласило:

«Дорогой Герхард,
чтобы сделать презентабельным прилагаемое послание, я счёл необходимым избавить его от всего личного.

Это не исключает того, что оно — в благодарность за твою инициативу — предназначено в первую очередь лично тебе. В остальном не мне судить, сочтёшь ли ты целесообразным дать его прочесть Шокену *tel quel*⁴²⁴. Я со своей стороны считаю, что проник в комплекс Кафки глубоко, насколько это вообще в данный момент возможно для меня.

В ближайшее время всё отступает на задний план перед моей работой о Бодлере.

Я с удовольствием заметил, что многое начинает идти хорошо, как только я поворачиваюсь к нему спиной. Какие только упрёки в своё время не выдвигались в адрес тебя и в адрес Визенгрунда *de part et d'autre*⁴²⁵! А теперь выясняется, что это был напрасный шум. Никто этому не рад больше, чем я.

На днях я напишу Визенгрунду и упомяну письмо о Кафке. Конечно, ты можешь сообщить ему о нём. Но о перспективах на издание, которые могли бы адресоваться к нему, я прошу тебя упоминать лишь с чрезвычайной осторожностью и как твоё собственное, мне не известное намерение. Но не лучше ли будет вообще отставить всё это, судить тебе — в зависимости от твоей оценки ситуации. Не выиграет ли дело, если от Визенгрунда не ускользнёт полуофициальный характер письма?

В крайнем случае, ты мог бы объяснить ему, что запросил у меня письмо для твоего архива моих эзотерических сочинений. Боюсь, что это объяснение ближе всего к истине.

В любом случае мои заметки дают мне право на скорейший и очень подробный отчёт о твоих походах вдоль и поперёк⁴²⁶ нью-йоркского еврейства. Этот отчёт я прошу тебя сделать как можно менее лаконичным, так как после твоего последнего письма от 6 мая и согласно моим собственным диспозициям шансы на нашу встречу пока остаются неопределёнными...

От всего сердца, твой Вальтер.

Р. С. Не забывай сообщать мне свои впечатления и всевозможные новости из Института».

Я прочёл письмо о Кафке вслух для четы Адорно, на которых оно, понятно, произвело глубокое впечатление, хотя они и не видели стоящего за ним фона. Хорошему духу, в котором проходили мои встречи с Адорно, способствовала не столько сердечность приёма, сколько моё удивление, вызванное его пониманием продолжающейся теологической стихии в Беньяmine. Я-то ожидал встретить марксиста, который будет настаивать на ликвидации драгоценнейшей, на мой взгляд, составляющей духовного хозяйства Беньямина. А встретился с мыслителем, который — пусть и с собственной диалектической точки зрения — оказался совершенно открыт и даже позитивно настроен по отношению к упомянутым качествам. Совсем иначе складывались у меня отношения с Хоркхаймером, с которым мы как-то долго просидели в ресторане. Трудность была двоякой: статьи Хоркхаймера в журнале вообще были для меня непонятны, и я — вероятно, под влиянием парижских разговоров с Беньямином — не мог относиться к нему с доверием в личном общении. Моим решающим впечатлением было то, что Хоркхаймер — т. е. его Институт — признавал духовную мощь Беньямина, но с ним самим не мог добиться реальных отношений. И даже гораздо позже, спустя годы после смерти Беньямина, многочисленные встречи с Хоркхаймером лишь усилили это моё впечатление.

Адорно и Хоркхаймер настаивали, чтобы я посетил их Институт. Поскольку это отвечало желанию Беньямина, после некоторых колебаний я объявил, что го-

тов к этому, и в июле 1938 года нанёс туда довольно продолжительный визит, во время которого вёл подробные беседы о Беньямине с несколькими его сотрудниками, среди них был Лео Лёвенталь, знакомый мне ещё с моего франкфуртского периода в 1923 году. Это было и моим первым знакомством с Гербертом Маркузе, который тогда считался главным гегельянцем Института. Впечатления, вынесенные из этих разнообразных встреч и разговоров, были записаны в моём сообщении Беньямину (от 8 ноября 1938 года), где я не смог скрыть от него мою оценку его положения и перспектив в Институте, в которой позитивные аспекты пересекались с негативными. В его ответе [В. II. S. 803] заметно его согласие с моей оценкой.

Если в июне Беньямин ещё рассчитывал на возможность вернуться в августе в Париж и встретиться с моей женой Фаней и со мной, то в июле он сообщил мне, что этот замысел потерпел крах из-за неотложных дел первой редакции очерка о Бодлере. Вальтер оставался в Дании до середины октября. Контroversы вокруг текста, который он тогда написал и прислал мне в начале 1939 года с просьбой высказаться, играли в литературе о Беньямине значительную роль, отчасти сопряжённую с нечестным подходом. Мне нечего сказать в связи с этим, кроме того, что я считаю смехотворными обвинения, выдвинутые против Адорно и его критики.

Я возлагал большие надежды на нашу встречу, и её отмена огорчила меня. На несколько дней моего пребывания в Париже Вальтер вновь предложил мне остановиться у его сестры или, если не получится, поехать

в отель «Литре» (недалеко от рю де Ренн)⁴²⁷, где его хорошо знали. Как же я был удивлён, когда выяснилось, что мы поселились в средоточии французского фашизма, где портье и многие постояльцы косились на нас и где единственной газетой, которая выкладывалась для постояльцев, была «Аксьон Франсез»⁴²⁸. Для меня осталось загадкой, как Бенъямин мог нам рекомендовать этот отель. В тот раз мы неоднократно виделись с Ханной Арендт, и я вспоминаю долгую беседу о Беньямине, его гении и злополучной ситуации, связанной с его положением в Институте или зависящей от Института. Ханна Арендт относилась к кругу Института, особенно к Хоркхаймеру и Адорно, с глубокой антипатией — что было взаимно — и пускалась в мрачные рассуждения об отношении Института к Беньямину, которых не скрывала и от него самого⁴²⁹. Здесь она выходила далеко за рамки моей сдержанности.

После моего возвращения в Иерусалим Бенъямин нетерпеливо ожидал не только подробного доклада об Америке и об Институте, обижаясь на меня за задержку с этим в конце сентября 1938 года, но и результатов моего посредничества у Шокена. Последний в это время был в отъезде, и я смог поговорить с ним лишь в конце 1938-го и в начале 1939 года о моём предложении заказать Беньямину книгу о Кафке. Но оказалось, что Шокен, которому я дал почитать разные работы, среди которых — неопубликованная статья о Гёте, полный текст большой, лишь наполовину напечатанной статьи о Кафке и письмо ко мне о Кафке, — вообще не воспринимает Беньямина. Это меня ошеломило, ведь

я ожидал встретить у него понимание такого мыслителя, и в двух или трёх долгих беседах я пытался объяснить ему, что я вижу в Беньямине и как представляю себе разрешение очевидной раздвоенности в его сочинениях. Однако Шокен издевался над этими сочинениями и категорически отказался поддерживать Беньямина; его речь сводилась к тому, что Беньямин — нечто вроде выдуманного мною пугала. Об этих печальных беседах с Шокеном я не мог рассказать Беньямину, не огорчив его, и мне пришлось ограничиться лишь сообщением о результате. Но ещё до того, как я сделал это, положение Беньямина обострилось с двух сторон. В ноябре 1938 года журнал отклонил публикацию написанной летом работы о Бодлере, и в феврале 1939 года — предлагая прислать мне эту рукопись на отзыв — он написал, что должен незамедлительно приступить к продолжению работы, которая превратилась в переработку отвергнутой главы или её новое написание с другим мотивом. Кроме имеющейся у него очень подробной критики, проведённой Адорно, он обещал учесть в работе и мою позицию. Впрочем, Вальтер ожидал, что моя критика «будет, вероятно, сходна в существенных чертах» с критикой Адорно. Но к деликатному положению, в каком он оказался из-за этого отказа, примешивался ещё один момент. 14 марта Беньямин написал мне следующее письмо, потрясшее меня так, что невозможно подобрать слова, особенно в контексте провала моих хлопот у Шокена:

«Дорогой Герхард,

пока груз мыслей из моего последнего письма стоял у тебя на якоре неразгруженным, подоспел и новый

чёлн, ушедший с ватерлинией под воду, доставляющий куда более тяжёлый товар — тяжесть моего сердца.

Институт — как сообщает мне Хоркхаймер — попал в полосу серьёзных трудностей. Не называя срока, он готовит меня к прекращению выплат дотаций, которые с 1934 года только и поддерживали моё существование. Твой взгляд тебя не обманул, а твой покорный слуга не предполагал этого ни на миг. Катастрофы я не предвидел. Как явствует из их писем, сотрудники жили не на проценты, как можно было предположить в случае фонда, а на сам капитал. Капитал же, в значительной части, не наличный, а в виде недвижимости, и грозит вот-вот иссякнуть.

Если ты можешь чего-нибудь добиться у Шокена, с этим нельзя медлить. Ведь все бумаги, необходимые тебе, чтобы изложить план о Кафке, у тебя на руках. Я возьмусь и за любой другой заказ, который Шокен дал бы мне в области моей работы.

Времени терять нельзя. Единственным, что удерживало меня все эти годы на плаву, была надежда когда-нибудь хоть наполовину по-человечески быть принятым в Институт. Наполовину по-человечески — это означает мой прожиточный минимум в 2400 франков. Новое падение с этого уровня *à la longue*⁴³⁰ дорого мне обойдётся. К тому же приманки моей среды для меня слишком слабы, а вознаграждения потомства — слишком призрачны. Было бы важным пережить этот период. Когда-нибудь сотрудники Института вновь доберутся до де-

нег. Хотелось бы в нужный момент оказаться в нужном месте.

Не придавай этим вещам больше публичности, чем необходимо для того, чтобы помочь мне. Если будет возможно показать Хоркхаймеру и Поллоку, что они — не единственные, кто обо мне заботится, это даст шанс, что они для меня постараются.

На этом всё. Не оставляй меня без скорейшего ответа, сколь бы предварительным он ни был.

От всего сердца, твой Вальтер.

P. S. Только я успел поставить свою подпись, как пришло твоё письмо от 2 марта. А ведь я в минимальном списке моих шансов шокеновский считал одним из самых значительных. Нет ли у тебя варианта на замену? Меня радует, что ты — не зная моих теперешних перспектив — рассматривал мою поездку в Палестину. Теперь события таковы, что приобретает значение вопрос — нельзя ли обеспечить моё пребывание в Палестине на несколько месяцев? (Я не рассчитываю, чтобы это могло произойти за твой счёт.) Дело обстоит так, что среди различных зон опасности для евреев, на которые сегодня подразделяется земля, Франция представляет собой самую опасную, так как здесь я нахожусь в *полной* экономической изоляции.

В одном из следующих писем я подробно остановлюсь на твоих рассуждениях о “Бодлере”. Большинство из них при первом же прочтении показалось мне весьма достойным обдумывания».

После этого письма, не оставлявшего желать большей серьёзности, я предпринял попытку в небольшом кру-

гу людей в Иерусалиме заручиться суммой, которая могла бы обеспечить Бенъямину пребывание здесь. Тогдашние обстоятельства были крайне неблагоприятны, и единственным надёжным человеком, готовым предоставить подобающую сумму, была художница Анна Тихо⁴³¹, которую я познакомил с Вальтером за год до этого в Париже и на которую он произвёл большое впечатление. То есть я не мог дать ему конкретную перспективу. Его (отчасти напечатанный) ответ от 8 апреля не оставлял сомнений в том, что он считал своё положение отчаянным и в случае решительного ухудшения своего экономического положения был готов к самоубийству. Он не верил, что для него возможно переселение в Соединённые Штаты. «Оно было бы возможно лишь на основании вызова, а вызов возможен только по настоянию Института. Чтобы ты знал, квота покрыта на четыре-пять лет вперёд. Да и сомневаюсь, чтобы Институт, будь это в его власти, инициировал сейчас мой вызов. Ведь не предполагается, что вызов одновременно решит для меня и вопрос существования, и видеть этот вопрос поставленным в непосредственной близости к вопросу вызова было бы для Института особенно обременительно». Он не скрывал от меня, что в возникшей ситуации «работы, предназначенные для Института, даются тяжело» [В. II. S. 810]. Он ещё раз написал о возможной поездке к нам и о мыслимых шагах в этом направлении. «Если возможно обеспечить пребывание в Палестине экономически, то дорогу отсюда я оплатить смогу». Такова была обстановка, в какой он в последующие месяцы предпринял новую редакцию — он говорил о «пере-

формулировании» — работы о Бодлере. На несколько месяцев он погрузился в молчание, но Ханна Арендт, которая тогда в Париже, получив эти угрожающие известия, тоже пыталась ему помочь, писала мне в конце мая: «Я в больших заботах из-за Бени. Я попыталась ему отсюда посодействовать, но потерпела полный провал. При этом я больше, чем когда-либо, убеждена в важности того, чтобы гарантировать ему будущие работы. По моему ощущению, его сочинения преобразились вплоть до стилистических деталей. Всё выходит гораздо определённое, не так медлительно, как прежде. Мне часто кажется, что он только теперь вплотную подошёл к своим главным вещам. Было бы отвратительно, если бы он встретил здесь помехи».

Оказалось, положение не так безнадежно, как смотрел на него Вальтер, и отношение Института к нему было гораздо позитивнее, чем он боялся — и не он один. Его стипендия не была аннулирована, и он всё лето с короткими перерывами провёл в Париже и закончил «Бодлера», отказавшись ради этого от приглашения в Швецию. Я написал ему в Париж примерно через неделю после начала войны, в тревоге, но ответ получил только 25 ноября, после его освобождения из лагеря⁴³². Он писал, что сильно похудел, но чувствует себя хорошо. Писал, что переработка его книги о Бодлере имела большой успех в Нью-Йорке. О шоке, в который его поверг пакт между Гитлером и Сталиным, он говорил в своём (напечатанном) письме лишь в зашифрованном виде — как о «мероприятиях духа времени, снабдившего пустынный ландшафт этих дней знаками,



Адриенна Монье. Фото Жизели Фройнд. Париж, 1935.
Архив Жизели Фройнд, Париж

которые для нас, старых бедуинов, явственны» [В. II. S. 846]. Но Грета Кон-Радт впоследствии рассказывала мне, что в конце 1939 года, по возвращении из лагеря, Вальтер сказал ей, что даже испытал облегчение от того, что теперь окончательно разделался с Россией. Россия, дескать, всегда вызывала у него ощущение неуютности. Слова Греты подтверждают сообщение Сомы Моргенштерна, которому Беньямин прочёл вслух историко-философские тезисы, написанные им в начале 1940 года как ответ на этот пакт. Со страстными дискуссиями о России и марксизме, которые мы проводили за два года до этого в Париже, должна была соотноситься и та фраза, которую он написал в своём последнем письме, нашедшем дорогу ко мне; сразу после выше процитированного ключевого предложения он писал: «Так печально, что нам невозможно побеседовать, и всё-таки у меня есть чувство, что обстоятельства [т. е. наша физическая разлука] при этом никоим образом не лишили меня тех пламенных споров, которые то и дело происходили между нами. Сегодня для них больше нет повода. И, вероятно, это даже удача, что между нами небольшой мировой океан, когда настал момент заключить друг друга в объятия *spiritualiter*⁴³³». Когда Вальтер писал это, он прорабатывал план к «Тезисам»⁴³⁴ и, должно быть, признал, что вместе с ними ускользнула из-под ног почва для тех разногласий между нами, которые явились причиной наших пламенных споров.

Весной 1940 года Беньямин послал мне экземпляр «Тезисов», однако они уже не дошли до меня, как и сопроводительное письмо. Ханна Арендт, от которой

я это узнал и которая полагала, что я получил его посылку, писала мне, что Бенъямин из-за своих совершенно неортодоксальных новейших тезисов «изрядно боится мнения и реакции Института». Однако Институт только в 1941 году получил, благодаря Ханне Арендт и Мартину Домке, различные варианты текста, последний из которых был опубликован Институтом в 1942 году, в mimeографированном выпуске памяти Бенъямина. Несомненно, что Бенъямин в переписке с Адорно и Хоркхаймером по поводу «Тезисов», которые он хотел отправить им в мае — до чего дело так и не дошло, — как раз подчёркивал преимущество этой работы по отношению к предыдущим, написанным для Института. Это было столь же верно, как факт предпринятых в «Тезисах» далеко идущих и дерзновенных подходов, благодаря которым исторический материализм был поставлен под эгиду теологии.

В начале 1940 года вышел объёмистый двойной номер *Zeitschrift für Sozialforschung*, ознакомиться с содержанием которого Бенъямин настоятельно рекомендовал мне в вышеупомянутом письме от 11 января 1940 года, не только из-за двух его больших работ, которые были там напечатаны — для этого хватило бы отдельных оттисков, которые он мне выслал чуть позже — но и потому, что он стремился узнать моё мнение о статье Хоркхаймера «Евреи и Европа»⁴³⁵. А тут было нечто горькое. Лучшим свидетельством того, насколько Бенъямин приспособился к идеологии Института — даже в том, что касалось темы, трактовать которую он был волен без какого-либо давления, — служат наши противоположные реакции на статью. Тогда

Marx sagt, die Revolutionen sind die
 Lokomotiven der Weltgeschichte. Aber
 vielleicht ist das auch anders. Vielleicht
 sind die Revolutionen die Kraft
 der sie nicht zu gehen, sondern
 nur zu gehen, und die
 Revolutionen sind die
 Lokomotiven.

Ms 1100

Marx sagt
 die
 Revolutionen
 sind die
 Lokomotiven
 der Weltgeschichte.

Наброски к работе «О понятии истории» (ок. 1940 г.):

«Маркс говорит, что революции — локомотивы всемирной истории. Возможно, он хотел выразиться совершенно иначе. Скорее, революции — нажатие на аварийный тормоз человеческого рода, едущего в этом поезде» (см.: ХЖ, № 7, 1995, с. 9, пер. с нем. Д. Молока).

Оборотная сторона: счёт за ланч.

Архив Академии искусств, Берлин.

я этого не знал, поскольку соответствующее письмо, как уже упомянуто, так и не дошло до меня. Из сохранившейся переписки с Хоркхаймером и Адорно явствует, что Беньямин выразил обоим своё безраздельное согласие — тогда как я, который всё-таки знал о предмете статьи чуть больше — отверг её с крайней резкостью. У меня ещё сохранилась первая копия этой части моего длинного письма от февраля 1940 года, где я поставил на дискуссию различные вопросы, поднятые в журнале и особенно — в значительной статье о Йохмане⁴³⁶. Я предполагаю, что этот вариант едва ли мог отличаться от фактически отправленного письма. Тема была достаточно взрывоопасной, чтобы оправдать ясное высказывание позиции. Я писал:

«Ты желаешь узнать моё мнение о статье Хоркхаймера “Евреи и Европа”. После многократного прочтения этих страниц мне нетрудно сформулировать его в общепонятной форме: это совершенно ничемный продукт, в котором *невозможно* обнаружить ничего полезного и нового — что прямо-таки удивительно.

Автор не имеет ни представления о еврейском вопросе, ни интереса к нему. Очевидно, что для него подобного вопроса не существует вообще. Только ради приличия он снисходит до того, чтобы разок о нём высказаться. Сравнение со статьёй Маркса “К еврейскому вопросу”, о которой можно сказать то же самое, не только напрашивается, но и при всей своей скромности я придерживаюсь мнения, что автор хотел эту статью (которая ему, очевидно, представляется весьма обоснованной) *mutatis mutandis*⁴³⁷

переписать ещё раз, для ситуации, сложившейся спустя 100 лет после Маркса (эти годы как раз в ярчайшем свете выставляют отсутствие мудрости этой — отвратительной — статьи, хотя временами было модным её цитировать).

Этот деятель совершенно ничего не объясняет — за исключением той банальности, которую уже давно можно прочесть любому обывателю в любой еврейской провинциальной газете, а именно, что евреи в тоталитарном государстве лишаются прежних экономических основ своего существования. Это верно и не ново. Однако автору совершенно нечего сказать по делу. Он не рассматривает объявленную им тему “Евреи и Европа” ни в одной фразе (а прямо-таки старается доказать себе самому, что Европа здесь ни при чём, а вот фашизм поджидает уже повсюду), хотя на мой взгляд *реальная* проблема такова: отпадение евреев от Европы, смысла и значения которого автор не видит и, вероятно, не может видеть. Он не спрашивает *за евреев*: как будут выглядеть *они*, если эту почву выдернут у них из-под ног, после страшных деморализаций и стратегий уничтожения (это Хоркхаймера совершенно не интересует, так как евреи интересны ему *не в качестве евреев*, а лишь с точки зрения судьбы той экономической категории, которую они для него представляют — как “агенты товарного и денежного оборота”, стр. 131)? Не спрашивает он и *за Европу*: как, собственно, будет выглядеть Европа после отпадения евреев? Хотя уже здесь может быть много сомнительного. Это соответствует и тому, что Хоркхаймер не может дать ев-

реям, за которых он не *спрашивает*, никакого *ответа*, кроме дешёвой заключительной фразы с мерзкой аллегоризацией монотеизма, которая ничего не скажет *неаллегоризируемым* евреям и их делу в среде человечества — впрочем, это даже бросается в глаза. Как бы этот деятель потешался, если бы другие утешались его мыслительными снадобьями как ответами!! (В иноязычных аннотациях ещё заметнее вся — отчасти смехотворная — беспомощность этой заключительной рекомендации!)

...Этот человек действует нечистыми методами. “Погромы *политически визируют* скорее зрителей. Не шевельнётся ли хоть один?” и т. д. Такая мудрость превращает диалектику в шлюху, и я могу лишь заметить: кому *такое* придёт в голову как *значение* погромов, тому нечего сказать по этой теме. Стиль хоркхаймеровских работ был неприятен мне с незапамятных времён — из-за некой бойкой наглости оснащения, которая в этой статье, к сожалению, чувствует себя как дома. *Этот* еврей — последний, кто имеет оснащение для несентиментального и касающегося самого дела, а не его обветшалой эмблемы, анализа подлинного вопроса, одинаково затрагивающего *нас*, тебя и меня: “Евреи и Европа”. Как утешение евреям во Второй мировой войне это — цитируя Бенямина — “оставляет в растерянности, словно речи призраков”».

Лишь много лет спустя я узнал от Адорно, что заглавие, столь возмущившее меня из-за отсутствия соотнесённости с содержанием статьи, принадлежит отнюдь не Хоркхаймеру, а ему! Справедливости ради следует

добавить, что впоследствии Хоркхаймер — после миллионнократного убийства евреев — решающим образом изменил свою еврейскую позицию.

Это было, пожалуй, последним прямым общением между нами. Я с большим интересом ждал, что ответит Беньямин, — и до сих пор не знаю, как выглядел его ответ. О его самочувствии в эти месяцы до и после бегства из Парижа я узнал только в 1941-м и 1942-м годах благодаря письмам от Адорно и Ханны Арендт. После всего здесь рассказанного очевидно, что Вальтер часто рассматривал возможность самоубийства и готовился к нему. Он был убеждён, что ещё одна мировая война будет означать газовую войну и тем самым положит конец цивилизации. И то, что произошло после перехода через испанскую границу, было не внезапным поступком, напоминающим короткое замыкание, а давно вызревало у него в душе. При всём удивительном терпении, которое Беньямин демонстрировал после 1933 года и которое связывалось с высокой выносливостью, он оказался недостаточно стойким для событий 1940 года. Ещё в сентябре он не раз говорил в Марселе Ханне Арендт о намерении покончить с собой. Единственное подлинное известие о событиях, связанных с его смертью, содержится в подробном сообщении, написанном госпожой Гурлянд, перешедшей вместе с ним границу; письмо написано 11 октября 1940 года к Аркадию Гурлянду, сотруднику хоркхаймеровского Института. Копию этого письма я получил в 1941 году от Адорно.

(Из письма г-жи Гурлянд от 11 октября 1940 года):

«...Ты, конечно, уже слышал, чего мы натерпелись с Беньямином. Он, Хосе⁴³⁸ и я вместе покинули Марсель, чтобы ехать дальше. В М. я с ним подружилась, и он нашёл, что я подхожу ему в спутницы. На пути через Пиренеи мы встретили Бирман, её сестру, г-жу Липман и Фройнда из “Тагебуха”⁴³⁹. Для всех нас эти 12 часов были неимоверным напряжением. Дорога незнакомая, иногда приходилось карабкаться на четвереньках. Вечером мы пришли в Порт-Боу⁴⁴⁰ и зашли в жандармерию, чтобы выпросить въездной штампель. Четыре женщины и мы трое просидели целый час, рыдая и умоляя чиновников и показывая наши документы, которые были в полном порядке. Все мы были *sans nationalité*⁴⁴¹, и нам сказали, что несколько дней назад вышел указ, запрещающий людям без гражданства проезжать через Испанию. Нам позволили провести ночь в отеле, *soi-disant*⁴⁴² под охраной; к нам представили трёх полицейских, которые должны были наутро сопроводить нас до французской границы. У меня не было других документов, кроме американских; для Хосе и Беньямина это означало отправиться в лагерь. Итак, все мы в крайнем отчаянии пошли в наши комнаты. В 7 часов утра г-жа Липман позвала меня вниз: дескать, меня зовёт Беньямин. Он сказал мне, что в 10 часов вечера принял колоссальную дозу морфия и я должна попытаться представить дело как болезнь; он передал письмо ко мне и к Адорно Т.В... [sic]. Затем потерял сознание. Я позвала врача, который констатировал апоплек-

сический удар, а на моё настоятельное требование препроводить Беньямина в больницу, т. е. в Фигерас⁴⁴³, снял с себя всю ответственность за это, так как Беньямин-де был уже при смерти. Я провела целый день с полицией, мэром и судьёй, которые проверили все документы и нашли письмо к доминиканцам в Испании. Мне пришлось сбегать за кюре, и я молилась вместе с ним на коленях целый час. Я страшно боялась за Хосе и за себя, пока на следующее утро не было выписано свидетельство о смерти.

Как уже сказано, жандармы увели четырёх женщин утром в день смерти Беньямина. Меня и Хосе они оставили в отеле, так как я приехала с Беньямином. Итак, я находилась там без *visa d'entrée*⁴⁴⁴ и без таможенного досмотра, который был проведён впоследствии в отеле. Ты знаешь Бирман и можешь судить о нашем состоянии, если я расскажу тебе, что она и другие подошли к границе, отказались проследовать дальше и тем самым, разумеется, объявили, что согласны идти в концентрационный лагерь в Фигерас. Я в это время находилась в жандармерии с заключением врача, и на их начальника большое впечатление произвела болезнь Беньямина. Так четырём женщинам проставили штампель (были заплачены деньги, и немалые). Я получила его на следующий день. Мне пришлось передать все бумаги и деньги судье и поручить ему послать всё в американское консульство в Барселоне, куда позвонила Бирман. (Его сотрудники отказались за нас постоять, несмотря на все объяснения.) Я купила могилу на пять лет и т. д. На самом деле я не могу описать тебе ситуацию точ-

нее. Во всяком случае, дела сложились так, что мне пришлось уничтожить письмо Бенямина к Адорно и ко мне после того, как я его прочла. Там было пять строчек, где говорилось, что он, Бенямин, больше не может, не видит никакого выхода и поручает мне рассказать о его судьбе — в том числе и его сыну».

О кончине Бенямина 26–27 сентября я узнал 8 ноября в коротком письме Ханны Арендт от 21 октября 1940 года, которая тогда ещё находилась в Южной Франции. Когда она три месяца спустя приехала в Порт-Боу, она тщетно искала его могилу. «Её невозможно было найти, его имя нигде не значилось». При том, что г-жа Гурлянд — как она сообщила — купила в сентябре место на кладбище для него на пять лет. Ханна Арендт описала место так: «Кладбище выходит к небольшой бухте, прямо к Средиземному морю; оно высечено террасами в камне; в такие каменные стены вдавигаются и гробы. Это место далеко превосходит по фантастичности и красоте все места, которые я видела за свою жизнь».

Много лет спустя на одном из двух кладбищ (на том, которое видела Х. Арендт) в отдельном деревянном ограждении показывалась (и будет показываться) могила Бенямина с его именем, вырезанным по дереву. Имеющиеся у меня фотографии отчётливо указывают на то, что эта совершенно обособленная, полностью изолированная от настоящих склепов могила представляет собой изобретение кладбищенских сторожей, которые хотели обеспечить себе чаевые, так как многие спрашивали, где похоронен Бенямин. Посетители, которые там бывали, подтверждали моё впечатление. Место, конечно, прекрасное; могила — апокрифична.



Вальтер Бенъямин перед домом Бертольта Брехта.
Свендборг, Дания, 1938 г. Архив Академии искусств, Берлин

ПРИЛОЖЕНИЕ. НАША ПЕРЕПИСКА ОБ ИСТОРИЧЕСКОМ МАТЕРИАЛИЗМЕ ВЕСНОЙ 1931 ГОДА

Вальтеру Беньямину
Иерихон, 30 марта 1931 г.

Дорогой Вальтер,
я нахожусь в Иерихоне⁴⁴⁵ уже неделю, занимаясь ничегонеделанием и тому подобным, в порядке подготовки к ожидаемому на следующей неделе визиту моей матери и моего брата в Иерусалим; завтра я отправлюсь в небольшую поездку на Мёртвое море, на котором за все эти годы я ещё ни разу не был. Пока я пребывал в праздности, пришли обе копии твоих писем — к Брехту и Рихнеру, которые, в общем, сойдут за «оригиналы». Письмо к Брехту оправдывает моё ожидание, которое я лелеял всё это время: что из того журнала, о котором ты мне пишешь, ничего не выйдет — хотя, не зная подробностей, я не смог бы сказать многого на эту тему. Зато я хотел бы сказать тебе кое-что по поводу другого письма, поскольку ощущаю себя его соадресатом. Жаль, что я не знаком со статьёй Рихнера, где, вероятно, содержатся подлинные прозрения. Но то, что можно сказать о твоём письме, вероятно, от этого не зависит, хотя вопрос — *dic cur hic*⁴⁴⁶? — в любом случае хорошо сформулирован. Прошу тебя расценивать моё замечание как аббревиатуру с тем благоволением,

на какое ты вправе был рассчитывать со стороны читателя упомянутого письма.

С тех пор, как мне известны более или менее объёмистые образцы рассмотрения литературных вопросов в духе диалектического материализма, вышедшие из-под твоего пера, у меня определённо укрепляется мнение, что ты в своих сочинениях активно впадаешь в самообман, в чём меня убеждает и твоё достойное удивления эссе о Карле Краусе (которого у меня, к сожалению, здесь нет). Высказанное тобой ожидание, что столь понятливый читатель, как господин Рихнер, уж как-нибудь найдёт между строк эссе оправдание твоим симпатиям к диалектическому материализму, кажется мне насквозь иллюзорным; скорее, произойдёт обратное, а именно: всякому непредвзятому читателю твоих работ, по-моему, ясно, что хотя в последние годы ты — извини за выражение — судорожно силишься представить свои отчасти весьма далеко идущие идеи через как можно более близкую к коммунистической фразеологию, однако — и дело, как мне кажется, именно в этом — существует поразительное отчуждение и отсутствие связи между твоим реальным и твоим заданным образом мысли. Ведь ты доходишь до прозрений не благодаря строгому применению материалистического метода, а совершенно независимо от него (в лучшем случае) или (в худшем случае, как в некоторых работах двух последних лет) посредством игры двусмысленностями и наложением явлений этого метода. Как ты метко пишешь г-ну Рихнеру, твои собственные солидные познания произрастают из той — скажем так — метафизики языка, которая, собственно, и есть

то, благодаря чему ты, добившись неискажённой ясности, мог бы стать значительной фигурой в истории критической мысли, легитимным продолжателем плодотворных и подлинных традиций каких-нибудь Гамана и Гумбольдта. И наоборот, показное усилие втиснуть эти результаты в такие рамки, где они вдруг видятся якобы результатами материалистических рассуждений, вносит совершенно чуждый, с лёгкостью отделяемый разумным читателем формальный элемент, который налагает на твои работы последних лет печать чего-то авантюрного, двусмысленного и подтасованного. Ты поймёшь, что я употребляю столь демонстративные выражения не без огромного внутреннего сопротивления; но стоит мне вообразить прямо-таки фантастическое расхождение между подлинным и терминологически подменённым методом, которое зияет в столь великолепной и центральной для тебя работе, как статья о Краусе, как всё начинает хромать, так как идеи метафизика о языке буржуа и даже — скажем так — о языке капитализма искусственным и легко разоблачаемым способом отождествляются с идеями материалиста об экономической диалектике общества, так что может показаться, будто они исходят одни из других! — как это ни смущает меня, я вынужден сказать себе, что этот самообман возможен лишь потому, что ты его хочешь, и более того: что он может продержаться лишь до тех пор, пока его не подвергнут материалистической проверке. Поистине плачевна полная уверенность, а она у меня есть, что постигло бы твои произведения, если бы им выпало на долю предстать перед судом коммунистической партии. Я почти верю, что ты сам стре-

мишься к сегодняшнему неопределённому состоянию, но я бы приветствовал всякое средство, чтобы с ним покончить. То, что твоя диалектика не есть диалектика материалиста, к коей ты стремишься приблизиться, могло бы выясниться с однозначной и взрывной ясностью в момент, когда тебя разоблачат твои же друзья-диалектики как типичного контрреволюционера и буржуа, а это неизбежно произойдёт. Пока ты пишешь бюргерам о бюргерах, подлинному материалисту это безразлично и даже наплевать, желаешь ли ты предаваться иллюзии, будто ты с ним заодно. Наоборот, все его интересы, с диалектической точки зрения, должны быть направлены к тому, чтобы укрепить твой мнимо материалистический элемент, так как твой динамит на их территории — предположительно — может действовать сильнее, чем его динамит. (Извини за параллель: в Германии такой материалист поощрял бы пресловутых большевиков от психоанализа а-ля Эрих Фромм, а в Москве он незамедлительно послал бы их в Сибирь.) В его собственном лагере материалист в тебе не нуждается, так как чисто абстрактная идентификация ваших сфер там при первых же шагах к центру провалится. Поскольку ты теперь сам заинтересован в подвешенном состоянии ваших нелегитимных отношений — на взгляд из другого угла, — вы хорошо ладите между собой; спрашивается только — как бы это высказать подобающе — как долго при таких двусмысленных отношениях моральность твоих взглядов, одного из самых дорогих твоих товаров, может оставаться здоровой? Ибо это не так, как ты, вероятно, видишь ситуацию, когда задаёшься вопросом, сколь

далеко в виде эксперимента можно зайти с материалистической позицией, поскольку эту позицию в твоём творческом методе ты явно ещё не занял и, как старый теолог, я полагаю, и не способен будешь занять. А поскольку при известной непреложности решения, какую я смею у тебя предполагать в данном конкретном случае, проекция твоих знаний, которые, как ты сам говоришь, приобретены благодаря теологическому методу, на материалистическую терминологию мыслима с грехом пополам, с некоторыми неизбежными сдвигами, которым не соответствует ничто в отображаемом — *dialectica dialecticam amat*⁴⁴⁷ — то вы с материалистом ещё долго сумеете между собой ладить, а именно — до тех пор, пока обстоятельства позволяют упорствовать в вашей двусмысленности, что в сложившихся исторических условиях может продлиться ещё очень долго. И как бы я ни оспаривал существование того, что — как ты уверяешь Рихнера — привело тебя к использованию материалистического способа рассмотрения, в который твои сочинения, скорее, не внесли никакого вклада, — я всё же хорошо понимаю, что ты пришёл к самообману: якобы введение в метафизику известной тенденции и терминологии, где выступают классы и капиталисты (хотя едва ли их противоположность), превращает твои рассуждения в материалистические. Самое верное средство, доказывающее правоту моего взгляда, а именно — вступление в КПГ — я могу рекомендовать тебе лишь иронически. Ведь сколь бы далеко строгое соблюдение материалистических методов исследования ни уводило от идеального проведения метафизико-диалектического научного произ-

водства (заимствуя твою формулировку), — провести этот экзамен, который может закончиться лишь как *capitis diminuti*⁴⁴⁸ твоего существования, я как друг всё-таки не в состоянии тебе посоветовать. Скорее, я склонен предположить, что с этой связью в один прекрасный день будет покончено точно так же неожиданно, как началось. Если я ошибаюсь в этом, ты понесёшь, как я боюсь, колоссальные издержки за это заблуждение — что хотя и парадоксально, но было бы кстати той ситуации, которая в итоге возникнет: ты был бы пусть и не последней, но наиболее непостижимой жертвой смешения религии и политики, рассмотрение которых в их подлинных отношениях ни от кого не могло ожидатья отчётливее, чем от тебя. Но, как говаривали старые испанские евреи: что может время, может и разум.

Об остальном в следующий раз. Я всегда жду твоих писем, авось и это письмо приведёт твою авторучку в полемическое вращение!

Мой сердечнейший привет.

Твой Герхард

Герхарду Шолему
Берлин-Вильмерсдорф,
17 апреля 1931 г.

Дорогой Герхард,

для меня одинаково невозможно и ответить на твоё большое письмо уже сегодня, и оставить неподтверждённым его получение. Меня изумляет великодушие, которое звучит из твоего рукописного сочинения; и го-

ворит оно мне, что ты даже не озаботился сделать себе копию этого документа. Тем тщательнее я сохраню его у себя. Прошу тебя не понимать это как «припрятчу» или «схороню». Нет, дело обстоит так, что я — чтобы соответствовать той задаче, какую ставит передо мной это письмо, — имею лишь один шанс: если планомерно подготавливаю ответ. И первый шаг для этого — поработать вместе с несколькими близкими мне людьми то, что ты написал. В первую очередь, это пока ещё не знакомый тебе Густав Глюк — не писатель, а банковский служащий высокого ранга, а наряду с ним, вероятно, Эрнст Блох. Впрочем, мой базис, который с самого начала весьма узок, можно было бы расширить, если бы ты взглянул на совокупность брехтовских «Опытов». Кипенхойер, который их издал, в ближайшие дни будет у меня, и тогда я попытаюсь пробить для тебя следствия. Кстати, несколько недель назад я послал тебе важную статью об опере из «Опытов», но ты о ней ничего не сказал. Я перехожу к этим вещам, так как твоё письмо — не имея намерения аргументировать дальше, чем *ad hominem*⁴⁴⁹ — пробивает мою собственную позицию, чтобы, подобно снаряду, попасть в центр, который занимает в настоящее время небольшой, но очень важный авангард. Многое из того, что привело меня к тому, чтобы стать всё более и более солидарным с текстами Брехта, затронуто как раз в твоём письме; но это означает: многое из той, тебе ещё не известной продукции.

По звучанию этих строк ты заметишь, что твоё стремление спровоцировать письмом полемическое высказывание с моей стороны не может исполниться.

Так же, как оно вообще не может вызвать у меня экспансивную или аффективную реакцию — по той причине, что моя ситуация слишком щекотлива, чтобы я мог себе такое позволить. Мне и во сне не придёт в голову утверждать непогрешимость или хотя бы правоту в ином смысле, чем в смысле симптоматично, необходимо, продуктивно неверного в ней. (Таковыми фразами добьёшься мало, но я должен попытаться — поскольку в общих чертах ты, находясь столь далеко отсюда, довольно точно распознал, что здесь происходит — дать тебе представление хотя бы о малом, так сказать, в рефлексивных обертонах.) В особенности ты не должен полагать, будто я строю хотя бы ничтожные иллюзии о судьбе своих работ в партии или о продолжительности моей возможной принадлежности к партии. Но было бы недальновидным считать это обстоятельство не способным к изменению — разве что условием будет не меньше, как немецкая большевистская революция. Не то чтобы победоносная партия могла подвергнуть ревизии своё отношение к моим сегодняшним вещам, но дело в другом: что она заставит меня писать иначе. Это означает: я полон решимости при любых обстоятельствах делать своё дело, но не при любых обстоятельствах это дело будет одним и тем же. Оно скорее — соответствующее. А недолжным обстоятельствам соответствовать должным — т. е. «правильным» образом — этого мне не дано. Это даже совершенно нежелательно до тех пор, пока я существую и намереваюсь существовать как индивид.

Столь же временно надо сформулировать и следующее: существует вопрос о соседстве. Где располагается

моё производственное учреждение? Оно располагается — и об этом у меня нет иллюзий — в Берлине W. W. W.⁴⁵⁰, если тебе угодно. Самая образованная цивилизация и самая современная культура не только составляют мой личный комфорт, но и отчасти служат прямо-таки средствами моего производства. Это означает: не в моих силах перевести мои производственные мощности в Берлин О. или N.⁴⁵¹ (В моей власти было бы переселиться в Берлин О. или N., но делать там нечто иное, нежели я делаю здесь. Я признаю, что можно потребовать этого по моральным причинам. Но заранее могу сказать, что не выполню этого требования; я бы сказал, что именно мне и очень многим, чьё положение подобно моему, сделать такое невообразимо тяжело.) Неужели ты действительно запретишь мне с моей маленькой пишущей фабрикой, которая располагается здесь, на Западе, просто-напросто из властной потребности отличаться от соседства, с которым я примирился по определённым причинам — неужели ты хочешь запретить мне вывешивать из окна красное знамя с тем намёком, что это всего лишь клочок материи? Если уж я пишу «контрреволюционные» сочинения — как ты совершенно справедливо квалифицируешь мои труды с партийной точки зрения — то следует ли совершенно недвусмысленно предоставлять их в распоряжение контрреволюции? Не надо ли их, скорее, денатурировать, подобно спирту — рискуя, что они станут не пригодными для каждого, — сделать их определённо не пригодными для контрреволюции? Может ли внятность, которой человеческий язык отличается от языка деклараций и избегать которой в жизни мы учимся всё

с бóльшим успехом, когда-нибудь стать слишком большой? Не слишком ли она, скорее, мала в моих произведениях и разве следует увеличивать её в ином направлении, нежели коммунистическое?

Если бы я находился в Палестине — вполне возможно, что дела сложились бы тогда совершенно иначе. Твоя позиция по арабскому вопросу доказывает, что там имеются и совершенно иные методы однозначной дифференциации от буржуазии, нежели здесь. Здесь их нет. Здесь нет ни одного. Ибо с известной справедливостью ты мог бы назвать апогеем двусмысленности то, что я воспринимаю как однозначное. Ладно, я достиг крайности. Как потерпевший кораблекрушение, который плывёт на обломках судна, карабкаясь на верхушку сгнившей мачты. Но у него есть шанс послать оттуда сигнал ради своего спасения.

Пожалуйста, продумай всё это как следует. Сделай мне — если сможешь — какое-нибудь встречное предложение.

На сегодня — и чтобы не заставляя тебя ждать — только привет от всего сердца.

Твой Вальтер

Вальтеру Беньямину
Иерусалим, 6 мая 1931 г.

Дорогой Вальтер,
твое короткое письмо немного смутило меня, так как оно в конце требует от меня позиции, которую по отношению к тому, что ты там излагаешь, я занимать не могу. Ты описываешь свою ситуацию ещё раз. Толь-

ко — это не то, что я хотел бы высказать. Я не оспаривал ни своеобразие твоей ситуации в буржуазном мире, ни (само собой разумеющуюся) оправданность принятия исторических решений на стороне революции, ни существование такого печального феномена, как соседство, или слабость, или как ещё его ни назови! И ведь ты справедливо говоришь, что твоё письмо пока не содержит никакого ответа на то, что излагаю я: а именно, дело не в том, что ты борешься, а в том, что ты борешься под личиной; что в своих сочинениях ты всё больше выставляешь материалистический вексель, погасить который ты вообще не способен — и притом не способен как раз из-за наиболее подлинного и субстанционального, что у тебя есть и что ты представляешь собой. Я ведь не оспариваю, что при случае можно писать, как Ленин; я нападаю только на вымысел — когда мы мним, будто делаем нечто, тогда как на самом деле мы делаем нечто совершенно иное. Я утверждаю, что хотя при таком напряжении двусмысленности жить можно (и это даже то, чего я опасаясь), но как раз — выражаясь очень резко — от этого погибаешь, так как (и это как раз тот пункт, который я до тебя больше всего хочу донести) моральность идей при таком существовании должна истрепаться, а ведь это благо является жизненно важным и ни в коем случае не может быть нейтрализованным. Ты пишешь, что моё письмо касается не только тебя, но и многих других, с кем ты его склонен обсудить. Что ж — я могу это только приветствовать, а то, что оно касается Эрнста Блоха, ясно и мне — как ты уже мог узнать из того, что я тебе написал о его книге [«Следь»]. [...] Ты пишешь: сделай

встречное предложение. Оно может быть таким: признать тебя ответственным перед твоим гением, от которого ты временами столь бесперспективно пытаешься отречься. Самообман слишком легко оборачивается самоубийством, а твоё было бы — видит Бог — слишком дорого оплачено честью революционной правоты. Для тебя опасна жажда общности — будь то даже апокалипсическая общность революции — больше, чем ужас одиночества, который говорит из стольких твоих произведений и на который я, однако, готов поставить больше, чем на ту метафорику, с помощью которой ты обманываешь себя относительно своего призвания.

От всего сердца

твой Герхард.

Жан Сельц ВАЛЬТЕР БЕНЬЯМИН НА ИБИЦЕ

С Вальтером Беньямином я познакомился в 1932 году на Питиузских островах — их иногда ещё называют «младшими братьями» Балеар⁴⁵². Тогда он впервые приехал в Испанию, перейдя через ту роковую границу, где восемь лет спустя он — немец, который отчаянно пытался спастись от немцев — покончит с собой.

Апрельским утром я сошёл с корабля на берег Ибицы. Я думал, что приятно будет провести на острове недели две, не больше, однако мне предстояло прожить там около двух лет. В те времена туристов на Ибице было немного. Лишь несколько американцев жили в Санта-Эулалии, на восточном побережье, а на западном берегу, в Сан-Антонио, несколько немцев добровольно привыкали к ссылке, которая в скором времени стала для них принудительной. Посередине, в городке под названием Ибица, поселился я, и в ту пору я был единственным французом, живущим на острове. Никаких взаимоотношений между немцами из Сан-Антонио и американцами из Санта-Эулалии не было. И всё же в этих двух маленьких бухтах жили два очень интересных человека: писатели Вальтер Беньямин и Эллиот Пол. Надо сказать, что оба они были нелюдими, бирюками. Но с бирюками я всегда умел найти общий язык и поэтому достаточно быстро с ними познакомился. Эллиот Пол, основатель авангардного журнала «Транзисьон»⁴⁵³ и автор вышедшей несколькими годами позже и очень популярной в Америке книги о гражданской войне на Ибице («Жизнь и смерть маленькой испанской деревни»⁴⁵⁴), был бирюком умным, улыбчивым и мягким, но при этом совершенно домашним. Можно сказать, что пейзажи и пустынные пляжи Ибицы его нисколько не интересовали. Они с женой Гертрудой жили в «Фонда Косме» — маленькой, непритязательной деревенской гостинице. Эллиот Пол почти никогда не выходил за порог своей скромной комнатухи, из окна которой с утра до вечера доносилось стрекотанье печатной машинки. Общению с ним это отнюдь не способствовало. Хотя иногда они вдвоём приходили ко мне в гости — я снял большой дом на склоне над городком — а временами мы все вместе ужинали в гостинице. У Эллиота Пола была всклокоченная борода, которая придавала ему некоторое сходство с Хемингуэем. После ужина он доставал

аккордеон и подолгу играл весёлые народные песни. Именно об Эллиоте Поле Гертруда Стайн написала: «Он играл на аккордеоне, как может играть лишь тот, кто в аккордеоне родился».

Вальтер Беньямин был бирюком совсем иного склада, и надо полагать, что непохожие бирюки между собой не ладят, поскольку Эллиот Пол и Вальтер Беньямин никогда не общались. Беньямин казался робким и неуклюжим бирюком, однако его робость и неуклюжесть походили на чересчур простецкую одежду человека, пытающегося скрыть своё богатство. Богатством Беньямина была необычайная острота мысли. В его размышлениях не чувствовалось ни тени робости, и он с поразительной ловкостью вёл полемику. С такими качествами он вполне мог себе позволить выглядеть робким и неуклюжим.

Плотному телосложению Беньямина, его весьма германской грузности совершенно не соответствовала та лёгкость ума, от которой так часто блестели его маленькие глаза сквозь стёкла очков. Рано поседевшие, коротко стриженные волосы (ему тогда было сорок лет), слегка еврейский нос, чёрные усы — у меня осталась маленькая фотография, на которой он сидит в шезлонге на балконе моего дома в своей любимой позе: наклонив голову вперёд и поддерживая правой рукой подбородок. Пожалуй, я никогда не видел, чтобы Беньямин размышлял в каком-нибудь ином положении — он всегда держался рукой за подбородок, если только в руке у него не было трубки — большой, изогнутой, с широкой чашей. Эту трубку он очень любил, и чем-то она была на него похожа.

Беньямин жил в бухте Сан-Антонио в маленьком деревенском домике — доме Фраскито, окружённом индийскими опунциями. Перед домом стояла мельница со сломанными крыльями. В 1952 году в радиопередаче под названием «Ибица, тайны и мифы» я рассказывал историю Фраскито и его мельницы, внутрь которой никому не разрешалось заходить: мельницу он подарил сыну и тридцать пять лет подряд ждал того самого сына, пропавшего где-то в Южной Америке. Беньямин написал небольшую новеллу, навеянную историей семьи Фраскито, и отправил её, помнится, во «Франкфуртер цайтунг». Тогда он ещё сотрудничал с этой газетой и считался там выдающимся литературным критиком, но вскоре, когда влияние национал-социализма стало усиливаться, он из предосторожности перестал публиковать статьи под собственным именем.

Ходить Беньямину было трудно, быстро передвигаться он не мог, но он был в состоянии проводить на ногах много времени. Наши продолжительные прогулки по холмистой сельской местности под сенью туй, миндальных и рожковых деревьев длились ещё дольше из-за разговоров, поскольку во время беседы Беньямин то и дело останавливался. Он признавался, что ходьба отрывает его от размышлений. Увлёкшись чем-нибудь, он всегда приговаривал: «Смотри-ка, смотри-ка!». И в этот момент я понимал, что он сейчас задумается и, следовательно, остановится. Иногда, словно подтверждая собственные слова, он произносил: «Так-так!». Но даже если он разговаривал с немцами по-немецки, он всё равно время от времени вставлял в речь французское «Смотри-ка, смотри-ка!». За это молодые, не слишком учтивые немцы и прозвали его «Смотри-ка». Гуляя по полям и деревьям, мы заглядывались на красоту и внешнее благородство местных крестьянок — они двигались так, что их длинные плиссированные юбки как-то своеобразно колыхались, по-видимому, из-за того, что под подолом они носили восемь-десять нижних юбок. Мысль о количестве этих нижних юбок Беньямина очень занимала. Однажды он спросил у какого-то крестьянина, зачем они были нужны. Тот ответил: «Когда женщины работают в поле, им приходится наклоняться. И если кто-нибудь на них смотрит, то с нижними юбками гораздо удобнее». Беньямин сказал: «Смотри-ка, смотри-ка», — и сделал из разговора с крестьянином вывод. «Он прав, — заключил Беньямин, — относить целомудрие к категории удобства — это очень верный подход». Таким образом, его мысль отталкивалась от маленького наблюдения, от детали, уходя очень далеко и подпитывая разговор соображениями весьма личного характера.

Он очень любил строить всевозможные теории. Иногда меня это даже раздражало, поскольку складывалось впечатление, что эти теории ещё не совсем устоялись у него в уме и что он, если так можно выразиться, *испытывал их на мне*. Однажды он поведал мне об одной любопытной концепции, согласно которой все слова, независимо от того, на каком языке они написаны, по форме написания соответствуют тому, что они означают. Эта мысль звучала не слишком убедительно. Мне казалось, что некоторые слова в одном языке графически похожи на их антонимы в другом языке. Например, испанское слово *mas* («больше») скорее похоже на французское слово *moins* («меньше»), чем на слово

plus («больше») — во всяком случае, гостиничный повар в Ибике, хвалясь своими знаниями французского, всегда говорил мне, подавая блюда: «Не желаете ли меньше?». «Если бы слово “кастрюля”, — объяснял я Беньямину, — означало в каком-нибудь другом языке “кошку”, Вы бы, скорее всего, стали утверждать, что оно похоже на кошку». Он задумался (переспорить его было нелегко). «Возможно, — согласился он, — но оно было бы похоже на кошку лишь настолько, насколько сама кошка похожа на кастрюлю».

Иногда он останавливался, чтобы обдумать какое-нибудь слово и *изучить* его, а затем обнаруживал в сочетании слогов очередное неожиданное значение. Однажды вечером, придя ко мне домой, он обратил внимание на один цвет, который по чистой случайности доминировал в комнате с белыми стенами. Этим цветом был красный. Множество букетов — розы, гвоздики, цветы граната — переливались всеми оттенками красного, и их дополнял багровый тон крестьянского платка, который казался ещё ярче при свете лампы. Беньямин тотчас же обозначил функцию этой комнаты: «Лаборатория, целью деятельности которой является исследование тайны красного цвета».

Затем он произнёс немецкое слово *Rot* («красный»): «*Rot*, — сказал он, — это слово, точно бабочка, садится на каждый оттенок красного цвета». Чуть позже он заметил тот самый красный платок: «Для меня он занимает место между “*torche*”⁴⁵⁵ и “*torchon*”⁴⁵⁶». Таким образом он объединил два слова, раздельное употребление которых отдалило их от общей этимологии (латинского слова *torquere* — «скручивать в жгут»). Эти рассуждения я привожу здесь потому, что они кажутся мне очень характерными для необычного мышления Вальтера Беньямина, и потому, что они лучше любых сомнительных цитат демонстрируют ход его мысли: поиск реальности, отражающий его пристрастие к исследованиям, благодаря которому он никогда не позволял себе пренебречь формой ради содержания, будь то в области литературной или же исторической критики. Одаривать слово крыльями, через столкновение двух слов выявлять их близкую связь, заставляя понятия раскрывать своё тайное значение — вот в чём заключалась для него одна из основных задач писателя.

Он знал, что я собираю сны, и потому делился со мной своими. Вот один из его снов, о котором у меня сохранились заметки, датированные июлем 1932 года: «Одна старуха обвинила Вильгельма II в том, что он её разорил, и суд присяжных собрался, что-

бы вынести ему приговор. Эта одетая в лохмотья старуха пришла на заседание со своей внучкой, и, дабы показать, в какой нищете они жили, она принесла с собой два единственных принадлежавших им предмета: веник и человеческий череп, из которого им приходилось есть и пить».

В конце лета я тоже переехал в бухту Сан-Антонио и поселился в белом квадратном домике под названием *Ла Казита*, который располагался у самого берега моря, в двух шагах от дома Беньямина. Именно тогда, во время ежедневных встреч и бесконечных бесед жаркими сентябрьскими вечерами, завязалась наша с ним дружба, которой я очень дорожил, но которая в один прекрасный день самым загадочным образом оборвалась.

Эти разговоры — постепенно показывающие мне неординарность мышления Беньямина, его глубину в понимании вещей, его широкий кругозор, его восторженный интерес ко всем видам литературы, философии, лингвистики и народного творчества — происходили, как правило, по вечерам на балконе *Ла Казиты*. Мы редко обсуждали политику. Он знал, что я не разделяю его взглядов, которые отчасти основывались на марксизме (однако надо признать, что он категорически не принимал сталинизм и искренне восхищался Троцким). В основном мы с ним говорили о литературе, и многое о немецкой литературе я узнал именно от него. Он с радостью рассказывал мне о Гёте, о Стефане Георге, о Кафке — с последним он был когда-то знаком и даже хранил у себя его небольшой фотопортрет⁴⁵⁷.

Я читал Беньямину всё, что писал. Он поступал так же. Иногда он зачитывал мне свои заметки из маленьких блокнотов, исписанных таким мелким почерком, что он никогда не мог найти достаточно тонкого пера и поэтому поворачивал перо при письме обратной стороной. У него было множество блокнотов. В одном он отмечал все книги, которые читал. Ещё один был предназначен для записи отрывков из прочитанных произведений, которые могли пригодиться в качестве эпиграфов. Для рукописей он любил использовать оборотную сторону писем от близких друзей. Во всём, что касалось работы, он проявлял маниакальную скрупулёзность. Но разве существовало что-то, что его работы не касалось? Пожалуй, он был не в состоянии проявить интерес к чему-либо, что не оказалось бы полезным для его литературных трудов. В этом отношении Вальтера Беньямина можно считать интеллектуалом чистой воды. Если что-нибудь ему было не по душе — например, присут-

ствие человека, которого он не любил — то он сильно краснел, становился похожим на большой непроницаемый шар, садился в своё кресло и сидел там, точно ёж, не произнося ни единого слова.

К осени на Ибицу обрушились проливные дожди, по вечерам стало холодать, и мы с удовольствием разжигали огонь. Целые деревья, разрубленные на огромные поленья, сжигали мы в большом камине моего домика. Однажды вечером я разводил огонь при помощи щепок для растопки под названием «экономные демоны» (*demonios economicos*), купленных в бакалейной лавке Сан-Антонио, а Беньямин с нескрываемым интересом наблюдал за процессом. Он внимательно смотрел, как строится в очаге это сооружение: сначала «экономный демон», затем несколько древесных углей, затем маленькие поленья и, наконец, большие. Когда огонь разгорелся и языки пламени начали лизать дрова, Беньямин мне сказал: «Вы работаете, как беллетрист». Я удивлённо поднял на него глаза. «Да, — подтвердил он, — ведь ничто не напоминает роман больше, чем сложенный из поленьев костёр. Это кропотливое выкладывание щепочки за щепочкой, где каждая поддерживает следующую, создавая идеальное равновесие — и какая участь всё это ожидает? — Разрушение. То же и с романом. Все персонажи поддерживают друг друга в состоянии идеального равновесия, но истинная цель романа — их уничтожение». В тот вечер Беньямин не объяснил, почему роман должен уничтожить своих персонажей. Зачем их уничтожать? Ответ на этот вопрос я нашёл двадцать лет спустя на удивительных страницах «Рассказчика»⁴⁵⁸, которые были опубликованы стараниями Адриенны Монье во «Французском Меркурии» в июле 1952 года⁴⁵⁹. В этой работе Вальтер Беньямин возвращается к сравнению с горящими в камине поленьями. Он подчёркивает одиночество читателя романов. «В своём одиночестве читатель романа стремится освоить свой материал более основательно, чем остальные. Он готов с жадностью проглотить его весь без остатка. Он хватает и поглощает материал, как огонь в камине уничтожает поленья. Напряжение, пронизывающее роман, очень напоминает сквозняк, который раздувает пламя в камине и заставляет его играть»⁴⁶⁰. Далее он добавляет, говоря о персонаже романа: «"Смысл" его жизни раскрывает только его смерть. Однако читателя романа интересуют только люди, по которым он может понять "смысл жизни". Поэтому он должен так или иначе быть готовым к тому, чтобы пережить их смерть»⁴⁶¹.

«Рассказчик» — это также единственная работа Беньямина — по крайней мере, из тех, что были опубликованы — в которой упоминается Ибица. Он повествует о суровом предостережении, предназначенном всякому, кто взглянет на куранты собора Ибицы (а не на циферблат солнечных часов, как ошибочно указывает Беньямин) и увидит там надпись: *Ultima multis* (Для многих — последний)⁴⁶².

Мне помнится, что Беньямин уехал с Ибицы в конце осени. Сгущающиеся над Германией тучи очень беспокоили его. Я остался на Ибице до конца декабря и вернулся в Париж, прежде проведя некоторое время в диком уголке испанских Пиренеев неподалёку от Андорры, где я катался на лыжах. Задерживаться в Париже больше чем на три месяца я не собирался. Мне не терпелось вернуться на Ибицу.

В конце марта 1933 года я получил письмо от Феликса Нёггерата из Сан-Антонио, где тот провёл зиму. Нёггерат давно дружил с Беньямином — они и Райнер Мария Рильке вместе учились в Мюнхенском университете. В письме были следующие слова: «Вот уже несколько месяцев мы не находим себе места из-за событий, которые давно ожидались, но совсем недавно стали реальностью. Вы, конечно, понимаете, что я имею в виду Германию... Каждое сообщение оттуда приносит нам новые тревоги. Последнее письмо мы получили от нашего друга Беньямина, который сейчас почти перестал выходить из дома — и у него есть все основания на то, чтобы считать подобное приключение опасным».

Через несколько дней Вальтер Беньямин приехал из Берлина в Париж. Я принялся расспрашивать его о Германии. Он мне сказал, что в нынешние времена, когда какой-нибудь немец говорит о культуре, то хочется нащупать в кармане револьвер. Я предложил ему остановиться у меня, а 4 апреля мы вместе сели в поезд до Барселоны. Там мы провели несколько дней перед отъездом на Ибицу. Вечера мы коротали в *Barrio chino*⁴⁶³, который был тогда ещё тем незабываемым дореволюционным *Barrio chino*. Необузданный люд заполнял исчезнувшие сегодня кабаре: бары «Дю Маншо» с фламенко, «Сакристан» и «Ла Криолла» с невероятно красивыми мальчиками, переодетыми в вечерние платья, «Севилья» с обнажёнными певицами. На улицах и в грязных подворотнях дети нагло пытались продать «свеженькие часы» (только что украденные).

В Ибице я вновь въехал в мой дом на улице Конкиста, расположенный в верхней части города и окружённый садом, в кото-

ром росло вдоволь гранатов и табака. А Беньямин вернулся в свою бухту Сан-Антонио, куда и сам я нередко наведывался.

Именно той весной Беньямин прочитал мне свои детские воспоминания, которые представляли собой серию довольно коротких текстов, объединённых под заголовком «Берлинское детство»⁴⁶⁴. Он читал и сразу же переводил мне прочитанное. Его владение французским было достаточным для того, чтобы я мог следовать за ним по порой очень извилистым тропам его мысли. И всё же многие отрывки оставались неясными, потому что у него не получалось подобрать французские аналоги для некоторых выражений или слов. Именно тогда я и решил взяться за подготовку французской версии «Берлинского детства», над которой я стал трудиться, руководствуясь его тонкими, но требовательными замечаниями. Работа эта была длительной и сложной. Пьер Клоссовски, который позже тоже работал с Беньямином (над переводом его эссе о «Произведении искусства в эпоху его технической воспроизводимости»⁴⁶⁵), знает, через какие филологические препоны приходилось проходить переводчикам. Ибо Беньямин не допускал даже малейшего расхождения с его мыслью в выборе слов для перевода. А если приходилось признаваться, что какое-нибудь употреблённое им слово не существует во французском языке, то он так огорчался и переживал, что становилось совершенно не по себе. Поэтому мы часами обсуждали самые незначительные слова или даже запятые из его работ «Зимнее утро», «Мальчишкины книжки» и «Лоджии», а затем я ещё долго переписывал эти тексты, пытаюсь придать им ту окончательную, одобренную Беньямином форму, в которой они и были впервые опубликованы.

То, о чём я расскажу далее, можно по-настоящему понять, лишь зная особенности атмосферы, царившей на Ибике летом 1933 года. Весной нам ещё удалось застать ту удивительно спокойную обстановку, к которой мы привыкли за предыдущий год, однако летом ситуация изменилась. Неожиданно на островок нахлынул поток людей. И некоторые из них были далеко не самыми приятными личностями. Под видом политических беженцев, среди коих число выходцев из Германии неуклонно росло, тайком проскальзывали и настоящие нацисты, которые, как мы узнали позже, приезжали шпионить по приказу гестапо (об этом стало известно во время гражданской войны, когда они выдали немецкому грузовому судну, стоявшему на рейде в Ибике, настроенных

против Гитлера немцев, которые не успели бежать с острова). Также нередко попадались осколки всевозможных народов, смытые с континентов волной злоключений — причём не всегда благовидных — и разбросанные по всем островкам планеты. Говорили, например, что тот щедедушный «инженер-агроном», который поселился в деревушке Сан-Винсенте и которого в 1936 году, в первые же дни испанской революции, непонятно за что расстреляли правительственные войска, был тем самым Вилленом, убийцей Жореса. Не знаю, стоит ли связывать это витавшее в воздухе тревожное чувство с появлением слишком большого числа чересчур странных приезжих, но те невероятные факты, которые мы узнавали о самых малоприметных людях, или скандалы, которые разгорались во всех уголках острова, явственно свидетельствовали о том, что чарующему умиротворению Ибицы пришёл конец.

В ту пору мой дом на улице Конкиста частенько был полон гостей. Ко мне приходили ужинать, работать, спать и даже воровать. Отваживать незваных гостей становилось день ото дня сложнее, но я всё же охотно общался с небольшой компанией писателей и художников. Проведённые с ними вечера смешались в моих воспоминаниях с разлитым по всему садику ароматом цветка под названием *Dama de noche*⁴⁶⁶ и с назойливыми мелодиями пластинок, привезённых из Перу сюрреалистом Андреа Гамбоа, который произвёл настоящий фурор на Ибице, приехав туда вместе со своей изящной чернокожей подругой. Мне также вспоминается молодой каталанский поэт Луис Франсес; скульптор Морис Гарнье, чьи чемоданы весили так много, что вызывали недоумение у носильщиков и таможенников: он битком набивал поклажу камнями, которые собирал на пляжах и использовал в своих произведениях; очаровательный, впоследствии трагически погибший Бравиг Имбс; ирландец О'Брайен, который вдвоём с женой совершил кругосветное путешествие на паруснике, похожем на галион XVII века. Дриё ла Рошель тоже бывал на улице Конкиста. Встречался ли он там с Вальтером Беньямином? Я не уверен. Но сейчас, оглядываясь назад и вспоминая, как оба они сидели на одном и том же месте у колодца, где тень деревьев казалась гуще, я начинаю понимать, насколько непохожесть их лиц, голосов и движений соответствовала радикальным идеологическим расхождениям в их взглядах, которые неминуемо должны были развести этих людей в разные стороны и однажды вновь соединить их в одном судьбоносном шаге — самоубийстве.

В порту Ибицы тогда только открылся новомодный бар, названный в честь южного ветра «Мигьорн». Он очень быстро стал излюбленным местом времяпрепровождения иностранцев. Именно в «Мигьорне» произошло нечто само по себе не примечательное, но в дальнейшем неожиданным образом отразившееся на моей дружбе с Беньямином. Обычно он очень мало пил, но в тот вечер, поддавшись какому-то внезапному порыву, он попросил бармена Тони приготовить ему «чёрный коктейль». Тони, не моргнув глазом, принялся за работу и подал ему большой бокал с чёрным напитком, подозрительный состав которого мне до сих пор неизвестен. Недолго думая, Беньямин выпил. Чуть позже к нам подошла полька, назовём её здесь Мария З. Она присела к нам и спросила, доводилось ли нам пробовать тот джин, которым славился «Мигьорн». В знаменитом джине было 74 градуса крепости. Проглотить этот адский напиток лично мне никогда не удавалось. Мария З. заказала себе две рюмки и решительно выпила залпом одну за другой. Затем она предложила нам последовать её примеру. Я это приглашение отклонил, а Беньямин принял вызов, заказал две рюмки джина и тоже выпил их залпом. Лицо его по-прежнему выглядело невозмутимым, но вскоре он встал и медленно направился к двери. Выйдя из бара, он рухнул на тротуар. Я подбежал к нему и с трудом поднял его на ноги. Он хотел пешком добраться до дома в Сан-Антонио. Но глядя на его неуверенную походку, я должен был ему напомнить, что от Ибицы до Сан-Антонио более пятнадцати километров пути. Я предложил ему пойти ко мне домой, где у меня была свободная комната. Он согласился, и мы отправились в верхнюю часть города. Очень скоро я осознал опрометчивость этого решения. Никогда ещё, вплоть до той самой ночи, верхняя часть города не казалась мне такой высокой. Я не стану рассказывать, как мы в итоге поднялись, как он требовал, чтобы я шёл в трёх метрах перед ним и одновременно в трёх метрах позади него, как мы взбирались по этим улочкам — таким крутым, что в некоторых местах они превращались в настоящие лестницы, как у подножия одной из этих лестниц он сел и мгновенно уснул...

Когда мы добрались до улицы Конкиста, уже занимался рассвет — тот удивительный зелёный рассвет, который будто бы возникает не в небе над Ибицей, а в углах старых домов, отбрасывая на белоснежные стены синеватые блики. Наш поход продоллся всю ночь. Проснулся я, должно быть, около полудня. Я за-

глянул в комнату к Беньямину, чтобы узнать, как он себя чувствует. Но комната оказалась пустой! Беньямин исчез, а на столе лежала записка с благодарностью и извинениями.

Он вернулся в Сан-Антонио, и несколько дней я его не видел. Но от одного из его друзей я узнал, что он был очень подавлен произошедшим. Он не решался больше видиться со мной и хотел уехать с Ибицы. Я, естественно, передал ему, что не придаю таким вещам никакого значения и что я ничуть не обижаюсь на него за бессонную ночь — в конце концов, ночь выдалась весьма примечательная. Но когда я вновь с ним встретился, то заметил в нём какую-то перемену. Он не мог себе простить того, что предстал передо мной в таком виде, который он несомненно считал позорным, и, как ни странно, казалось, будто он винил в этом меня. Ни моя привязанность к нему, ни уважение не могли убедить его в том, что злосчастное действие 74-градусного джина ни в коей мере не изменило моего к нему отношения. Сначала я очень расстроился, но затем досада перешла в своего рода раздражение. Несмотря ни на что, мы снова принялись за перевод его «Берлинского детства», однако ко мне он приходил перестал. Однажды я пригласил его на ужин, а он прислал мне записку с отказом: «Мне будет очень тяжело подниматься в гору по такой жаре. Боюсь, что я совершенно вымотаюсь, пока доберусь». Так что работу мы продолжили в Сан-Антонио, причём с большими перерывами. Впрочем, вскоре нам и вовсе пришлось прекратить эти занятия. Страдая от приступов средиземноморской лихорадки, я часами лежал на циновке и не мог ничего делать. А у Беньямина начали проявляться первые признаки малярии. Характер Беньямина по-прежнему был полон странностей, и со временем он становился только жёстче и язвительнее — по крайней мере, так думали наши знакомые. Но теперь, перебирая в памяти события тех лет и стараясь более объективно оценить окружавшую нас обстановку, я никак не могу избавиться от ощущения, что какой-то злой дух втайне пытался разлучить нас с Беньямином.

Тем не менее, никаких конкретных инцидентов, которые превратили бы эту мнимую ссору в настоящую, не последовало. А в октябре, когда Беньямин уехал с Ибицы, наша дружба, как бы нелепо это ни звучало, заметно охладилась. И хотя я получил от него дружеское письмо, но письмо это было единственным. В конце года я вернулся в Париж.

Мне довелось встретиться с ним лишь однажды — в марте 1934 года в кафе де Флор. Он тогда жил в отеле «Палас» на Сен-Жермен-де-Пре. Мне хотелось завершить начатую работу, и мы написали друг другу ещё несколько писем в связи с двумя новыми текстами его «Берлинского детства», перевод которых я как раз заканчивал: «Два духовых оркестра» и «Ловля бабочек». Мы договорились увидеться 20 апреля. Накануне намеченного дня я получил от него записку, сообщающую об отмене встречи. «Не без горечи, — писал он, — я вынужден подчиниться воле несчастливых звёзд, которые в последнее время светят над нашими головами. Я пишу Вам это письмо за час до срочного отъезда».

Причину такого скоропалительного отъезда он мне не объяснил, и с тех пор никаких известий я от него не получал. Больше я никогда его не видел. Наша дружба исчезла в тумане тайны, которым он любил окружать некоторые явления жизни и философской мысли, и за этой завесой я так и не смог разглядеть ничего, кроме отдалённого мерцания «несчастливых звёзд». Даже обстоятельства его смерти долгое время оставались для меня загадкой. И вплоть до сегодняшнего дня узнать все подробности не представляется мне возможным. Вот что написал мне профессор Теодор В. Адорно, один из самых близких друзей Беньямина и исполнитель завещания, управляющий его литературным наследием: «С точностью установить день смерти Вальтера Беньямина не удалось, но мы полагаем, что это произошло 26 сентября 1940 года: вместе с небольшой группой эмигрантов Беньямин перешёл через Пиренеи, рассчитывая получить убежище в Испании. В Порт-Бю эту группу задержала испанская полиция и сообщила им, что на следующий день их отправят в Виши. Ночью Беньямин принял колоссальную дозу снотворного и утром изо всех сил сопротивлялся оказанию помощи».

Вальтер Беньямин — один из самых умных людей, которых я только встречал в жизни. Он был, пожалуй, единственным, кто заставил меня почувствовать такую глубину мысли, в которой точные исторические и научные факты выстраиваются под влиянием строгой логики в единую структуру, позволяющую им сосуществовать со своими поэтическими двойниками, в структуру, где поэзия перестаёт восприниматься как форма литературного мышления и становится выражением действительности, открывающим все тайны взаимоотношений между человеком и миром.

Примечания

Ссылки на основные работы В. Беньямина, изданные на немецком языке, даются по семитомному Собранию сочинений (W. Benjamin. *Gesammelte Schriften*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1972–1989) под аббревиатурой GS с указанием тома (и части) и страниц.

Внутри текста Г. Шолема в угловых скобках приведены уточнения редакции, а в квадратных скобках — текст самого Г. Шолема.

Соблюдено написание имён и названий на французском языке.

Краткую информацию о персоналиях, не вошедших в примечания, см. в «Указателе имён».

¹ Лацис Ася, Анна Эрнестовна (1891–1979) — актриса, театр. режиссёр. Окончила гимназию в Риге, училась в психоневрологическом институте в Петербурге, в театр. студии Ф. Комиссаржевского, была ассистентом Б. Брехта в Германии. Познакомилась с Беньямином в 1924 г. на Капри. Способствовала его интересу к большевистским идеям. Лацис приехала в Москву в 1926 г., работала в «Совкино». Зимой 1926–1927 гг. Беньямин приехал в Москву (см. прим. 91), и одной из причин этой поездки была встреча с Лацис. В 1928 г. Беньямин посвятил ей книгу «Улица с односторонним движением» (см. прим. 247). В 1928–1930 гг. они вновь встретились в Берлине, где Лацис была референтом по вопросам культуры в торгпредстве СССР. В 1930 г. Лацис возвращается в СССР, и отношения с Беньямином прерываются. В 1938–1948 гг. была в заключении и ссылке. С 1948 г. жила в Латвии.

² Laci A. *Revolutionär im Beruf: Berichte über proletarisches Theater, über Meyerhold, Brecht, Benjamin und Piscator*. Hrsg. H. Brenner. München: Rogner & Bernhard, 1971, 1976. Вариант воспоминаний на рус. яз.: Лацис А. *Алая гвоздика*. Рига, 1984.

³ Benjamin Walter. *Briefe / Hrsg. und mit Anmerkungen versehen von Gershom Scholem und Theodor W. Adorno*. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1966.

⁴ См. с. 316–317 наст. издания и прим. 380.

⁵ Наст. изд. также воспроизводит своеобразие знаков В. Беньямина. Например, сохранён знак «слэш» (/).

⁶ В угловых скобках приведены уточнения от редакции.

Jung-Juda [Младоиудея] — немногочисленная группа старшеклассников и студентов (около 30 чел.), чей радикальный сионизм имел влияние на евр. молодёжь Берлина периода Первой мировой войны и начала 1920-х гг. Почти все члены группы (как и Шолем) были из ассимилированных нем. евреев. Молодые люди основательно изучали иврит, серьёзно относились к духовному наследию евр. народа. Г. Шолем был одним из самых активных членов «Младоиудеи».

⁷ Винекен Густав (1875–1964) — нем. педагог. Основал в 1906 г. в поселке Виккерсдорф (Тюрингия) «Свободную школьную общину» — интернат, где обучались и воспитывались мальчики и девочки. Наряду с традиц. предметами в общине много внимания уделялось труду, творческим занятиям. Учащиеся совместно с учителями управляли интернатом. Винекен входил в состав руководителей общины. Защищал идею самоценности юности. Считал, что только педагоги на лоне природы, а не семья, могут способствовать развитию культуры юности.

Когда В. Беньямину было 14 лет, то его, по соображениям здоровья, отправили в интернат в Тюрингии, где он познакомился с Г. Винекеном.

Jugendbewegung [Молодёжное движение] — движение первой трети XX в., возникшее под влиянием идей Винекена. Его члены, молодые люди из семей среднего класса, стремились уйти от жизни в промышленных центрах к естественной жизни на природе.

⁸ Книга написана в 1932 г. и вскоре издана. В 1933, 1934 и в 1938 гг. Беньямин сам переработал этот текст в другой, под названием «*Berliner Kindheit um Neunzehnhundert* (1932–1934/1938)» [Берлинское детство на рубеже веков], который при жизни автора не был издан. В 1950-е гг. Т. Адорно на основе сохранившихся рукописей и публикаций в периодике составил первое издание. В 1981 г. в Парижской национальной библиотеке были обнаружены рукописи Беньямина, которые он, уходя от фашистской оккупации, оставил для хранения Ж. Батаю. Среди этих рукописей был полный текст «Берлинского детства» в последней авторской редакции. Книга была издана с послесловием Т. Адорно (Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1987). На рус. яз.: Беньямин В. Берлинское детство на рубеже веков / Пер. с нем. Г. Снежинской. М.: Ad Marginem; Екатеринбург: Кабинетный учёный, 2012.

⁹ *Der Anfang* [Начало] — ежемесячный молодёжный журнал, выходивший с мая 1913 г. по июль 1914 г. Девиз журнала: «От молодёжи, для молодёжи!». Г. Винекен был членом редакции (см. прим. 7). Журнал просуществовал только один год.

¹⁰ См.: *Gesammelte Briefe*: B. I: 1910–1918. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1995.

¹¹ В. Беньямин был председателем «Свободного студенчества» в 1914 г.

¹² Hiller K. *Die Weisheit der Langeweile. Eine Zeit — und Streitschrift*. 2 Bde. Leipzig: Kurt Wolff Verlag, 1913. Reprint: Nendeln: Kraus Reprints, 1973.

¹³ «Geschlecht» можно понимать и как «пол», особенно если учитывать, что Курт Хиллер был одним из первых активистов гомосексуального движения в Германии.

¹⁴ К сути дела (*лат.*).

¹⁵ Монументальный многотомный труд «История евреев от древнейших времён до современности» (*Geschichte der Juden von den ältesten Zeiten bis auf die Gegenwart*. 11 Bde, 1853–1876). В издании отражены все важнейшие события евр. истории до середины XIX в. «Популярная история евреев» (1888–1891) — сокращённая версия этой работы.

¹⁶ Шолем Вернер (1895–1940) — брат Г. Шолема, один из лидеров германской компартии. Вместе с Гершомом был членом сионистского молодёжного движения «Младоиудея». В 1917 г. присоединился к Независимой социал-демократической партии. Тогда же увлёкся журналистикой. В 1920 г. вступил в Коммун. партию. В 1921 г. стал редактором газеты «Красный флаг» [Red Flag]. С 1924 г. член Политбюро ЦК Компартии Германии. В 1924–1928 гг. — депутат Рейхстага. Был соавтором декларации, написанной против преследования левой оппозиции в СССР, за что исключён из КПГ в 1926 г. В 1933 г. арестован по обвинению в поджоге Рейхстага. Отправлен в концлагерь Торгау, оттуда был переведён в Дахау (1937), затем в Бухенвальд (1938). Погиб в Бухенвальде в 1940 г.

¹⁷ Nettlau M. *Michael Bakunin. Eine biographische Skizze*. Berlin, 1901. На рус. яз.: Неттлау М. *Жизнь и деятельность Михаила Бакунина*. Пер. с нем. Пг.; М.: Голос труда, 1920.

¹⁸ Buber M. Drei Reden über das Judentum. Frankfurt. a. M.: Rütten & Loening, 1916. Слово «Judentum» можно понимать не только как «иудаизм», но и как «еврейство».

¹⁹ *Jüdische Rundschau* [Еврейское обозрение] — один из самых популярных немецкояз. евр. еженедельников; выходил с 1902 г., сначала один раз в неделю, затем — два. Издатель — Генрих Лёве. После массовых погромов Хрустальной ночи (с 9-го на 10 ноября 1938 г.) журнал вынужден был закрыться. Роберт Вельч был главным редактором газеты с 1919 г. до её закрытия. Во время нацизма Вельч опубликовал цикл статей, поддерживающих евр. национальный дух в условиях нового режима.

²⁰ Речь идёт о гимназии, находящейся в одном из центральных кварталов Берлина, Луизенштадте.

²¹ Матрикул — зачисление в списки принятых в высшее учебное заведение.

²² Нойкёльн — район в юго-восточной части Берлина, до 1920 г. — пригород Берлина.

²³ Фройнд Жизель (Гизела) (1908–2000) — франц. фотограф и историк фотографии нем. происхождения. В 1933 г. из Германии переехала в Париж, где познакомилась с А. Монье (см. прим. 419), С. Бич, Дж. Джойсом, В. Беньямином. Активно обсуждала в ту пору с Беньямином роль фотографии. Ж. Фройнд написала диссертацию о франц. фотографии XIX в., где попыталась объяснить природу фотопортрета. Монье всячески способствовала этой работе и опубликовала её в своём небольшом издательстве. В Германии работа вышла под названием «Фотография и гражданское общество» в 1968 г. Жизель Фройнд является создателем фотопортретов и интервьюером интеллектуальной элиты XX в. Ей принадлежит один из лучших фотопортретов В. Беньямина, который она сделала за два года до его гибели (см. с. 27 наст. изд.).

²⁴ Альт-Берлин — квартал в берлинском районе Митте, являющимся историч. центром города.

²⁵ Фридрихсграхт — набережная левого рукава Шпрее в центре Берлина.

²⁶ Меркишен Фиртель — квартал в центральном районе Берлина Рейникендорф.

²⁷ Здесь и далее в квадратных скобках вставки Г. Шолема. Речь идёт об изд., указанном в прим. 3 наст. изд.

²⁸ Оба молодых человека были из ассимилированных семей нем. евреев.

В. Беньямин вырос в семье состоятельного торговца антиквариатом. Атмосфера дома описана В. Беньямином в миниатюрах «Берлинского детства на рубеже веков» (см. прим. 8).

Отец Герхарда Шолема, Артур Шолем, владел типографией. В семье поддерживалось разумное уважение к собственным корням, но, по мнению отца, интерес Г. Шолема к иудаизму превышал допустимые пределы. Отец не сразу понял, что решение поменять имя Герхард на Гершом — окончательный выбор сына. См. прим. 85.

²⁹ Голубой и белый цвета впоследствии стали цветами израильского флага, где белый символизирует чистоту иудейского религиозного учения, а голубой — голубизну неба.

³⁰ Landauer G. Die Revolution. Essay. Frankfurt a. M.: Rütten & Loening, 1907. Переизд.: Münster: Unrast Verlag, 2003.

³¹ «Циммервальдская левая» — группа во главе с В.И. Лениным, сформировавшаяся на Первой международной социалистической конференции в Циммервальде (Швейцария, 5–8 сент. 1915 г.). Выступала за «превращение империалистической войны в войну гражданскую».

³² См.: Poincaré A. La valeur de la science. Paris: Flammarion, 1905. На рус. яз.: Пуанкаре А. Ценность науки. М. 1906.

³³ См. прим. 8 и с. 308–310 наст. изд.

³⁴ Для умного достаточно (*лат.*).

³⁵ Buber M. Daniel. Gespräche von der Verwirklichung. Leipzig: Insel Verlag, 1913.

³⁶ Buber M. Reden und Gleichnisse des Tschuang Tse. Leipzig : Insel Verlag, 1910.

³⁷ Baudelaire Ch. Les Fleurs du mal. Leipzig: Ernst Rowohlt Verlag, 1911. На рус. яз.: Бодлер Ш. Цветы зла. М.: Водолей, 2012.

³⁸ Издательство «Insel Verlag» [Остров] создано в Лейпциге в 1901 г. на основе одноимённого художественного журнала, выходившего в 1899–1902 гг. Сыграло значительную роль в становлении искусства книги. Славу издательству принесли серийные издания и сотрудничавшие с ним художники. «Библиотечка Инзель» — самая известная серия издательства, созданная в 1912 г., выходит и по сей день. В 1963 г. «Insel Verlag» объединилось с издательством «Suhrkamp Verlag».

³⁹ Мюллер Георг (1877–1917) — нем. книгопечатник, издатель, основатель «Verlag Georg Müller» (1903).

«Verlag Georg Müller» повлияло на развитие европ. книжного искусства, содействовало высокой культуре книги на массовом рынке. Г. Мюллер, имея широкие интересы, издавал нем. классиков, произведения мировой литературы, совр. авторов. Среди его авторов: Гёльдерлин Ф. (см. прим. 40), Шеербарт П. (см. прим. 93), Фридлиндер С. (см. прим. 106), Кубин А. (см. прим. 108).

⁴⁰ Hölderlin Friedrich. Gedichte 1800–1806, besorgt durch Norbert von Hellingrath. München; Leipzig: Verlag Georg Müller, 1916.

⁴¹ Вероятно, речь идёт о кн.: Crépieux-Jamin J. Les bases fondamentales de la graphologie et de l'expertise en écritures. Paris: Alcan, 1921 [Фундаментальные основы графологии и экспертизы почерка].

⁴² Вероятно, речь идёт о книге: Zunz L. Die vier und zwanzig Bücher der Heiligen Schrift. Berlin: Veit, 1838.

⁴³ Речь идёт о сборнике: Das Ziel. Aufrufe zu tätigem Geist [Цель. Призыв к деятельному духу]. München; Berlin: Verlag Georg Müller, 1916. Сборник вышел в серии под общим названием: Das Ziel. Jahrbuch für geistige Politik [Цель. Ежегодник интеллектуальной политики].

⁴⁴ Бад-Арендзее — курорт в Германии, в земле Саксония-Ангальт.

⁴⁵ Benjamin W. Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin («Dichtermut» und «Blödigkeit»), издано только в 1955 г. (Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag).

⁴⁶ Курфюрстендамм — знаменитый бульвар Берлина. В начале XX в. был окружён дорогими кварталами и являлся центром развлечений, покупок, общения. Славился обилием кафе, в которых встречались артисты, художники, писатели и их меценаты.

Café des Westens было одним из таких кафе. Представители литер. и худож. авангарда любили встречаться в нём в начале XX в. Среди завсегдатаев кафе были А. Жид, Т.С. Элиот, В. Набоков, Б. Брехт, Х. Вальден, П. Шеербарт. Первоначально кафе находилось по адресу Курфюрстендамм, 18/19 (1898–1915 гг.). В 1913 г. то же кафе открылось ещё по одному адресу: Курфюрстендамм, 26 (см. открытку на с. 42 наст. изд.). Об этом новом кафе в тексте и идёт речь.

12 сентября 1931 г. на Курфюрстендамм произошёл первый евр. погром. С приходом нацистов к власти артистичный дух улицы был уничтожен. В наст. время — главная торговая улица западной части Берлина.

⁴⁷ Благоразумие, осторожность (*лат.*).

⁴⁸ Мимоходом (*франц.*).

⁴⁹ Зеесхаупт — муниципалитет в Баварии, в 25 км к югу от Мюнхена.

Озеро Штарнбергзее (Вюрмзее, Фюрстензее) — второе по величине озеро в Баварии. Среди прочего прославилось тем, что на его берегу в 1886 г. нашли мёртвым Людвига II Баварского. Озеро фигурирует в поэме Т.С. Элиота «Бесплодная земля».

⁵⁰ См.: Theodor Herzl's Zionistische Schriften. Hrsg. L. Kellner. Berlin; Charlottenburg: Jüdischer Verlag, 1905. А также: Leon Kellner. Theodor Herzl's Lehrjahre 1860–1895. Nach den handschriftlichen Quellen [Леон Кельнер. Годы учения Теодора Герцля. 1860–1895. По материалам рукописных источников]. Wien; Berlin: Löwit, 1920 (первый том из двух запланированных томов биографии. Вторая часть так и не была опубликована).

⁵¹ Stumpf на нем. яз. означает «пень», а фамилия Riehl каламбурно рифмуется со словом Stiel — «стебель». Существует выражение «mit Stumpf und Stiel ausrotten» [выкорчевать до основания].

⁵² Rickert Heinrich John. Der Gegenstand der Erkenntnis: Ein Beitrag zum Problem der philosophischen Transcendenz. Freiburg, 1892.

⁵³ Первое изд.: von Baader F. Vorlesungen und Erläuterungen zu Jacob Böhmes Lehre. Leipzig, 1855. Оригинальный текст 1855 г. перепечатан в собрании сочинений Баадера: Sämtliche Werke: Band 13: Vorlesungen und Erläuterungen zu Jacob Böhmes Lehre. Hrsg. J. Hamberger. Neudruck der Ausgabe. Leipzig, 1855. Aalen: Scientia-Verlag, 1963.

⁵⁴ Совр. изд.: Schelling F. Vorlesungen über die Methode des akademischen Studiums. Hamburg: Meiner, 1974.

⁵⁵ Die Sprachphilosophischen Werke Wilhelm von Humboldts / Hrsg. H. Steintal. Berlin: F. Dümmler, 1833.

⁵⁶ Mautner F. Beiträge zu einer Kritik der Sprache. Stuttgart: J.G. Cotta, 1901–1902. Последнее изд. — 1982 г.

⁵⁷ Габилитационная диссертация в Германии даёт возможность получить место в университете в качестве ординарного или штатного профессора.

⁵⁸ Право читать лекции (*лат.*).

⁵⁹ Рассуждения о финно-угорском языковом типе у Гёте явно ошибочны.

⁶⁰ Альгой — местность у подножия Альп, поделённая между землями Бавария и Баден-Вюртемберг. Альпийские луга, чистейшие озёра, горные ручьи, холмы — всё это способствовало возникновению множества курортов.

⁶¹ Englischer Garten [Английский сад] — мюнхенский парк, разбитый в 1792 г. Начинается в самом центре Мюнхена и тянется полосой шириной в 1 км на север города. Является одним из крупнейших городских парков в мире (больше Центрального парка в Нью-Йорке).

⁶² *Der Jude* [Еврей] — ежемесячный журнал, выходивший с 1916 г. по 1928 г. Издатель — М. Бубер. Редакторы: Max Mayer, Max Präger, Gustav Krojanker, Ernst Simon, Siegmund Kaznelson. Первый и второй номера вышли в апреле и в мае 1916 г.

⁶³ Геппенгейм-ан-дер-Бергштрассе — город в земле Гессен, на склонах гор Оденвальд. Родина Мартина Бубера.

⁶⁴ *Die Weissen Blätter* [Белые листки] — лит.-полит. журнал экспрессионистов, выходивший в 1913–1920 гг. (в разное время в Лейпциге, Цюрихе, Берне и Берлине; редакторами были в разное время Эрик-Эрнст Швабах, Рене Шикеле, Эрнст Кассирер).

Das Zeit-Echo [Эхо времени] — журнал, издававшийся в Швейцарии Людвигом Рубинером в 1917 г. Вышло 4 номера.

Der Neue Merkur [Новый Меркурий] — литер.-полит. журнал, выходивший в Берлине в 1913–1920 гг. Редакторы — Эфраим Фриш, Вильгельм Гаузенштейн.

⁶⁵ *Berliner Lokal-Anzeiger* [Берлинская местная газета объявлений] — газета националистического и прокaiserского направления, выходившая в 1883–1945 гг.

Berliner Tageblatt [Берлинский ежедневник] — либерально-буржуазная газета, выходившая в 1872–1939 гг.

«Тётка Фосс» — речь идёт о «Die Vossische Zeitung», старейшей берлинской газете либерально-буржуазного направления, выходившей под разными названиями с 1721 г. (а под этим — в 1911–1934 гг.). В 1929 г. в ней из номера в номер печатался роман Ремарка «На Западном фронте без перемен».

⁶⁶ *Das Reich* — ежеквартальный литер.-религ. журнал, выходивший в Мюнхене в 1916–1920 гг.

⁶⁷ Schlegel F. Philosophie der Geschichte: In 18 Vorlesungen gehalten zu Wien im Jahre 1828 [Философия истории: 18 лекций, прочитанных в Вене в 1828 г.]. Schaumburg, 1829.

⁶⁸ Hölderlin F. Sämtliche Werke / Hrsg. C.T. Schwab. Stuttgart; Tübingen: Cotta, 1846, 2 Bde.

⁶⁹ Bothe F. H. Pindars Olympische Oden, in ihr Sylbenmaaß verdeutsch. Berlin: F. Braunes, 1808.

⁷⁰ Mach E. Erkenntnis und Irrtum: Skizzen zur Psychologie der Forschung. Johann Ambrosius Barth, Leipzig, 1905 (переизд. — 1917). Совр. изд.: Saarbrücken: Verlag Dr. Müller; Auflage: 1. 2006.

⁷¹ William J. Pragmatism: A New Name for Some Old Ways of Thinking. London / New York: Longmans, Green & Co., 1907. Hackett Publishing, 1981.

⁷² Статья Шолема «Еврейское молодёжное движение», написанная для журнала «Еврей» Бубера: Scholem G. Jüdische Jugendbewegung // *Der Jude*, I (1916–1917). S. 822–825.

⁷³ Ананке (Ананка) — судьба, принуждение, неизбежность (*греч.*). Также в древнегреческой мифологии имя богини судьбы. Осн. понятие философии Платона.

⁷⁴ Доведение до абсурда (*лат.*).

⁷⁵ Ritter J. W. Fragmente aus dem Nachlasse eines jungen Physikers. Ein Taschenbuch für Freunde der Natur. Heidelberg, 1810. Совр. изд.: Potsdam: Muller & Kiepenheuer, 1984.

⁷⁶ Экспромтом (*лат.*).

⁷⁷ Работа 1921 г. См.: Zur Kritik der Gewalt // GS, II (1). S. 179–204. На рус. яз.: Беньямин В. К критике насилия / Пер. с нем. И. Чубарова // Беньямин В. Учение о подоби. М.: РГГУ, 2012. С. 65–99.

⁷⁸ Бахофен Иоганн Якоб (1815–1887) — швейцарский историк права и антрополог. В 1920–е гг. возник интерес к его толкованию первобытной символики («Опыт о надгробной символике древних», 1859). Беньямин, работая над эссе «Франц Кафка» (1934), писал на франц. яз. работу «Иоганн Якоб Бахофен». Опубликовать тогда этот текст не удалось.

⁷⁹ «Забавные рассказы» (*франц.*). Вероятно, издание 1867 г. (Paris, Garnier Frères, s. d.). В издании свыше 400 иллюстраций Г. Доре.

⁸⁰ Хессель Франц (1880–1941) — нем. писатель, поэт, переводчик. Автор романов, сборников малой прозы и книги «Прогулки по Берлину» (1929), которой восхищался Беньямин (см. с. 208 наст. изд.). В Берлине работал в издательстве «Ernst Rowohlt Verlag». Переводил Ф. Стендаля, О. Бальзака, совместно с Беньямином перевёл два тома М. Пруста. В 1938 г. эмигрировал во Францию, в 1940 г. был интернирован в лагерь Санари-сюр-Мер (Франция). В 1941 г. освобождён, но вскоре умер.

⁸¹ Оберстдорф — самый южный курорт Германии, расположен в Альгойских Альпах.

⁸² Ф. Кафка, наряду с Ш. Бодлером и М. Прустом, был автором, к которому Беньямин постоянно возвращался. К 1916 г. он уже был знаком с произведениями Кафки. Из письма Беньямина Шолему от 21 июля 1925 г.: «Его короткую историю “У врат закона” и сегодня, как и десять лет назад, считаю одним из лучших рассказов, написанных на немецком языке» (см.: Беньямин В. Франц Кафка. М.: Ад Маргинем Пресс. 2013. С. 88). В том же источнике собрано практически всё, что Беньямином написано о Ф. Кафке, и опубликован небольшой текст С. Ромашко об истории возникновения интереса В. Беньямина к творчеству Ф. Кафки.

В наст. издании Г. Шолем дважды говорит о сожалении В. Беньямина по поводу упущенной возможности встречи с Ф. Кафкой. Такая встреча могла произойти в Мюнхене в 1916 г. Позже, на с. 239 наст. издания, Шолем упоминает несостоявшуюся встречу в Берлине (возможно, что Шолем все же имел в виду мюнхенскую встречу).

⁸³ Работа 1916 г. См.: GS, II(1), S. 140–157. На рус. яз.: Беньямин В. О языке вообще и о языке человека / Пер. с нем. И. Болдырева // Беньямин В. Учение о подобию. С. 7–26.

⁸⁴ Gutkind E. Siderische Geburt: Seraphische Wanderung vom Tode der Welt zur Taufe der Tat. 1910. Berlin: Schuster und Loeffler, 1914.

⁸⁵ На Рождество в семье Г. Шолема всегда наряжали ёлку. Когда Герхарду было 14, он нашёл под ней портрет Т. Герцля (основоположника современного сионизма): «Мы выбрали для тебя этот портрет, поскольку ты так интересуешься сионизмом», — пояснила мать. «С тех пор я не встречал Рождество дома», — написал Шолем много лет спустя.

Артур Шолем, отец Герхарда, был против увлечения сына иудаизмом и принял решение в феврале 1917 г. лишить его материальной поддержки.

⁸⁶ Невступающий в коммуникацию (*исн.*).

⁸⁷ Hirsch S. R. (под псевд. Ben Uziel). Neunzehn Briefe über das Judenthum. Altona, J.F. Hammerichsche Verlagsbuchhandlung, 1836.

⁸⁸ Hess M. Rom und Jerusalem. Leipzig: Eduard Mengler, 1899.

⁸⁹ Schillers Gespräche. Berichte seiner Zeitgenossen über ihn, herausgegeben von Julius Petersen. Leipzig: Insel Verlag, 1911.

⁹⁰ Имеется в виду знаменитый Изенгеймский алтарь, созданный Грюневальдом (ок. 1475–1528) в 1512–1516 гг., хранящийся в музее Унтерлинден в г. Кольмар (город Эльзаса, ныне Франция).

⁹¹ В. Беньямин был в Москве с 6 декабря 1926 г. по конец января 1927 г. Нашлось несколько причин для этой поездки. Формальные поводы — заказ статьи о Гёте для Большой Советской Энциклопедии (статья не попала в энциклопедию по причине её «неэнциклопедичности») и заказ большого очерка «Москва» М. Бубером для журнала «Die Kreatur» (см. прим. 259). Настоящей же причиной, очевидно, была встреча с Асей Лацис (см. прим. 1).

Беньямин откровенно рассказал об этой поездке в «Московском дневнике». В сжатом виде впечатления о поездке изложены в очерке «Москва» (Moskau. 1927 // GS, IV, S. 316; на рус. яз.: Беньямин В. Московский дневник. М.: Ад Маргинем Пресс, 2012. С. 212–249).

Из аннотации С. Ромашко к выставке, посвящённой В. Беньямину (Нижний Новгород, 2013): «Покидал Москву Беньямин с несбывшимися надеждами и почти в отчаянии. Но это путешествие в чужой мир необычайно расширило его горизонт. Именно с этого момента начинается "настоящий Беньямин" — философ, историк и теоретик культуры, основоположник теории медийности. Этот "послемосковский" Беньямин и стал, как теперь уже признано, одним из основных мыслителей Европы XX века».

⁹² См. прим. 85.

⁹³ Шеербарт Пауль (1863–1915) — нем. поэт, автор фантастических романов. Был одержим архитектурными фантазиями, автор трактата о стеклянной архитектуре. Увлекался идеей создания вечного двигателя. Беньямин был одним из первых критиков, оценивших его. Упоминается в нескольких произведениях В. Беньямина. Два из них, «Сюрреализм» и «Карл Краус», опубликованы на рус. яз. в кн.: Беньямин В. Маски времени. СПб.: Symposium, 2004. С. 273, 357. Существенная часть интервью Беньямина, которое он дал во время своего пребывания в Москве (декабрь 1926 г. — январь 1927 г.), посвящена П. Шеербарту и его влиянию на европ. ситуацию в искусстве в начале XX в.: Беньямин В. Московский дневник. С. 204–205. См. также текст Беньямина о Шеербарте в кн.: Шеербарт П. Собрание стихотворений. С прилож. эссе Й. Баадера и В. Беньямина / Пер. с нем., предисл. и коммент. И. Китупа. М.: Гилея, 2012. С. 182–185 (пер. с франц. С. Ромашко).

В наст. фрагменте идёт речь о кн.: Scheerbart P. Lesabéndio. Ein Asteroiden-Roman / Mit 14 Zeichnungen von Alfred Kubin. München; Leipzig: Verlag Georg Müller, 1913.

Рецензия Беньямина «Paul Scheerbart: Lesabéndio» написана между 1917–м и 1919–м гг. (GS, II(2), S. 618–620).

⁹⁴ Molitor F. J. Philosophie der Geschichte oder über die Tradition. 4 Bde. Frankfurt a. M. 1827–1853. Совр. изд.: Nabu Press, 2012.

⁹⁵ Ныне г. Ольштын (север Польши).

⁹⁶ Крафт Вернер (1896–1991) — нем. литератор, литературовед. Одним из первых обратился к творчеству Ф. Кафки.

Беньямин и Крафт познакомились в студенческие годы (1915). Период активного общения наступил в 1933 г., когда оба эмигранта встретились в Париже. Обсуждение текстов Ф. Кафки было глав-

ной темой их переписки. В конце 1930-х гг. произошёл разрыв отношений по инициативе Крафта.

См.: Беньямин В. Из переписки с Вернером Крафтом / Пер. с нем. М. Рудницкого // Беньямин В. Франц Кафка. С. 125–133.

⁹⁷ Очевидно, имеется в виду сам Г. Шолем (здесь свойственное Беньямину «иносказание»).

⁹⁸ Huch R. Der Fall Deruga. Berlin: Ullstein, 1917 — первое изд. Роман часто переиздавался.

⁹⁹ Нормативное написание в латинской транскрипции Shekhinah, букв. «обитание»; в евр. традиции это слово используется для обозначения имманентного присутствия Бога в мире, но не тождества Бога с миром, как это происходит в пантеистических толкованиях.

¹⁰⁰ Опять речь идёт о Г. Шолеме (см. прим. 97). *Schlechtmann* — дурной человек (нем.), явное противопоставление с: *Gutkind* — хороший мальчик (нем.).

¹⁰¹ Скорее всего, речь идёт об изд.: Rabelais François / G. Regis. Gargantua und Pantagruel. München: Verlag Georg Müller, 1916.

¹⁰² Наиболее известное сочинение В. Беньямина, над которым он работал в последние годы жизни. Работу можно воспринимать как итог размышлений Беньямина об искусстве. Первый вариант статьи был готов в конце 1935 г. Институт социальных исследований решил опубликовать статью на франц. яз., чтобы укрепить положение Беньямина в интеллектуальных кругах Франции, где он тогда находился. Работа вышла в первом номере журнала «Zeitschrift für Sozialforschung» за 1936 г. На нем. яз. работа впервые вышла в 1955 г. См.: GS, I (2), S. 471–508. На рус. яз.: Беньямин В. Произведение искусства в эпоху его технической воспроизводимости. Избранные эссе / Пер. с нем. С. Ромашко. М.: Медиум, 1996. С. 15–65.

¹⁰³ Раннее (в отличие от старческого) слабоумие (лат.).

¹⁰⁴ Имеется в виду Promotion, т. е. защита докторской диссертации без габилизации.

¹⁰⁵ «Восстание ангелов» (франц.).

¹⁰⁶ Минона (перевернутый «аноним») — псевдоним нем. писателя, философа Соломона Фридендера (1871–1946). Опубликовал под

настоящим именем ряд философских произведений, под псевдонимом — романы и рассказы, содержащие элементы гротеска, фарса, пародии. «Роза, хорошенькая жена полицейского» — наиболее известный сборник гротескных рассказов (*Rosa, die schöne Schutzmansfrau. Grotesken. Leipzig: Verlag der Weißen Bücher, 1913*). Сотрудничал с экспрессионистскими журналами, оказал влияние на берлинских дадаистов.

В 2008 г. в Германии начали издавать 30-томное собрание сочинений Миноны: GS / Hrsg. H. Geerken & Detlef Thiel. Herrsching: waitawhile / Books on demand 2005 ff. На сегодня издано 13 томов этого собрания. На рус. яз. был опубликован небольшой текст: Минона. Аэрософия // Дадаизм в Цюрихе, Берлине, Ганновере и Кёльне. М.: Республика, 2002. С. 28–30.

¹⁰⁷ Friedländer S. Schöpferische Indifferenz. München: Verlag Georg Müller, 1918. Также издано в собрании Миноны: GS, Bd. 10, 2009.

¹⁰⁸ Kubin A. Die andere Seite. Ein phantastischer Roman (mit 52 Illustrationen). München; Leipzig: Verlag Georg Müller, 1909. Совр. изд.: Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 2009. На рус. яз.: Кубин А. Другая сторона / Пер. с нем. К. Белокурова. М.; Екатеринбург: Кабинетный учёный, 2013.

¹⁰⁹ Grube W. Chinesische Schattenspiele. München: Verlag der Königlich Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 1915.

¹¹⁰ Одна из ранних работ Беньямина. Впервые была опубликована в 1921 г. в журнале «Die Argonauten». См.: Der Idiot von Dostojewskij // GS, II(1), S. 237–241. На рус. яз.: Беньямин В. «Идиот» Достоевского / Пер. с нем. С. Ромашко // Беньямин В. Маски времени. С. 21–26.

Беньямин вернулся к роману Достоевского в середине 1930-х гг. Сохранились рукописные наброски к будущей статье (GS, II(3), S. 979–980). Но работа так и не была завершена.

¹¹¹ Трактат находится в виде рукописи в иерусалимской Национальной библиотеке: Scholem arc 40 1599/277, National and University Library, Jerusalem, II: 128–133.

¹¹² Шолем организовал перепечатку рукописи В. Беньямина, сделанной рукой Доры. См.: GS, II(1), S. 157–171. На рус. яз.: Беньямин В. О программе грядущей философии / Пер. с нем. А. Рябовой // Беньямин В. Учение о подобии. С. 31–51 (в указанном издании дано подробное примечание об истории возникновения работы, её датировке, прилагается текстологическая справка).

¹¹³ Локарно — город в Швейцарии на берегу озера Лаго-Маджоре, у подножия Альп.

¹¹⁴ «Ekel» на нем. яз. означает «противный; омерзительный человек». «Ekel-Ekul» можно условно передать по-русски как «бьяка-бука».

¹¹⁵ Шребер Даниэль Пауль (1842–1911) — нем. судья, страдавший параноидальной шизофренией. Он описал своё состояние в кн. «Воспоминания невропатологического больного» [Denkwürdigkeiten eines Nervenkranken, 1903]. Совр. изд.: Giessen: Psychosozial-Verlag, 2003.

¹¹⁶ Freud S. Psychoanalytische Bemerkungen über einen autobiographisch beschriebenen Fall von Paranoia // Jahrbuch für psychoanalytische und psychopathologische Forschungen. III, 1. Hälfte. Leipzig; Wien: Franz Deuticke, 1911.

¹¹⁷ Лавр обыкновенный малый (*лат.*).

¹¹⁸ Сущность явления (*греч.*).

¹¹⁹ Мури — городок в 30 км от Цюриха. В нём находится один из старейших в Швейцарии монастырей.

Мост Кирхенфельд находится в центре Берна, между Casinoplatz и Helvetiaplatz; построен англичанами в 1883 г., является памятником инженерного искусства.

Тун — город в 30 км к югу от Берна.

¹²⁰ Cohen H. Kants Theorie der Erfahrung. F. Dümmmler, 1885. Совр. изд.: Saarbrücken: Verlag Dr. Müller, 2006.

¹²¹ Metaphysik der Jugend // GS, II, S. 91.

¹²² В скрытом виде, неявно, запутанно (*лат.*).

¹²³ «Искусственный рай» — произведение Бодлера об опыте приёма наркотиков. Одно из совр. изд.: Baudelaire C. Les paradis artificiels. Paris: Gallimard, 2007. На рус. яз.: Бодлер Ш. и др. Искусственный рай. Клуб любителей гашиша. М.: Аграф, 1997.

¹²⁴ Cohen H. Logik der reinen Erkenntnis. Berlin: Verlag von B. Cassirer, 1914.

¹²⁵ Одна из основных работ нем. теолога, профессора из Базеля, Бернулли К.А. (1868–1937) — «Ницше и Овербек»: Bernoulli K. Franz

Overbeck und Friedrich Nietzsche. Eine Freundschaft. 2 vol. Jena: Diederichs, 1908.

¹²⁶ Lehre vom Ähnlichen // GS, II (1), S. 204–210. На рус. яз.: Беньямин В. Учение о подобии / Пер. с нем. И. Чубарова // Беньямин В. Учение о подобии. С. 164–170.

¹²⁷ Здесь подразумеваются слова «для мира религии».

¹²⁸ Развёрнуто, ясно (лат.).

¹²⁹ Речь идёт о незаконченном произведении Г. Флобера «Лексикон прописных истин», напечатанном посмертно. На с. 65 наст. издания Г. Шолем уже упоминал это произведение Флобера, используя его подзаголовок — «Перечень изысканных мыслей». На рус. яз.: Флобер Г. Госпожа Бовари. Повести. Лексикон прописных истин / Пер. с франц. Т. Ириновой. М.: Художественная литература, 1989. С. 381–412.

¹³⁰ Название работы Канта.

¹³¹ Этот сборник впервые появился под псевдонимом в Швейцарии: *Deutsche Menschen. Eine Folge von Briefen. Auswahl und Einleitung von Detlef Holz* (Luzern: Vita Nova Verlag, 1936). Он состоит из писем известных людей XVIII–XIX вв., которые частично Беньямин анонимно уже публиковал в начале 1930-х гг.: см. прим. 345. В антологию входят, например, такие письма, как письмо Ф. Гёльдерлина к К. Бёлендорфу, И. Гёте к М. Зибеку (сыну Т. Зибек), Г. Келлера к Т. Шторму. Письма сопровождаются предисловиями Беньямина. Второе издание вышло в 1937 г. См.: *Deutsche Menschen* (1931–1932, 1936) // GS, IV, S. 149.

¹³² См. прим. 195.

¹³³ Baumgartner A. Goethe, sein Leben und seine Werke. Freiburg im Breisgau: Herder, 1923.

¹³⁴ Т. е. «уж лучше иезуит, чем представитель круга Стефана Георге».

¹³⁵ Kraus K. Heine und die Folgen. München: Albert Langen, 1910. Совр. изд.: Hrsg. Christian Wagenknecht. Stuttgart, 1986.

¹³⁶ Стихотворение «Архаический торс Аполлона» из сборника «Новые стихотворения» (1908); на рус. яз.: Рильке Р.М. Новые стихотворения. М.: Наука, 1977 (Серия «Литер. памятники»).

¹³⁷ *Die Literarische Welt* [Литературный мир] — влиятельный литер. еженедельник, издававшийся в 1925–1933 гг. В. Хаасом и Э. Ровольтом (см. прим. 251).

¹³⁸ Из «Часослова» (1905); на рус. яз.: Рильке Р.М. Часослов / Пер. с нем. С. Петрова. СПб: Азбука, 1998.

¹³⁹ Kandinsky W. Über das Geistige in der Kunst. Insbesondere in der Malerei. München R. Piper & Co Verlag, 1912. Совр. изд.: Benteli Verlag, Bern 2004. На рус. яз.: Кандинский В.В. О духовном в искусстве // Кандинский В.В. Избранные труды по теории искусства. Изд. второе, испр. и доп. / Ред. колл. и сост. Н.Б. Автономова, Д.В. Сарабьянов, В.С. Турчин. В 2 т. М.: Гилея, 2008. Т. 1. С. 104–170.

¹⁴⁰ «Der ewige Tag» [Вечный день] — первая и единственная книга стихов Георга Гейма, вышедшая при его жизни (Ernst Rowohlt Verlag, 1911). На рус. яз.: Гейм Г. Вечный день. / Пер. с нем. М. Гаспарова. М.: Наука, 2003 (Серия «Литер. памятники»).

¹⁴¹ Веймарский круг — окружение Гёте в период Веймарского классицизма (1786–1805).

¹⁴² Riegl A. Die spätrömische Kunstindustrie nach den Funden in Österreich-Ungarn dargestellt. 2 Bde. Wien, 1901 und 1923.

¹⁴³ См.: Жан-Поль. Приготовительная школа эстетики / Вступ. статья, сост., пер. с нем. и коммент. А.В. Михайлова. М.: Искусство, 1981.

¹⁴⁴ Интерлакен — деревня в кантоне Берн (Швейцария), климатический курорт; лежит в котловине, замкнутой горами, между озером Тун и озером Бриенц.

¹⁴⁵ Именно так, хотя имя Шолема *Gerhard* писалось без t.

¹⁴⁶ Фамилия «Винекен», прочитанная задом наперёд: речь идёт о нем. педагоге Г. Винекене (см. прим. 7).

¹⁴⁷ Scholem G. 95 Thesen über Judentum und Zionismus. Peter Schäfer / Gary Smith, 1918. Переиздано в кн.: Gershom Scholem zwischen den Disziplinen. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1995. S. 287–295.

¹⁴⁸ Работа вышла в университетском издательстве под названием: Benjamin W., Scholem G. Amtliches Lehrgedicht der Philosophischen Fakultät der Haupt- und Staats-Universität Muri / Von Gerhard Scholem. Pedell des religionsphilosophischen Seminars. Verlag der Universität, 1927. Отдельной книгой не выходила.

Университет Мури — см. с. 103 наст. изд.

¹⁴⁹ Agnon S. J. Und das Krumme wird gerade. Berlin: Jüdischen Verlag, 1918.

¹⁵⁰ Скорее всего, речь идёт об изд.: Agnon S. J. Zwei Erzählungen aus d. Hebr. / Übertr. von G. Scholem // Der Jude, 1924. Heft 4. S. 231–238.

¹⁵¹ Lessing T. Philosophie als Tat. Göttingen: Otto Hapke, 1914.

¹⁵² Имя Иероваал [Jerubbaal], «противоборство Ваалу», было дано Гидеону, пятому судье израильскому.

¹⁵³ См.: Бекфорд У. Ватек / Пер. с франц. Б. Зайцева // Фантастические повести. Л.: Наука, 1967 (Серия «Литер. памятники»). С. 163–228.

¹⁵⁴ Адельбоден — деревня на западе Бернского нагорья (Швейцария), располагающаяся террасами.

¹⁵⁵ Фаульхорн — небольшая вершина Бернских Альп (Швейцария), подъём на которую доступен любому человеку и не требует ни специального снаряжения, ни особой физической подготовки.

Мейринген — город в кантоне Берн, рядом с Рейхенбахскими водопадами. Там погиб герой Конан-Дойля Шерлок Холмс.

¹⁵⁶ Шиниге Платте — часть Бернского нагорья, высота 2076 м. С плато открываются прекрасные панорамные виды на вершины Бернских Альп.

¹⁵⁷ «О склоны гор, о дали», «До холодной могилы влачу свои ноги» — два романа Ф. Мендельсона на стихотворения Йозефа фон Эйхендорфа (1788–1857). Песни Эйхендорфа упоминаются, видимо, в связи с характерной для жизни Беньямина темой странствий.

¹⁵⁸ Здесь: самим фактом своего существования (*лат.*).

¹⁵⁹ На рус. яз. о Хуго Балле и Эмми Хеннингс см.: Архипов Ю.И. Предисловие // Балль Х. Византийское христианство / Пер. с нем. А.П. Шурбелёва. СПб.: Владимир Даль, 2008. С. 5–29.

¹⁶⁰ Газета «Die Freie Zeitung» издавалась в Берне в 1917–1920 гг.

¹⁶¹ Ball H. Zur Kritik der deutschen Intelligenz. Bern: Der Freie Verlag, 1919. Совр. изд.: Göttingen: Wallstein Verlag, 2005.

¹⁶² Bloch E. Geist der Utopie. München: Duncker & Humblot, 1918. Совр. изд.: Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1980.

¹⁶³ Берлинское издательство «Duncker & Humblot» существует с 1798 г., под этим названием — с 1809 г. Специализация — социальные науки, право, полит. литература. С 1915 г. по 1933 г. Людвиг Фейхтвангер являлся научным директором издательства. Среди авторов издательства: Г. Гегель, М. Вебер, К. Шмитт, Н. Луман и др.

¹⁶⁴ Наиболее вероятно, что у Э. Блоха было издание: Eisenmenger A. Entdecktes Judenthum. Dresden: Otto Brandner, 1893.

¹⁶⁵ Нёргерат Феликс (1885–1960) — нем. писатель и переводчик. В 1919 г. шесть дней был министром культуры Баварской Советской республики. В 1981 г. Шолем в журнале «Меркур» опубликовал статью «Вальтер Беньямин и Феликс Нёргерат».

¹⁶⁶ Lukács G. Metaphysik der Tragödie. Leipzig: Paul Ernst, 1910, in: Logos, 2 Bde, 1911. Совр. изд.: Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2011. Lukács G. Die Theorie des Romans. Bielefeld: Aisthesis Verlag, 2009.

¹⁶⁷ «Politische Schriften» Dostojewski F.M.; mit einer Einleitung von Dmitri Mereschkowski. München: R. Piper & Co. Verlag, 1923.

¹⁶⁸ Имеется в виду Зигфрид Каро (1898–1979); Хуне — швейцарский вариант нем. Hüne — «великан, богатырь, витязь».

¹⁶⁹ Краус Карл (1874–1936) — сатирик, эссеист, журналист, значительная фигура в нем. культуре начала XX в. Выступал за чистоту языка, литер. слова. Беньямин посвятил Краусу несколько статей и рецензий.

Сатирический журнал К. Крауса «Die Fackel» издавался в 1899–1936 гг. в Вене. С 1912 г. Краус был единственным его автором.

¹⁷⁰ Kraus K. Worte in Versen (1916–1930). Wien; Leipzig: Verlag Die Fackel, 1930.

¹⁷¹ Kraus K. Literatur oder Man wird doch da sehn. 1921 / Hrsg. M. Leubner. Göttingen: Wallstein Verlag, 1996.

¹⁷² «Раздавите гадину!» (*франц.*); слова Вольтера о католической церкви.

¹⁷³ Аггада — область талмудической литературы, содержащая афоризмы, поучения, историч. предания и легенды, облегчающие применение свода законов — галахи.

¹⁷⁴ Bialik Ch. N. Halacha und Aggada / Dt. von G. Scholem // Der Jude, 1919. Heft 1. S. 61–77.

Бялик Хаим Нахман (1873–1934) — евр. поэт, один из создателей совр. литературы на иврите. Издал антологию агады (1908–1909, совместно с И.Х. Равницким).

¹⁷⁵ Оценка «отлично» (*лат.*).

¹⁷⁶ Биль (франц. Бьенн) — город в кантоне Берн, на берегу Бильского озера, на границе немецкоязычной и франкоязычной Швейцарии.

Невшатель — город в кантоне Невшатель (Швейцария), на берегу Невшательского озера.

¹⁷⁷ Совр. изд.: Avé-Lallemant F. Ch. B. Das deutsche Gaunertum in seiner sozialpolitischen, literarischen und linguistischen Ausbildung zu seinem heutigen Bestande. Wiesbaden: Fourier, 1998.

¹⁷⁸ Лунгерн — деревня в кантоне Обвальден (Швейцария). Расположена на берегу одноимённого озера, раскинувшегося у подножия перевала Брюниг.

¹⁷⁹ Analogie und Verwandtschaft // GS, VI, S. 43.

¹⁸⁰ Sorel G. Réflexions sur la violence. Paris: Marcel Rivière & Cie, 1910. Совр. изд.: Paris: Seuil, 1990. Посл. изд. на рус. яз.: Сорель Ж. Размышление о насилии / Пер. с франц. Б. Скуратова, В.М. Фриче. М.: Фаланстер, 2013.

¹⁸¹ «Бросок костей никогда не исключает случайность» — последняя поэма Малларме, опубликованная при его жизни (1897). Mallarmé S. Un coup de dés jamais n'abolira le hasard. La Nouvelle Revue française. 1914 (опубл. посмертно в качестве книги). На рус. яз.: Малларме С. Сочинения в стихах и прозе / Пер. с франц. М. Фрейдкина. СПб.: Радуга, 1995. С. 270–296.

¹⁸² Клостерс-Сернеус — курорт на юго-востоке Швейцарии, в 10 км от более известного Давоса.

¹⁸³ Лугано — город в итальяноязычном кантоне Тичино (Швейцария, юг Альп), на берегу озера Лугано, около 200 км от Клостерс-Сернеус.

¹⁸⁴ Тузис, Сен-Бернарден и Мезокко — муниципалитеты в кантоне Граубюнден (юго-восток Швейцарии). Между Тузисом и Мезокко около 60 км.

¹⁸⁵ Описания природы Швейцарии, то и дело встречающиеся в письмах Беньямина, спорят с мнением С. Ромашко, изложенным

в статье к рус. пер. «Происхождения немецкой барочной драмы», о том, будто для Беньямина на земле не существовало ничего, кроме городов.

¹⁸⁶ В. Беньямин защитил в 1919 г. у Р. Хербертца в Берне первую диссертацию под названием «Понимание художественной критики в немецком романтизме».

¹⁸⁷ Земмеринг — красивейший курорт в восточной Австрии, на одноимённом перевале. Чистый воздух и великолепная природа привлекали аристократов с середины XIX в.

¹⁸⁸ Кидуш ха-шем — буквально: «освящение Имени Божьего». Согласно представлениям иудаизма, благие дела или, например, гибель за веру освящают Имя Божье. Антоним: хилул ха-шем, «осквернение Имени Божьего».

¹⁸⁹ Так резко Г. Шолем называет иудеохристианство.

¹⁹⁰ Фалькенберг — район в крайнем северо-восточном углу Большого Берлина, округ Лихтенберг.

¹⁹¹ *Angelus Novus* — название журнала, который планировал создать Беньямин. Эта мечта не была осуществлена. Название журнала возникло в связи с названием акварели Пауля Клее (1920), приобретённой Беньямином в 1921 г. Беньямин чрезвычайно ценил акварель и никогда с ней не расставался. От лица именно этого ангела Шолем написал стихотворение ко дню рождения Беньямина в 1921 г. (15 июля), которое было утеряно. Шолем, отвечая на просьбу друга, повторно послал стихотворение с письмом от 19 сентября 1933 г.

Беньямин благодаря названию акварели Клее ввёл термин «ангел истории» в свои тезисы «О понятии истории» (см. прим. 434). В наст. время акварель находится в Израильском музее в Иерусалиме.

¹⁹² Theologisch-politisches Fragment, 1920/1921 // GS, II, S. 203.

¹⁹³ Журнал «Die Argonauten» издавался в Гейдельберге в 1914–1916 гг., и потом ещё вышел один номер в 1921 г. Всего вышло 10 номеров.

¹⁹⁴ См. прим. 77.

¹⁹⁵ Юла Кон отвергла ухаживания В. Беньямина и вышла замуж за их общего знакомого, учёного-химика Фрица Радта, брата первой

невесты Беньямина, Греты Радт. Грета Радт вышла замуж за брата Юлы, Альфреда Кона.

¹⁹⁶ Видимо, имеется в виду Ольга Парем (см. с. 307 наст. изд.).

¹⁹⁷ В тексте именно так, хотя в 1923 г. государства Израиль ещё не было.

¹⁹⁸ Шабес-гой (буквально «субботний гой») — нееврей, нанимаемый ортодоксальными иудеями в субботу, когда они сами не могут трудиться по религиозным причинам.

¹⁹⁹ Goldberg O. Die fünf Bücher Mosis — ein Zahlengebäude. Berlin: Liebmann, 1908.

²⁰⁰ Goldberg O. Die Wirklichkeit der Hebräer. Berlin: Verlag David, 1925.

²⁰¹ О противоречиях между «сионистами-мечтателями» и «сионистами-эмпириками» см. письмо Шолема от 1 августа 1931 г. (с. 279–283 наст. изд.).

²⁰² Лихтерфельд — район в Берлине, в округе Штеглиц-Целендорф. Граничит с Далемом.

²⁰³ Die Aufgabe des Übersetzers // GS, IV, S. 9. Работа впервые была опубликована в 1923 г. как предисловие к книге Бодлера «Парижские картины» (двуязычное издание) в переводе В. Беньямина. Намерение опубликовать эту работу ещё в 1921 г., в первом номере журнала «Ангелус Новус», не было реализовано, так как не было осуществлено издание журнала. На рус. яз.: Беньямин В. Задача переводчика / Пер. с нем. И. Алексеевой // Беньямин В. Маски времени. С. 27–46.

²⁰⁴ Scholem G. Walter Benjamin und sein Engel. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1983. На рус. яз.: Шолем Г. Вальтер Беньямин и его ангел / Пер. с нем. Н. Зоркой // Иностранная литература. 1997. № 12. См. также прим. 191.

²⁰⁵ Wiener M. Die Lyrik der Kabbalah. Wien, Leipzig: R. Löwit Verlag, 1920.

²⁰⁶ См. прим. 106, 107.

²⁰⁷ Rosenzweig F. Der Stern der Erlösung. Kauffmann. Frankfurt a. M., 1921. Переизд.: Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1988, 2002.

²⁰⁸ Имеется в виду роман Анатоля Франса.

²⁰⁹ В оригинале «Nebbish» — на австр. диалекте означает «ничтожество; нуль».

²¹⁰ Речь идёт об Институте социальных исследований при Университете во Франкфурте-на-Майне. В период 1930–1940-х гг. вокруг Института, возглавляемого М. Хоркхаймером (с 1931), сложилось направление в философии и социологии XX в., получившее название «Франкфуртская школа». С приходом нацистов к власти и эмиграцией большинства сотрудников Институт базировался в Женеве и Париже (1934–1939 гг.), в США (с 1939 г.), затем опять во Франкфурте-на-Майне (с 1950 г.). Главные представители: Т. Адорно, В. Беньямин, З. Кракауэр, Л. Лёвенталь, Г. Маркузе, Ф. Поллок, Э. Фромм, Ю. Хабермас, М. Хоркхаймер. Главный печатный орган — *Zeitschrift für Sozialforschung* [Журнал социальных исследований].

²¹¹ См. прим. 191.

²¹² Речь идёт об Эрнсте Леви; см. в этой главе ниже.

²¹³ Работа издана пражским обществом евр. студентов в Лейпциге: *Vom Judentum: Ein Sammelbuch*. Leipzig: Kurt Wolff Verlag, 1913.

²¹⁴ Речь идёт о журнале берлинского «Еврейского Народного дома», основанного в 1916 г. Зигфридом Леманом (1892–1952) и служившего в 1920-е гг. для приёма беженцев из Восточной Европы. Ныне — часть берлинского Еврейского музея (Макс-Беерштрассе, 5).

²¹⁵ Горы Рён (Rhön), высшая точка — 950 м, находятся на границе земель Бавария, Гессен и Тюрингия; волнообразное высокогорье с лугами и болотами.

Шолем ошибается: в Вехтерсвинкеле находится Цистерцианское аббатство, принадлежащее епископу Вюрцбургскому, а не Бамбергскому.

²¹⁶ Bloch E. Thomas Münzer als Theologe der Revolution. Leipzig: K. Wolff, 1921. Переизд.: Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1962.

²¹⁷ *Die Weltbühne* — полит. и деловой журнал социалистически настроенных интеллектуалов, издавался в 1905–1933 гг. Его редактором был сначала Зигфрид Якобсон, а потом — Курт Тухольский. В 1945–1993 гг. продолжал издаваться в Восточном Берлине.

²¹⁸ В этом стихотворении И.В. Гёте из «Западно-восточного дивана» (1819) бесчисленным интерпретациям подвергались знаменитые строки:

И доколь ты не поймёшь:
Смерть — для жизни новой,
Хмурым гостем ты живёшь
На земле суровой.
(Пер. В.В. Левика).

²¹⁹ Тут игра слов: фамилию Buber можно понимать как произведённую от упомянутого в этом же предложении слова Bub(e) — «мальчишка» или «слуга, прислужник».

²²⁰ Игра слов: «разрешение на жизнь» — по образцу *venia legendi*, «разрешение читать лекции».

²²¹ Игра слов: «eingrimmig» по образцу «einstimmig» — «единодушно».

²²² Можно понимать и как «для пожилых» [Vorgerückte].

²²³ Кучер Артур (1878–1960) — реальный теоретик театра и литературовед, учитель Брехта и Пискатора, профессор Мюнхенского университета, а упомянутая книга представляет собой выдумку Беньямина.

²²⁴ Будь здоров! (*лат.*).

²²⁵ Педель — надзиратель за студентами (в дореволюционной России). Если в России это слова часто употреблялось неодобрительно и означало почти то же, что и «сексот», то в Германии «Pedell» — почтенный канцелярский термин.

²²⁶ Magnificus (*лат.*) — великолепный.

²²⁷ Видимо, смысл анекдота в том, что его герой перепутал сходно пишущиеся буквы «п» и «и» и прочёл «Kant» как «Kaut».

²²⁸ Cimelien (*греч.*). — редкие рукописи; сокровища библиотеки.

²²⁹ Bibl. Berol. = Biblia Berolinensis (*лат.*) — Берлинская Библия.

²³⁰ В оригинале — иудейская форма имени этого пророка: Билеам.

²³¹ В оригинале эти стихи написаны хотя и в рифму, но без соблюдения размера и с нарушением количества стоп.

²³² Впервые опубликована в журнале Г. фон Гофмансталя «Neue Deutsche Beiträge» (1924–1925). См.: Goethes Wahlverwandtschaften

// GS, I(1), 123. На рус. яз.: Беньямин В. «Избирательное сродство» Гёте / Пер. с нем. Н.М. Берновской // Беньямин В. Озарения. М.: Мартис, 2000. С. 58–121.

²³³ В оригинале: Seid viel begrüßt und heiß bedankt // Von Walter der an Trübsal krank.

У Гёте таких строк найти не удалось; скорее всего, это очередная мистификация Беньямина.

²³⁴ Имеется в виду единственная книга Шолема, вышедшая в Германии до отъезда в Палестину, комментарий к книге «Сефер ха-Бахир», представляющий собой переработку его диссертации: Scholem G. Das Buch Bahir, ein Schriftdenkmal aus der Frühzeit der Kabbala auf Grund der kritischen Neuausgabe. Leipzig: W. Drugulin, 1923.

²³⁵ Wolff L. On the Way to Myself. Communications to a Friend. London: Methuen, 1969. Нем. изд.: Innenwelt und Außenwelt. Autobiographie eines Bewußtseins. München: Rogner & Bernhard, 1971.

²³⁶ Переписку Беньямина с Рангом изучал итал. философ Джорджо Агамбен, что нашло отражение в его кн.: Агамбен Дж. Открытое. Человек и животное / Пер. с итал. Б. Скуратова. М.: РГГУ, 2012. С. 96–97.

²³⁷ Rang F. Deutsche Bauhütte. Ein Wort an uns Deutsche über mögliche Gerechtigkeit gegen Belgien und Frankreich und zur Philosophie der Politik. Sannerz; Leipzig: Gemeinschafts-Verlag Eberhard Arnold, 1924.

²³⁸ Зогар (сияние, *ивр.*) — основная и самая известная книга каббалистической литературы. Приписывается раввину Шимону Бар Йохан (II в. н. э.), но известность получила только в XIII в. благодаря раввину Моше де Леону.

²³⁹ На нем. яз. слово «fromm» означает «благочестивый». Erich Fromm можно воспринимать как «Эрих Благочестивый», по аналогии с именами и прозвищами королей.

²⁴⁰ В оригинале: Mach mich wie den Erich Fromm // Daß ich in den Himmel komm.

²⁴¹ Бад-Гомбург — нем. курорт в 25 км от Франкфурта-на-Майне. В середине XIX в. получил популярность благодаря целебным водам. Находится у подножия горного массива Таунус, среди ле-

сов. Известен тем, что в 1845 г. Гоголь сжёг здесь первый вариант «Мёртвых душ», а Достоевский полученные в Бад-Гомбурге впечатления описал в романе «Игрок».

²⁴² Sternberg F. Der Imperialismus. Berlin: Malik-Verlag, 1926.

²⁴³ Поалей Цион (Рабочие Сиона) — еврейские организации, появившиеся в конце XIX в., пытавшиеся соединить идеалы социализма и сионизма. Большинство партий ПЦ в Европе было создано в 1907 г. В 1930-е гг. влились во Всемирный союз сионистов-социалистов. В СССР организация была запрещена в 1928 г.

²⁴⁴ Мимоходом (*франц.*)

²⁴⁵ Т. е. у Агнона; см. этот же абзац выше.

²⁴⁶ Кракауэр Зигфрид (1889–1966) — нем. социолог, теоретик кинематографа, публицист. Беньямин и Кракауэр познакомились в начале 1920-х гг., когда Кракауэр представлял отдел литер. и киноcritики в газете «Франкфуртер цайтунг». Это знакомство облегчало Беньямину выход на страницы газеты. В 1933 г. Кракауэр эмигрировал в Париж. В 1940 г. был интернирован, переехал через Лиссабон в Нью-Йорк. Известность приобрёл, прежде всего, как исследователь пропагандистского искусства. Наиболее известные его работы: «От Калигари до Гитлера» (1957), «Теория кино» (1960).

Издана переписка Беньямина и Кракауэра: Walter Benjamin: Briefe an Siegfried Kracauer. Mit 4 Briefen von Siegfried Kracauer an Walter Benjamin. Marbach am Neckar: Dt. Schillergesellschaft, 1987.

²⁴⁷ Книга, вышедшая в 1928 г., была посвящена Асе Лацис: «Улица называется улицей Аси Лацис — по которой она, как инженер, ворвалась в автора» (см. прим. 1 и «Предисловие» Г. Шолема в наст. изд.). См.: Benjamin W. Einbahnstraße. Berlin: Ernst Rowohlt Verlag, 1928. На рус. яз.: Беньямин В. Улица с односторонним движением / Пер. с нем. И. Болдырева. М.: Ад Маргинем Пресс, 2012.

²⁴⁸ Так С. Ромашко переводит термин «Trauerspiel»; этот вариант принимается и здесь (см.: Беньямин В. Происхождение немецкой барочной драмы / Пер. с нем. С. Ромашко. М.: Аграф, 2002). Работа впервые вышла в издательстве «Ernst Rowohlt Verlag» в 1928 г. См.: Ursprung des deutschen Trauerspiels, 1923–1925, GS, I, S. 203.

Попытка защиты второй диссертации оказалась неудачной.

²⁴⁹ Ultima Thule — для римлян — загадочная земля на севере, край ойкумены. Здесь: самый дальний угол.

²⁵⁰ *Der Querschnitt* — журнал, издававшийся в 1921–1936 гг., сначала в Дюссельдорфе коллекционером Альфредом Флехтхаймом, как журнал его галереи. В 1924–1930 гг., при Германе фон Веддеркопе, он пережил период расцвета, среди его авторов были Э. Хемингуэй, М. Пруст, Э. Паунд, Дж. Джойс, журнал пропагандировал П. Пикассо, Ф. Леже, М. Шагала. С 1930 г. — в берлинском издательстве «Propyläen», издатель Л. Ульштейн.

²⁵¹ Ровольт Эрнст (1887–1961) — нем. издатель. Основал издательство «Ernst Rowohlt Verlag» (Leipzig — Paris) в 1908 г. Издал Ф. Кафку («Созерцание»), П. Шеербарта, В. Бенъямина («Улица с односторонним движением»). В годы нацизма испытывал большие трудности и чуть было не получил «запрет на профессию», так как продолжал публиковать евр. авторов и модернистов. Служил капитаном вермахта, в роте пропаганды, сначала в Греции, потом на Кавказском фронте, но в 1943 г. был уволен из армии за «политическую неблагонадёжность». В 1946 г. его сын Генрих Мария Ледиг возобновил деятельность издательства в Штутгарте, получив лицензию от американцев; в 1947 г. сам Ровольт получил лицензию от англичан и возобновил издательство в Гамбурге. В 1954 г. Ровольт стал почётным доктором Лейпцигского университета. С 1962 г. издательство располагается в Рейнбеке-под-Гамбургом.

²⁵² См. прим. 80.

²⁵³ Пьеса Г. фон Гофмансталя «Башня» впервые была опубликована в его журнале «Neue deutsche Beiträge»: Akt I, II (1923) и Akt III–V (1925). Полностью напечатана с тремя новыми конечными актами в 1928-м: Frankfurt a. M.: S. Fischer Verlag. Совр. изд.: *Gesammelte Werke in zehn Einzelbänden*. B. 3, Frankfurt a. M., 1979.

²⁵⁴ Hessel F. *Spazieren in Berlin*. Leipzig and Vienna: Verlag Dr. Hans Epstein, 1929. Совр. переизд.: *Mit einem Geleitwort von Stéphane Hessel*. Berlin: Verlag für Berlin-Brandenburg, 2011.

²⁵⁵ «Швабингский наблюдатель» — роман, написанный Ф. Хесселем в соавторстве с графиней Франциской цу Ревентлов, Оскаром А.Х. Шмитцем и Родериком Гухом и анонимно изданный в 1904 г. В романе высмеивается деятельность круга Георге. Швабинг — вошедший в моду в конце XIX — начале XX вв. богемный район Мюнхена.

²⁵⁶ Цоппот (ныне Сопот, Польша) — курорт на Балтийском море рядом с Гданьском.

²⁵⁷ Литератор (*франц.*).

²⁵⁸ Брошюра Л. Троцкого, вышедшая в 1925 г.

²⁵⁹ *Die Kreatur* — ежеквартальный журнал иудео-христианского диалога, издававшийся в 1926–1930 гг. Мартином Бубером от иудеев, Йозефом Виттигом — от католиков и Виктором фон Вайцеккером — от протестантов.

²⁶⁰ См. прим. 91.

²⁶¹ Страшно сказать (*лат.*).

²⁶² *Cahiers du Sud* — лит. журнал, издававшийся в Марселе в 1925–1966 гг. Первый издатель — Жан Баллар. Журнал прославился изданием сюрреалистов и близких к ним авторов: Рене Кривеля, Поля Элюара, Антонена Арто, Робера Десноса и др.

²⁶³ Имеется в виду Международный комитет интеллектуального сотрудничества, работавший в 1921–1946 гг. В его деятельности принимали участие А. Бергсон, А. Эйнштейн, М. Кюри, Т. Манн, Б. Барток и др. С 1946 г. его сменило ЮНЕСКО.

²⁶⁴ На рю де Лилль находится масса «культурных адресов». Среди них — квартиры Карла Маркса и Стендаля. Главная достопримечательность улицы — музей д'Орсе.

²⁶⁵ Свободный курс лекций (*франц.*).

²⁶⁶ Иисус, Царь Царей (*греч.*).

²⁶⁷ Кружок имени Эрнеста Ренана (*франц.*). Центр по истории религий и исследованиям происхождения христианства. Основан в 1949 г. Проспером Альфариком и Жоржем Ори. Существует и по сей день.

²⁶⁸ Здесь: в виде (*франц.*).

²⁶⁹ Антиб — курортный город на Лазурном берегу (Франция), между Каннами и Ниццей.

²⁷⁰ У Беньямина есть работа, посвящённая классике швейцарской литературы Г. Келлеру (1819–1890): Gottfried Keller // GS, II(I), S. 283–295.

²⁷¹ Отель дю Миди существует и сегодня, но находится на рю Рене Коти, 4, недалеко от бульвара Монпарнас.

²⁷² *Le Dôme Café* находится на бульваре Монпарнас. Существует с 1898 г. Было излюбленным местом артист. и литер. богемы.

La Coupole — кафе, открывшееся в 1927 г. по соседству от *Le Dôme Café* и успешно конкурирующее с ним. Славилось своей демократичностью. Посетителей также привлекал танцевальный зал, расположенный в подвале.

²⁷³ *Grand Guignol* — театр ужасов, существовавший на площади Пигаль (район Монмартр) с 1897 г. по 1963 г. Этот небольшой театр притягивал в равной степени обывателей и интеллектуалов.

²⁷⁴ Valéry P. *Soirée avec Monsieur Teste*. Editions de la nouvelle revue française, 1919. На рус. яз.: Валери П. Вечер с Господином Тестом / Пер. с франц. С. Ромова. М.: Искусство, 1976.

²⁷⁵ «Парижский крестьянин» (франц.) — роман Л. Арагона, классический текст сюрреализма (Paris, Gallimard, 1926).

²⁷⁶ Беньямин в то время (конец 1920-х гг.) задумал монументальную работу, посвящённую культуре Парижа XIX в., кратко именуемую «работой о пассажирах». Спустя более чем полтора десятилетия, в 1935 г., Беньямин написал план этой работы под названием «Париж, столица XIX столетия» с целью получить стипендию от Института социальных исследований (см. прим. 210). Этот план-конспект даёт представление о замысле автора. Исследование осталось незавершённым. См.: Беньямин В. Париж, столица XIX столетия / Пер. с нем. С. Ромашко // Беньямин В. Озарения. С. 153–167.

²⁷⁷ Библиотека «Бодлеяна» была названа так в 1598 г. в честь Томаса Бодлея (1544–1612), англ. дипломата и библиофила (существовала задолго до этого).

²⁷⁸ Магнес Иуда Леон (1877–1948) — обществ. и полит. деятель в Эрец-Исраэль. После получения образования в Германии (доктор философии) возглавлял реформистские синагоги в США. В 1903 г. организовал в Нью-Йорке самую крупную демонстрацию протеста против погрома в Кишинёве. Создал Общество самообороны, которое переправляло средства российским отрядам евр. самообороны. Движение взглядов в сторону традиционализма привело к разрыву с реформизмом. Стал лидером сионистского движения. Организовал Объединённую евр. общину Нью-Йорка (Кехилл), которая много сделала для евр. эмигрантов из Восточной Европы. Пацифистские и левополит. взгляды не позволили ему сделать карьеру общественного деятеля в США. В 1922 г. переехал с семьёй в Эрец-Исраэль. В 1923 г. организовал подготовительные работы

по открытию Еврейского университета в Иерусалиме. В 1925–1948 гг. возглавлял Еврейский университет (до 1935 г. — канцлер, затем первый президент). Его именем названо издательство при университете. Отказался от пацифистских взглядов во время Второй мировой войны. Был сторонником евр.-арабского сотрудничества, возглавлял открытую оппозицию плану раздела Палестины.

²⁷⁹ См. прим. 91, 259.

²⁸⁰ В Париже существует рю де Петербург, между площадью Европы и площадью Клиши.

²⁸¹ *Flics* — жаргонная кличка франц. полицейских.

²⁸² «Kriegerdenkmal» (Памятник воину), входит в состав книги «Улица с односторонним движением», см. прим. 247.

²⁸³ Находится на площади Сен-Жермен, 6. Основано в 1884 г. Было центром интеллектуальной жизни: его завсегдатаями были П. Сартр, А. Камю, Э. Хемингуэй, А. Бретон, Л. Арагон, Дж. Джойс, Б. Брехт и др.

²⁸⁴ См.: Gottfried Keller. 1932 // GS, I, S. 322.

²⁸⁵ См.: Alte vergessene Kinderbücher [Старые забытые детские книги]. 1924 // GS, III, S. 14.

²⁸⁶ См. прим. 232.

²⁸⁷ См. прим. 203.

²⁸⁸ Berliner Bibliophilen-Abend — берлинское общество библиофилов, основанное Фёдором фон Цоблитцем в 1905 г. Существует по сей день.

²⁸⁹ Имеется в виду пьеса «Жаль, что она развратница» (1633) драматурга и поэта Джона Форда (1586–1639), где автор с гуманистических позиций оправдывает женщину, греховно полюбившую своего брата.

²⁹⁰ Andrian L. Die metaphysische Ständeordnung des Alls, rationale Grundlagen eines christlichen Weltbilds. Leipzig: Bremer Presse, 1927.

²⁹¹ См. прим. 82.

²⁹² Г. Шолем написал работу «Über das Buch Jonas und den Begriff der Gerechtigkeit» в Берне в 1919 г. В наст. время работа издана в сборнике: Scholem G. Tagebücher 1917–1923. Frankfurt a. M.: Jüdischer Verlag, 2000.

- ²⁹³ Впервые опубликована в 1929 г. в газете «Литературный мир». На рус. яз.: Беньямин В. Сюрреализм: последняя моментальная фотография европейской интеллигенции / Пер. с нем. Е. Крепак // Беньямин В. Маски времени. С. 263–282.
- ²⁹⁴ Впервые опубликована в 1929 г. в газете «Литературный мир». В 1934 г. Беньямин внёс в текст изменения. На рус. яз.: Беньямин В. К портрету Пруста / Пер. с нем. Е. Зачевского // Беньямин В. Маски времени. С. 243–262.
- ²⁹⁵ *Pariser Tagebuch, 1929–1930* // GS, IV, S. 567.
- ²⁹⁶ В. Беньямин написал в 1928 г. рецензии на два романа Ж. Грина, с которым познакомился в 1928 г.: на «Адриенну Мезюра» и на «Монт-Синере». В 1929 г. он прочёл на радио доклад о Грине, переработанный вариант которого был опубликован М. Рихнером в 1930 г. в журнале *Neuen Schweizer Rundschau* (см. прим. 300). На рус. яз.: Беньямин В. Жюльен Грин / Пер. с нем. З. Мардановой // Беньямин В. Маски времени. С. 283–292.
- ²⁹⁷ *Aus dem Brecht-Kommentar, 1930* // GS, II, S. 506.
- ²⁹⁸ Очерк, посвящённый Краусу, Беньямин предполагал включить в книгу своих эссе, которую начал готовить в 1930 г. по предложению издательства «Ernst Rowohlt Verlag». Издание не осуществилось. Впервые опубликован в марте 1931 г. в литер. приложении к газете *Frankfurter Zeitung*. На рус. яз.: Беньямин В. Карл Краус / Пер. с нем. Г. Снежинской // Беньямин В. Маски времени. С. 313–358. О К. Краусе см. прим. 169.
- ²⁹⁹ См. прим. 82.
- ³⁰⁰ *Neue Schweizer Rundschau* — цюрихский журнал, издающийся с 1905 г. До 1926 г. он назывался *Wissen und Leben* [Знание и жизнь]. В 1922–1931 гг. его редактором был неоднократно упоминаемый Шоломом Макс Рихнер.
- ³⁰¹ На самом деле этого ориенталиста звали Ханс Генрих Шедер.
- ³⁰² Хирш Рудольф (1907–1998) — нем.-евр. писатель и журналист. В 1938–1945 гг. жил в Палестине. После войны вернулся в Германию, где стал ведущим судебным репортёром в ГДР.
- ³⁰³ Речь идёт о статье «Жизнь студентов»; см. прим. 43.
- ³⁰⁴ Здесь и теперь (*лат.*).

³⁰⁵ По специальности, по роду занятий (*лат.*).

³⁰⁶ Burckhardt C. J. *Kleinasiatische Reise*. München: Bremer Presse, 1925.

³⁰⁷ Urphänomen, по Гёте — это чистое созерцание идеи; наименьшая из возможных единиц сложного целого, создающая его форму. Так, Гёте интересовался прафеноменом цвета, прафеноменом растений, прафеноменом геологических форм.

³⁰⁸ Беньямин иронически грецизирует или латинизирует прилагательное от слова «Иерусалим». Впрочем, существует журнал «*Studia Slavica Hierosolymitana*».

³⁰⁹ Самый важный горный перевал в Швейцарии. Именно через этот перевал русская и австрийская армии под командованием А. Суворова совершили переход через Альпы (1799) во время русско-франц. войны (1798–1800).

В 1882 г. был построен железнодорожный тоннель длиной 15 км, названный Сен-Готардским.

³¹⁰ Комо — озеро в Италии, в 40 км к северу от Милана.

³¹¹ Green J. *Adrienne Mesurat*. Paris: Plon, 1927. См. также прим. 296.

³¹² Здесь Г. Шолем ошибается. Речь идёт о весне 1926 г.: см. прим. 91. См.: Goethe // GS, II, S. 705.

³¹³ Проявление большой силы, фокус, трюк (*франц.*).

³¹⁴ См. прим. 19.

³¹⁵ Банзин — курорт в Германии, на северном побережье острова Узедом, в 5 км от ныне польского города Свиноуйсце (Швейнемюнде).

³¹⁶ Развязка (*франц.*).

³¹⁷ Здесь: способ общения (*лат.*).

³¹⁸ Напрямую (*лат.*).

³¹⁹ Карплюс-Адорно Гретель (1902–1993) — нем. химик и предприниматель. Так, в 1933–1937 гг. ей принадлежала фирма по производству кожаных перчаток. В 1937 г. вышла замуж за Т. Адорно. Г. Адорно была одним из корреспондентов Беньямина. После войны она стала соиздателем наследия Адорно и части наследия Беньямина.

³²⁰ Меринг Вальтер (1896–1981) — нем. писатель, художник. В 1915–1917 гг. сотрудничал с журналом Х. Вальдена «Der Sturm». В 1917–1918 гг. — соучредитель берлинского «Клуба дада». В 1920-х гг. вместе с К. Тухольским основал берлинское литер.-полит. кабаре. В 1921–1924 гг. жил в Париже, затем вернулся в Германию. В 1933 г. бежал от нацизма снова во Францию, затем в США. В 1953 г. вернулся в Европу. Автор книги об истории дадаизма «Берлин дада» (Цюрих, 1959).

³²¹ Кёнигштейн — курорт в Германии (горы Таунус; земля Гессен) с большим количеством памятников архитектуры; среди них — Люксембургский дворец. В первой трети XX в. считался «местом отдыха крупной европейской буржуазии и культурной элиты».

³²² Корш Карл (1886–1961) — нем. теоретик КПГ 1920-х гг. Выступал против вульгаризации марксизма, стремясь восстановить его связи с гегельянством. По своим взглядам был близок к раннему Д. Лукачу. В 1930-х гг. отошёл от марксизма, но его взгляды оказали влияние на теоретиков Франкфуртской школы. С 1936 г. жил в США, где работал в Международном институте социальных исследований (Нью-Йорк).

³²³ *Happy End* — мюзикл 1929 г., созданный Б. Брехтом в соавторстве с Куртом Вайлем и Элизабет Хауптман. Премьера состоялась в берлинском театре Theater am Schiffbauerdamm 2 сентября 1929 г.

³²⁴ В архив; «под сукно» (лат.).

³²⁵ В 1925 г. Н. Гольдман и Я. Кляцкин приступили к изданию Еврейской энциклопедии на нем. яз. (Энциклопедия юдаика, тт. 1–10, Берлин, 1928–1934). Я. Кляцкин был её главным редактором.

³²⁶ *Juden in der deutschen Kultur* [Евреи в немецкой культуре], 1929, GS // II, S. 807.

³²⁷ Речь идёт об одной из статей: «André Gide und Deutschland» (1928, GS, IV, S. 497) или «Gespräch mit André Gide» (1928, GS, IV, S. 502).

³²⁸ См.: Johann Peter Hebel, 1929 // GS, II, S. 635; Hebel gegen einen neuen Bewunderer verteidigt, 1929 // GS, III, S. 203.

³²⁹ См.: Jünger E. *Krieg und Krieger*. Berlin: Junker und Dünhaupt Verlag, 1930.

³³⁰ Kommerell M. Der Dichter als Führer in der deutschen Klassik. Klopstock — Herder — Goethe — Schiller — Jean Paul — Hölderlin. Berlin: Bondi, 1928 ; Frankfurt a. M.: Klostermann, 1982.

³³¹ Альманах *Die Blätter für die Kunst* издавался мюнхенскими «космистами», а затем участниками круга Георга с 1892 г. до 1919 г.

³³² См. прим. 298.

³³³ Издательство *Gustav Kiepenheuer Verlag* основано Густавом Кипенхойером (1880–1949) в 1909 г. В нём издавались Б. Брехт, С. Цвейг, Л. Фейхтвангер и др. С 1947 г. — издательство *Kiepenheuer & Witsch*.

³³⁴ Bloch E. Spuren. Berlin: Paul Cassirer, 1930.

³³⁵ Кастайн Йозеф (Юлиус Каценштайн) (1890–1946) — писатель, историк. Родился в Германии, писал в основном на нем. яз. В 1920-х гг. оставил юридическую карьеру ради изучения истории евр. народа. «Саббатай Цви, мессия из Измира» (1930), «История евреев» (1931) — первые крупные его работы. В 1933 г. поселился в Эрец-Исраэль. В данном фрагменте речь идёт об изд.: Kastein Josef. Sabbatai Zewi der Messia von Ismir. Berlin: Ernst Rowohlt Verlag, 1930.

В 1937 г. Г. Шолем написал первое значительное исследование под названием «Искупление через грех», посвящённое центральной фигуре самого крупного в евр. истории мессианского движения. Работа была опубликована на иврите в сборнике Кнесет. Позднее это исследование приобрело более широкий замысел — см.: Шолем Г. Саббатай Цви и саббатинское движение при его жизни. В 2 т., 1954.

³³⁶ Die Aufgabe des Kritikers // GS, VI, S. 171.

³³⁷ *Uhu* — берлинский иллюстрированный журнал, выходил в издательстве *Ullstein* с 1 октября 1924 г. по 9 сентября 1934 г.

³³⁸ Kafka F. Beim Bau der Chinesischen Mauer, 1931 // GS, II, S. 676.

³³⁹ См. прим. 137.

³⁴⁰ Слово «Standrecht» в переводе М. Рудницкого (Беньямин В. Франц Кафка. С. 145) — «сословное право». Хотя одним из значений слова «Stand» является «сословие», а «Recht» — это «право», «Standrecht» означает «законы военного времени», «законы, допускающие применение военно-полевых судов».

³⁴¹ Спесь, гордыня (*греч.*).

³⁴² Ле Лаванду — курортный город у подножия горного массива на Лазурном берегу (Франция). Из Ле Лаванду можно одновременно увидеть три острова, составляющие группу «Золотые острова». Именно на этом курорте умер и похоронен в 1932 г. русский поэт Саша Чёрный.

³⁴³ Жюан-ле-Пен и Санари-сюр-мер — курортные городки на Лазурном берегу (Франция).

Санари-сюр-мер с приходом к власти национал-социалистов становится одним из центров немецкой антифашистской эмиграции. В 1930-е гг. здесь работали Б. Брехт, Л. Фейхтвангер, Т. Манн, Г. Манн, С. Цвейг, Э. Пискатор, Й. Рот, Ф. Хеслер и др.

³⁴⁴ Brecht B. Arbeitsjournal 1938–1955 / Hrsg. Werner Hecht. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1973 (3 тома).

³⁴⁵ Walter Benjamins Feuilleton-Reihe in der «Frankfurter Zeitung»: «Briefe» (1931–1932). Письма публиковались анонимно, с апреля 1931 г. по май 1932 г. В 1936 г. В. Беньямин включил всё, что на тот момент у него было, в антологию немецких писем XVIII–XIX вв. — см. прим. 131.

³⁴⁶ Аскона — италоязычный курортный городок на юге Швейцарии, расположен на берегу озера Лаго-Маджоре, в дельте реки Маджа.

³⁴⁷ Виссинг Эгон (1900–1984) был женат на Лизелотте Карплюс, сестре Гретель Карплюс (жене Т. Адорно).

³⁴⁸ Работа Пауля Клее — см. прим. 191.

³⁴⁹ Heller O. Der Untergang des Judentums: Die Judenfrage, ihre Kritik, ihre Lösung durch den Sozialismus. Wien, Berlin: Verlag für Literatur und Politik, 1931.

³⁵⁰ Tagebuch vom siebenten August neunzehnhunderteinunddreißig bis zum Todestag, 1931 // GS, VI, S. 441.

³⁵¹ Буквально «с крупинкой соли», т. е. «с известной оговоркой» (*лат.*).

³⁵² Der destruktive Charakter, 1931 // GS, IV, S. 396.

³⁵³ Издание было осуществлено как частное в количестве 25 экземпляров в 1926 г. под названием «Taschenpostille» в Gustav

Kiepenheuer Verlag (Leipzig-Weimar). Следующее издание вышло в 1927 г. под названием «Bertolt Brechts Hauspostille» (Berlin: Propyläen-Verlag).

³⁵⁴ См. прим. 8.

³⁵⁵ В. Беньямин дважды был на испанском острове Ибица (Ивиса — второй вариант названия острова и одного из крупных городов этого острова, входящего в архипелаг Балеарские острова в Средиземном море). Первый раз — в 1932 г., с апреля по июль. Второй раз Беньямин побывал здесь в 1933 г., с апреля по сентябрь (уже после эмиграции во Францию).

³⁵⁶ Сан-Антонио (ныне называется по-каталонски Сант Антони де Портмани) — крупнейший и самый шумный курорт острова Ибица.

³⁵⁷ Шокен Залман (1877–1959) — нем.-евр. публицист, бизнесмен, меценат. Вложил часть своего состояния в собрание евр. книг, рукописей, предметов искусства. В 1930 г. учредил Институт исследования среднев. евр. поэзии в Берлине. Там же в 1931 г. основал издательство «Шокен». В 1937 г. эмигрировал в Палестину. С 1940 г. жил в Нью-Йорке. В 1945 г. в США основал *Schocken Publishing House Ltd. New York*, с 1960 г. — часть издательства *Random House*.

³⁵⁸ *Ibizenkische Folge*, 1932 // GS, IV, S. 402.

³⁵⁹ Две части: *Kurze Schatten* (I), 1929 // GS, IV, S. 368; *Kurze Schatten* (II), 1933 // GS, IV, S. 425.

³⁶⁰ «Пармская обитель» Стендаля.

³⁶¹ Ментона — самый тёплый курорт Французской Ривьеры, расположен практически на границе с Италией.

³⁶² Бреннер — самый низкий из великих альпийских перевалов. Расположен на границе Австрии и Италии на железной дороге Инсбрук — Верона.

³⁶³ Лёчберг — один из крупнейших тоннелей в Швейцарских Альпах (1906–1909 гг., длина 14,6 км).

³⁶⁴ Вентимилья — небольшой городок в Италии на Лигурийском побережье, в 7 км от франц. границы.

³⁶⁵ Здесь — книги на католическую тему.

³⁶⁶ На нем. яз. «смерть» [der Tod] — мужского рода.

- ³⁶⁷ «Каббала» (1926) — первый роман амер. писателя Торнтона Уайлдера (1897–1975): Wilder T. The Kabala. NY: Albert & Charles Boni, 1926.
- ³⁶⁸ Марина ди Масса — приморский посёлок под городом Масса (Италия), на Лигурийском побережье, у подножия Апуанских Альп, недалеко от Каррары (провинция Тоскана).
- ³⁶⁹ См. прим. 35.
- ³⁷⁰ См. воспоминания Ж. Сельца о В. Беньямине в наст. издании.
- ³⁷¹ В Ницце нет отеля «Пти Парк», но есть отели «Пти Пале» [Petit Palais] и «Пти Трианон» [Petit Trianon].
- ³⁷² См. прим. 8.
- ³⁷³ Колонна Победы (Триумфальная колонна) была открыта в 1873 г. и находилась на Королевской площади (ныне пл. Республики). На своё нынешнее место (пл. Большая звезда, центр парка Тиргартен) колонна была перенесена в 1938–1939 гг. В то же время колонне была добавлена ещё одна, четвёртая, часть.
- ³⁷⁴ Adorno Theodor. Kierkegaard — Konstruktion des Ästhetischen [Кьеркегор — создание эстетического]. Tübingen: J. C. B. Mohr, 1933. Подробный разбор этой книги содержится у совр. франц. философа Д.С. Шиффера. На рус. яз.: Шиффер Д.С. Философия дендизма. Эстетика души и тела / Пер. с англ. Б. Скуратова. М.: Издательство гуманитарной литературы, 2011. С. 65–70 и в разных местах.
- ³⁷⁵ Андерс Гюнтер (Гюнтер Зигмунд Штерн) (1902–1992) — австрийский философ, писатель, активист антивоенного движения. Кузен В. Беньямина. В 1929–1937 гг. был мужем Х. Арендт.
- ³⁷⁶ Нойштеттин — ныне Щецинек (Польша), город в Померании.
- ³⁷⁷ Rosenberg A. Geschichte des Bolschewismus: Von Marx bis zur Gegenwart. Berlin: Ernst Rowohlt Verlag, 1932.
- ³⁷⁸ До сих пор; пока (*лат.*).
- ³⁷⁹ Леонхард Рудольф (1889–1953) — нем. писатель и коммунал. активист. В 1925–1927 гг. возглавлял группу писателей, куда входили Брехт, Дёблин, Меринг и пр. Речь идёт о его кн.: Das Wort (ein sinnliches Wörterbuch der deutschen Sprache) [Слово. Чувственный словарь немецкого языка], Berlin-Charlottenburg, I. Gräetz-Verlag, 1932.

³⁸⁰ Эта корреспонденция была возвращена Г. Шолему Федеральным архивом ГДР в 1977 г. в связи с его восьмидесятилетием и опубликована: Walter Benjamin — Gershom Scholem. 1933–1940. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1980.

³⁸¹ Agesilaus Santander, 1933 // GS, VI, S. 520 (первая редакция), 521 (вторая редакция). См. также прим. 204.

³⁸² Реховот — город в центральной части Израиля, в 20 км к югу от Тель-Авива. Основан в 1890 г. польскими евреями.

³⁸³ См. прим. 82.

³⁸⁴ Свендборг — город в Центральной Дании, на острове Фюн. Летом 1933 г. Б. Брехт с семьёй переселился в деревню Сковсбо-странд, недалеко от Свендборга. Беньямин гостил у Брехта в Дании трижды: в 1934 г. (с июля по октябрь), в 1936 г. и в 1938 г.

³⁸⁵ Речь идёт о сестре Беньямина.

³⁸⁶ Беньямин был в Сан-Ремо с октября по февраль. Именно здесь В. Беньямин встретился с Т. Адорно в 1938–1939 гг. последний раз.

³⁸⁷ Рю Домбаль — улица в 15-м округе Парижа, одном из самых густозаселённых районов, на левом берегу Сены.

³⁸⁸ Рю Робер Ленде — улица, проходящая неподалёку от рю Домбаль.

³⁸⁹ Probleme der Sprachsoziologie, 1935 // GS, III, S. 452.

³⁹⁰ См. прим. 102.

³⁹¹ Goldberg O. Maimonides: Kritik der Jüdischen Glaubenslehre. Wien: H. Glanz, 1935.

³⁹² Der Erzähler: Betrachtungen zum Werk Nikolai Lesskows // GS, II (2), S. 438. На рус. яз.: Рассказчик. Размышления о творчестве Николая Лескова / Пер. с нем. Н.М. Берновской // Беньямин В. Озарения. С. 345–365.

³⁹³ Фукс Эдуард (1870–1940) — нем. культуролог и историк, писатель, коллекционер произведений искусства и полит. активист (марксист). Автор «Иллюстрированной истории нравов от средневековья до современности» (3 т., 1909–1912), «Карикатуры у европейских народов» (1902–1911). Беньямин посвятил Фуксу работу «Фукс, коллекционер и историк»: Eduard Fuchs, der Sammler und der Historiker, 1934–1937 // GS, II, S. 465.

- ³⁹⁴ Strauss Leo. Philosophie und Gesetz: Beiträge zum Verständnis Maimunis und seiner Verläufer. Berlin: Schocken Verlag, 1935.
- ³⁹⁵ Der Autor als Produzent // GS, II (2), S. 683–701. На рус. яз.: Беньямин В. Автор как производитель / Пер. с нем. Б. Скуратова, И. Чубарова // Беньямин В. Учение о подобию. С. 133–163.
- ³⁹⁶ Институт изучения фашизма — самофинансировавшееся подразделение Национального фронта.
- ³⁹⁷ См. прим. 313.
- ³⁹⁸ ИНФА — аббревиатура Института изучения фашизма.
- ³⁹⁹ См. прим. 131.
- ⁴⁰⁰ Волей-неволей (*лат.*).
- ⁴⁰¹ Мидраш — раздел Устной Торы, включающий в себя толкование и разработку коренных положений евр. учения, содержащихся в Письменной Торе.
- ⁴⁰² Пил Роберт Уэлсли, 1-й Эрл Пил (1867–1937). Королевская комиссия предложила в 1937 г. изменения в статусе британского мандата на Палестину в ответ на продолжавшуюся полгода всеобщую забастовку.
- ⁴⁰³ Политические дела (*лат.*).
- ⁴⁰⁴ Giraudoux J. Pleins pouvoirs [Полномочия]. Paris: Gallimard, 1939.
- ⁴⁰⁵ Штрайхер Юлиус (1885–1946) — нацистский полит. деятель, основатель и редактор журнала *Der Stürmer* [Штурмовик], автор многочисленных — в том числе и детских — антисемитских книг. Казнён по приговору Нюрнбергского трибунала.
- ⁴⁰⁶ Содружество (*англ.*).
- ⁴⁰⁷ Über das mimetische Vermögen, 1933 // GS, II, S. 210.
- ⁴⁰⁸ См. прим. 102.
- ⁴⁰⁹ Scheerbart P. Revolutionäre Theater-Bibliothek. Groß-Lichterfelde; Berlin: E. Eisselt, 1904.
- ⁴¹⁰ См. прим. 93.
- ⁴¹¹ Речь идёт о работах: Über Sprache überhaupt und über die Sprache des Menschen, 1916 // GS, II, S. 140 [О языке вообще и о языке человека]; Die Bedeutung der Sprache in Trauerspiel und Tragödie, 1916 // GS, II, S. 137 [Значение языка в драме и трагедии].

⁴¹² Речь идёт о *Gesammelte Schriften* [Собрание сочинений], изданных в Suhrkamp, к которому постоянно обращается данное издание под аббревиатурой GS. В Собрание вошли почти все работы, архивные документы и письма В. Беньямина. Suhrkamp осуществил два издания В. Беньямина: семитомное (1972–1989) и шеститомное (1995–2000). Готовили к печати оба Собрания для издательства Р. Тидеман и Г. Швеппенхойзер.

⁴¹³ Боркенау Франц (1900–1957) — австр. публицист, историк культуры и социолог. В 1930-е гг. критиковал коммунал. террор против анархо-синдикалистов. В 1950-е гг. полемизировал с О. Шпенглером и А.Дж. Тойнби по поводу истоков и заката высоких культур.

⁴¹⁴ Хуцпа (*идиш*) — наглость в сочетании с находчивостью и остроумием.

⁴¹⁵ Термин «критическая теория» впервые появляется в статье М. Хоркхаймера «Традиционная и критическая теория» (1937). Совр. изд.: *Traditionelle und kritische Theorie*. Frankfurt a. M.: Fischer Taschenbuch-Verlag, 2011.

⁴¹⁶ Brod M. Franz Kafka: eine Biographie. Prag, 1937. На рус. яз.: Брод М. О Франце Кафке. М.: Академический проект, 2000.

⁴¹⁷ Céline L.-F. Bagatelles pour un massacre [Безделицы для погрома]. Paris: Éditions Denoël, 1937.

⁴¹⁸ Это только шутка (*франц.*).

⁴¹⁹ Монье Адриенна (1892–1965) — франц. поэт, издательница, книгопродавец, публицист, переводчик. Хозяйка книжной лавки и знаток франц. литературы. Лавка Монье «Дом друзей книги» и магазин англоязычной книги «Шекспир и компания», расположенный напротив (владелицей которого была её подруга Сильвия Бич), превратились в культурный центр Парижа. О той роли, которую сыграла А. Монье в жизни Беньямина, см. прим. 432.

⁴²⁰ Молодёжная «Алия» (алия — репатриация в Израиль, буквально «восхождение»). Организация, созданная в 1932–1933 гг., целью которой было спасение евр. детей и молодёжи от нацистов.

⁴²¹ Фарнгаген фон Энзе (урожд. Левин) Рахель (1778–1833) — нем. писательница, хозяйка салона в Германии в эпоху романтизма. Выступала за права евреев и женщин. Жена биографа Гёте, дипло-

мата и военного Карла Августа Фарнгагена фон Энзе (1785–1858). Речь идёт о книге Х. Арендт «Рахель Фарнгаген: жизнь еврейки», написанной в 1930-е гг., до эмиграции в Америку (Arendt H. Rahel Varnhagen. The life of a Jewess. London: East And West Library, 1957.) В книге рассматривается влияние социального и интеллектуального антисемитизма на судьбу человека.

⁴²² Евр. теологическая семинария (*англ.*).

⁴²³ Книгу М. Брода Беньямин в письме от 14.04.1938 назвал «белой магией вкупе с шарлатанством» (Беньямин В. Франц Кафка. С. 175).

⁴²⁴ Без исправлений; в том же виде; в данном состоянии (*франц.*).

⁴²⁵ С обеих сторон (*франц.*).

⁴²⁶ Kreuz-und Querfahrten: игра слов, которую можно понимать и как «крестовые и поперечные походы».

⁴²⁷ Отель «Литре» находится на Левом берегу Парижа, между районами Монпарнас и Сен-Жермен-де-Пре. Существует и сегодня. Рю де Ренн считалась основной торговой улицей Левобережья.

⁴²⁸ «Аксьон Франсез» — ультраправая монархистская и националистическая организация. Возникла в 1899 г. в ответ на дебаты по «делу Дрейфуса». Главным идеологом был Шарль Моррас. Существует по сей день как «Роялистский центр франц. действия».

⁴²⁹ В книге Р. Сафрански «Хайдеггер» приводится высказывание Ханны Арендт об Адорно. «Визенгрунд (один из противнейших людей, которых я знаю) сам пытался осуществлять политику глянц-шальтунга. Он и Хоркхаймер годами обвиняли в антисемитизме — или шантажировали угрозами таких обвинений — каждого в Германии, кто осмелился выступить против них. Это действительно мерзкая компания» (М.: Молодая гвардия, 2002. С. 551. Пер. с нем. Т. Баскаковой под ред. В. Брун-Цехового).

⁴³⁰ В долгосрочном измерении (*франц.*).

⁴³¹ Тихо Анна (1894–1980) — евр. художница, знаменитая своими рисунками и акварелями с видами Иерусалима. Родом из Моравии (Австро-Венгрия); с 1912 г. жила в Палестине. Дом Тихо — филиал Музея Израиля.

⁴³² В. Беньямин в сентябре 1939 г. был интернирован как подданный Германии, имеющий возраст до 49 лет (ему было 47), в тру-

довой концентрационный лагерь в Невере (Nevers, Бургундия, Франция). Вместе с Беньямином в лагере находился Ханс Заль (1902–1993), критик и переводчик. Он оставил воспоминания об этом периоде жизни Беньямина: Sahl Hans. Walter Benjamin im Lager // Scheurmann Ingrid, Scheurmann Konrad (Hrsg). Für Walter Benjamin. Dokumente, Essays und ein Entwurf. Eine Publikation des Arbeitskreises selbständiger Kultur-Institute e.V., AsKI. Bonn; Frankfurt a. M.: Suhrkamp, 1992. Заключённым разрешалось дважды в неделю писать письма, и Беньямин среди прочих написал и А. Монье (см. прим. 419), которая взялась организовать кампанию в защиту Беньямина. Она связалась с М. Хоркхаймером, Ж. Роменом, П. Валери и др. 16 ноября 1939 г. межминистерская комиссия во главе с А. Оппено (Henri Oppenot) рассмотрела дело и вынесла решение об освобождении Беньямина.

В настоящее время в Невере существует эспланада имени Вальтера Беньямина.

Ниже приводим целиком письмо В. Беньямина А. Монье (пер. с франц. М. Лепиловой по изд.: Benjamin W. Lettres françaises. Caen: Éditions Nous, 2013).

*Адриенне Монье
Невер, 21. 9. 1939*

Дорогая мадемуазель Монье,

быть может, Ваша консьержка сообщила Вам, что я приходил в субботу — за восемь дней до объявления войны — чтобы с Вами попрощаться. К сожалению, я не застал Вас дома. Мы все, как один, потрясены чудовищностью этой катастрофы. Будем же надеяться, что свидетели и свидетельства европейской цивилизации и французского духа смогут пережить кровавое неистовство Гитлера.

Я был бы безгранично счастлив получить от Вас весточку. Мой адрес — лагерь рабочих добровольцев, отделение 6, Кло Сен-Жозеф, Невер.

Чувствую я себя сносно. В питании здесь не ограничивают. Мы с нетерпением ждём решения о нашей дальнейшей судьбе. Все мужчины призывного возраста спешат записаться на военную службу. Я действительно готов отдать все свои силы на благо нашего дела. Но от моих физических сил проку нет. Я очень ослаб после пешего перехода от Невера до нашего лагеря. Врачи зоны заключения предписали мне «отдых».

У меня с собой есть рекомендации Валери и Ромена, но мне пока не представилась возможность ими воспользоваться. Аналогичная, но не так давно написанная и более соответствующая моему нынешнему положению рекомендация, возможно, послужила бы мне большим подспорьем. В завершение письма я от всей души желаю, чтобы Вам удалось уберечь всех близких людей и всё самое дорогое.

Неизменно преданный Вам, мадемуазель Монье,

Вальтер Беньямин

⁴³³ Духовно (*лат.*).

⁴³⁴ Речь идёт о тезисах «О понятии истории», написанных в начале 1940 г. Существует несколько вариантов текста. См.: GS, I(3), S. 691–704. На рус. яз.: Беньямин В. О понятии истории / Пер. с нем. С. Ромашко // Беньямин В. Учение о подобии. С. 237–253.

⁴³⁵ «Die Juden und Europa», 1940 — статья вышла в журнале *Zeitschrift für Sozialforschung*.

Совр. изд.: Horkheimer M. Autoritärer Staat. Die Juden und Europa. u. a. Aufsätze 1939–1941. Amsterdam: De Munter, 1967.

⁴³⁶ Йохман Карл Август (1784–1830) — нем.-балт. публицист. Беньямина заинтересовала его работа «О языке» (1828). См.: «Die Rückschritte der Poesie» von Carl Gustav Jochmann [«Регрессия поэзии» Карла Густава Йохманна], 1937; 1939 // GS, II, S. 572.

⁴³⁷ С соответствующими изменениями (*лат.*).

⁴³⁸ Имеется в виду сын Хенни Гурлянд, Йозеф.

⁴³⁹ Бирман — некая австрийка Карина Бирман.
Г-жа Липман — Зофия Липман.

Фройнд из «Тагебуха» — некая австрийка Грета Фройнд. «Тагебух» — название австрийского журнала.

⁴⁴⁰ Порт-Боу (именно так произносится по-каталонски) — испанский город, находящийся на границе с Францией. В 1940 г. именно сюда устремились беженцы из оккупированной Европы, чтобы из Португалии переплыть в США.

⁴⁴¹ Без гражданства (*франц.*).

⁴⁴² Так сказать (*франц.*).

⁴⁴³ Фигерас — город в Каталонии, Испания, родной город Сальвадора Дали.

⁴⁴⁴ Въездная виза (франц.).

⁴⁴⁵ Иерихон — город в Палестинской национальной автономии, в 30 км от Иерусалима, на берегу Иордана. Археологические раскопки Натуфийской культуры (12500–9500 гг. до н. э.) позволяют предполагать, что это — древнейший город мира (раскопки начались в 1918 г. и ведутся по сей день).

⁴⁴⁶ Скажи, почему ты здесь? (лат.). Вопрос из сатирико-дидактического романа немецкого писателя Иоганна Мошероша «Диковинные и истинные видения Филандера фон Зиттевальда» (1640–1642).

⁴⁴⁷ Диалектика любит диалектику (лат.).

⁴⁴⁸ Буквально: «уменьшение личности» (лат.), т. е. полное поражение в правах.

⁴⁴⁹ Применительно к конкретному человеку (лат.).

⁴⁵⁰ Berlin West, Wilmersdorf, wenn du willst [Западный Берлин, Вильмерсдорф, если тебе угодно].

⁴⁵¹ Berlin Ost; Berlin Nord [Восточный Берлин; Северный Берлин]. Восточная и северная части Берлина были скорее пролетарскими, а западная часть, в разных районах которой жил Беньямин, была буржуазной, а местами — аристократической.

⁴⁵² Здесь мы приводим воспоминания франц. писателя, худож. критика и историка искусства Жана Сельца (Jean Selz, 1904–1997) о В. Беньямине (см. с. 381–393 наст. изд. и прим. 355; фотографии В. Беньямина и Ж. Сельца на Ибике — см. с. 319 наст. изд. и задний клапан обложки).

Воспоминания Ж. Сельца «Вальтер Беньямин на Ибике» были впервые опубликованы в журнале *Les Lettres Nouvelles* (1954, № 11).

⁴⁵³ *Transition* [Переход] — ежемесячный литер. журнал, выходивший в Париже с 1927 г. по 1938 г.

⁴⁵⁴ Elliot P. *Life and Death of a Spanish Town*. New-York: Random House Inc., 1937.

⁴⁵⁵ Светильник, факел (франц.).

⁴⁵⁶ Тряпка, лоскут (франц.).

⁴⁵⁷ См. прим. 82.

⁴⁵⁸ См. прим. 392.

⁴⁵⁹ Об А. Монье см. прим. 419 и 432.

Речь идёт об издании: Le Narrateur. *Réflexions à propos de l'œuvre de Nicolas Leskov*, traduit par Adrienne Monnier, Mercure de France, n° 315, mai-août 1952.

⁴⁶⁰ Рассказчик. Размышления о творчестве Николая Лескова / Пер. с нем. Н. Берновской // В. Беньямин. Озарения. С. 358.

⁴⁶¹ Там же. С. 359.

⁴⁶² Там же. С. 353: «В средние века воспринимали пространственно и те значительные слова, которые были сказаны о чувстве времени в надписи на песочных часах в Ибице: "Ultima multis" [Для многих — последний <час> (лат.)]». Ж. Сельц обращает внимание на ошибку В. Беньямина с типом часов (в действительности они были механические); в рус. пер. «Рассказчика» допущена неточность: говорится о надписи на песочных часах — см. нем. оригинал (Walter Benjamin — *Illuminationen* / Hrsg. Siegfried Unseld. Frankfurt a. M.: Suhrkamp Verlag, 1977. S. 395).

⁴⁶³ Китайский квартал (исп.).

⁴⁶⁴ См. прим. 8.

⁴⁶⁵ См. прим. 102.

В переводе П. Клоссовски: Klossowski P. *L'œuvre d'art à l'époque de sa reproduction mécanisée* [1936, version française écrite avec Benjamin], *Écrits français* (éd. J.-M. Monnoyer). Paris: Gallimard, 1991. P. 140–171.

⁴⁶⁶ Вечерняя леди (исп.), разновидность вечнозелёных кустарников.

Указатель имён

- Абулафия* Авраам (1240–1291), евр. мыслитель, каббалист — 154
- Аве-Лальман* (Avé-Lallemant) Фридрих-Христиан (1809–1892), нем. криминалист, писатель — 142
- Агнон* Шмуэль Йосеф (1888–1970), израил. писатель, писал на иврите и идише — 121–123, 134, 145, 150, 169, 174, 175, 177, 190, 194, 195, 237, 297
- Адорно* (Adorno) Гретель (1902–1993), жена Т. Адорно, см. прим. 319 — 257, 258, 260, 347, 349
- Адорно* (Adorno) Теодор (1903–1969), нем. философ, социолог, теоретик музыки — 153, 196, 206, 257, 260, 268, 292, 293, 304, 310, 311, 322, 335, 341–343, 347–352, 359, 361, 363–365, 367, 392
- Ананке*, богиня неизбежности, судьбы в др.-греч. мифологии — 61
- Андерс* (Anders) Гюнтер (Гюнтер Зигмунд Штерн) (1902–1992), австр. писатель, философ, см. прим. 375 — 310
- Андреан* (Andrian) Леопольд Фердинанд (1875–1951), австр. писатель, драматург — 235
- Аполлон*, бог солнца в др.-греч. мифологии — 113
- Арагон* (Aragon) Луи (1897–1982), франц. писатель, полит. деятель — 222, 223
- Ардор*, псевдоним В. Беньямина — 19
- Арендт* (Arendt) Ханна (1906–1975), нем.-амер. философ — 99, 312, 346, 351, 356–359, 364, 367
- Аристотель* (384–322 до н. э.), др.-греч. философ, учёный — 102, 105
- Ася*, см. Лацис Ася
- Ахад Ха'ам*, Ашер Гирш Гинцберг, (1856–1927), евр. мыслитель, публицист — 60, 61, 70, 175, 194, 227, 281
- Баадер* (Baader) Франц Ксавер фон (1765–1841), нем. философ — 48, 55, 74, 75, 81
- Бакунин* Михаил (1814–1876), теоретик анархизма — 22

- Балль* (Ball) Хуго (1886–1927), нем. поэт, писатель, историк религии — 133, 135, 143
- Бальзак* (Balzac) Оноре (1799–1850), франц. писатель — 65, 81
- Барбизон* (Barbizon) Георг (псевдоним Георга Грегора), издатель журнала «Начало» — 19, 41, 43
- Барт* (Barth) Карл (1886–1968), швейц. теолог — 335
- Баумгардт* (Baumgardt) Давид (1890–1963), нем.-амер. философ — 51
- Баумгартнер* (Baumgartner) Александр (1841–1910), нем. писатель — 110
- Баух* (Bauch) Бруно (1877–1942), нем. философ — 89, 90
- Бахман* (Bachmann) Пауль (1837–1920), нем. математик — 89
- Бахофен* (Bachofen) Иоганн Якоб (1815–1887), швейц. историк культуры, см. прим. 78 — 64, 106, 284
- Бек* (Baesk) Лео (1873–1956), теолог, глава евр. общины в Германии в период нацизма — 247
- Бекфорд* (Beckford) Уильям (1760–1844), автор волшебной сказки «Ватек» — 126
- Бенно* (Benno) Якоб (1862–1945), раввин — 262
- Беньямин* (Benjamin) Георг, брат В. Беньямина — 35, 36
- Беньямин* (Benjamin) Дора, сестра В. Беньямина — 35, 265, 324, 325, 330, 333, 350
- Беньямин* (Benjamin) Дора Софи, урожд. Кельнер, по первому мужу — Поллак (Pollak) (1890–1964), жена В. Беньямина (1917–1930) — 13, 46, 47, 56, 57, 65, 66, 69–71, 74, 75, 78–84, 87, 88, 91, 92, 95–99, 102, 104, 115, 117, 121, 124, 129–131, 133, 137, 140–142, 145, 146, 150–152, 156–159, 162, 166, 170, 179, 181, 184, 187, 190, 193, 199, 209, 217, 234, 235, 252, 253, 256, 257, 264, 268, 276, 277, 289, 291, 306, 310, 346
- Беньямин* (Benjamin) Стефан Рафаэль (1918–1972), сын В. Беньямина и Доры — 93, 118, 156, 305, 309, 332
- Бен-Гурион* Давид (1886–1973), гос. деятель Израиля, в конце 1920-х—1930-х гг. — организатор, а затем лидер Рабочей партии Земли Израиля (МАПАЙ) — 248

- Бергман* (Bergman) Шмуэль Хуго (1883–1975), евр. философ — 54
- Бердичевский* Миха Йосеф (Бен Горион Миха Йосеф) (1865–1921), евр. мыслитель, писатель, историк — 224, 225
- Бернардо* Саагун, *Бернардино* де Саагун (Bernardino de Sahagún, 1499–1590), испанский миссионер, работавший в Мексике — 67
- Бернулли* (Bernoulli) Карл Альбрехт (1868–1937), нем. теолог — 106
- Бернфельд* (Bernfeld) Зигфрид (1892–1953), австр. психолог, сотрудник и биограф З. Фрейда; издатель журнала «Начало» — 19, 41, 125
- Бертух* (Bertuch) Фридрих-Юстин (1747–1773), нем. издатель, писатель, переводчик — 115
- Бетховен* (Beethoven) Людвиг (1770–1827), нем. композитор — 152
- Бёме* (Böhme) Якоб (1575–1624), нем. философ — 48
- Бёрингер* (Behringer) Роберт (1884–1974), швейц. литератор, промышленник, один из распорядителей архива С. Георге — 186
- Бирман* (Birmann) Карина, спутница В. Беньямина в бегстве из Франции — 365, 366
- Бласс* (Blass) Эрнст (1890–1939), нем. поэт — 155
- Блей* (Blei) Франц (1871–1942), нем. писатель, критик — 113
- Блейхроте* (Bleichrode) Исаак (1867–1954), раввин, учитель Шолема — 37
- Блох* (Bloch) Эрнст (1885–1977), нем. философ — 133–136, 143, 146–149, 155, 164, 166, 180, 181, 200, 201, 230, 257, 260, 270, 289, 375, 379
- Блюменталь* (Blumenthal) Герберт (Бельмор), школьный товарищ Беньямина — 18, 79
- Блюменталь* Лео, см. Лёвенталь Лео
- Блюхер* (Blücher) Генрих (1899–1970), нем. поэт, муж Х. Арендт — 346
- Бодлер* (Baudelaire) Шарль (1821–1867), франц. поэт — 35, 36, 87, 155, 166, 191, 199, 200, 227, 348, 350, 352, 354, 356

- Бой* (Boy) Ева, псевдоним Хоммель (Hommel) Евы (1905–1987), нем. писательница, жена ван Хобокена — 289–290
- Боймкер* (Bäumker) Клеменс (1853–1924), нем. теолог, историк философии, учитель Г. Шолема — 188
- Боркенау* (Borkenau) Франц (1900–1957), австр. писатель, публицист, см. прим. 413 — 342
- Борхардт* (Borchardt) Юлиан (1868–1932), нем. историк, экономист — 31
- Боте* (Bothe) Фридрих Генрих (1771–1855), нем. поэт, филолог, переводчик — 59
- Брауэр* (Brauer) Эрих, друг юности Г. Шолема — 30, 45, 113, 126, 131, 151
- Брейзахер* Хаим, доктор, герой романа Т. Манна «Доктор Фаустус» — 164
- Бреннер* (Brenner) Йосеф Хаим (1881–1921), евр. писатель — 138
- Бретон* (Breton) Андре (1896–1966), франц. писатель, поэт — 222
- Брехт* (Brecht) Бертольт (1898–1956), нем. драматург, см. прим. 384 — 87, 194, 195, 238, 239, 260–262, 268–271, 274, 278, 284, 286, 293, 294, 307, 323, 324, 333–338, 344, 368–369, 375
- Брион* (Brion) Марсель (1895–1984), франц. историк, писатель — 216
- Брод* (Brod) Макс (1884–1968), австр. писатель, биограф Ф. Кафки — 343, 347
- Бубер* (Buber) Мартин (1878–1965), нем. философ, теоретик сионизма, переводчик и комментатор Библии — 22, 23, 34, 35, 39, 53, 54, 56, 59, 60, 61, 138, 148, 175, 183, 184, 192, 194, 210, 228, 303
- Бувар* (Bouvard), герой последнего романа Г. Флобера — 65, 98
- Бузони* (Busoni) Ферруччо Бенвенуто (1866–1924), итал. пианист, композитор — 101
- Бурдах* (Burdach) Конрад (1859–1936), нем. германист, историк литературы, историк искусства — 241
- Буркхардт* (Burckhardt) Карл Якоб (1891–1974), швейц. дипломат, историк — 242
- Буркхардт* (Burckhardt) Якоб (1818–1897), швейц. историк культуры — 106

- Бурхардт* (Burchardt) Эльза, первая жена Г. Шолема — 136, 140, 167, 168, 170, 173, 174, 183, 202, 213, 220, 224, 229, 242, 246, 247, 249, 264, 266, 267, 271, 272, 273, 286, 325
- Бухгольц* (Buchholz) Инга, подруга В. Беньямина — 292, 318
- Бушор* (Buschor) Эрнст (1881–1961), нем. археолог — 113
- Бялик* Хаим Нахман (1873–1934), евр. поэт, см. прим. 174 — 138, 139, 194
- Вайцзеккер* Виктор фон (1876–1957), нем. физик, физиолог — 228
- Валери* (Valéry) Поль (1871–1945), франц. поэт — 221, 222
- Ванцетти* (Vanzetti) Бартоломео (1888–1927), итал. рабочий-анархист — 229
- Вебер* (Weber) Макс (1864–1920), нем. социолог — 186
- Вебер* (Weber) Марианна (1870–1954), жена М. Вебера — 186
- Вейсбах* (Weissbach) Рихард (1882–1950), нем. издатель — 155, 170, 191, 199
- Вельч* (Weltsch) Роберт (1891–1982), израил. публицист, см. прим. 19 — 251
- Верлен* (Verlaine) Поль (1844–1896), франц. поэт — 81
- Верфель* (Werfel) Франц (1890–1945), нем. писатель — 39
- Визенгруд*, *Визенгруд-Адорно*, см. *Адорно Т.*
- Виллен* (Villain) Рауль (1885–1936), франц. националист, совершивший убийство франц. лидера социал. движения Жана Жореса — 389
- Вильгельм II* (1859–1941), герм. император и король Пруссии (1888–1918) — 177, 178, 384
- Винекен* (Wyneken) Густав Адольф (1875–1964), нем. педагог, см. прим. 7 — 17, 19, 120
- Винер* (Wiener) Меер (1893–1941), историк литературы, критик, эмигрировал из Германии в СССР (1926) — 167
- Виссинг* (Wissing) Эгон (1900–1984), кузен В. Беньямина, см. прим. 347 — 290, 304, 305
- Вольтерс* (Wolters) Фридрих Вильгельм (1876–1930), нем. историк, поэт из круга С. Георге, переводчик — 267
- Вольф* (Wolff) Шарлотта (Лотта) (1897–1986), врач, писательница — 190, 191

- Вольфенштейн* (Wolfenstein) Альфред (1883–1945), нем. поэт — 39
- Вольфрадт* (Wolfradt) Вилли, школьный товарищ Беньямина, беллетрист — 18
- Вольфскель* (Wolfskehl) Карл (1869–1948), нем. писатель, переводчик, издатель — 236
- Габорио* (Gaboriau) Эмиль (1832–1873), франц. писатель — 65
- Гаман* (Hamann) Иоганн Георг (1730–1788), нем. философ, писатель — 371
- Гамбоа* (Gamboa) Андреа, художник — 389
- Гарнак, Харнак* (Harnack) Адольф фон (1851–1930), нем. историк — 100
- Гарнье* (Garnier) Морис (1880–1945), франц. художник, скульптор — 389
- Гегель* (Hegel) Георг Вильгельм Фридрих (1770–1831), нем. философ — 62, 63, 203, 350
- Гейгер* (Geiger) Лацарус (1829–1870), нем. языковед — 178
- Гейгер* (Geiger) Мориц (1880–1937), нем. философ, психолог — 69
- Гейзе* (Heyse) Ханс (1891–1976), нем. философ — 136, 140
- Гейм* (Heym) Георг (1887–1912), нем. поэт — 92, 115
- Гейман* (Heymann), музыкант — 131
- Гейман* (Heymann) Мориц — 166
- Гейне* (Heine) Генрих (1797–1856), нем. поэт — 41, 111, 178
- Геллер* (Heller) Отто (1897–1945), автор книги «Закат еврейства» — 290
- Георге* (George) Стефан (1868–1933), нем. поэт — 36, 40, 113, 186, 208, 230, 267, 385
- Герен* (Guérin) Морис (1810–1839), франц. поэт — 83
- Герстенберг* (Gerstenberg) Генрих Вильгельм фон (1737–1823), нем. писатель — 37
- Герцль* (Herzl) Теодор (1860–1904), евр. общ. и полит. деятель — 46, 70
- Гесс* (Хесс, Hess) Мозес (1812–1875), евр. философ — 70, 227
- Гёльдерлин* (Hölderlin) Фридрих (1770–1843), нем. поэт — 35, 38, 40, 58, 59, 63, 65, 105, 110, 139, 227

- Гёте* (Goethe) Иоганн Вольфганг (1749–1832), нем. поэт — 49, 109, 110, 129, 157, 182, 187, 227, 244, 246, 248, 249, 273, 295, 301, 346, 351, 385
- Гитлер* (Hitler) Адольф (1889–1945), руководитель нац.-соц. раб. партии Германии, рейхсканцлер (1933–1945) — 86, 111, 164, 284, 288, 293, 298, 314, 356, 389
- Глатцер* (Glatzer) Нахум Норберт (1903–1990), нем.-амер. филолог, теолог и издатель — 194
- Глюк* (Glück) Густав, близкий друг В. Беньямина в 1930-е гг. — 257, 293, 375
- Гольдберг* (Goldberg) Оскар (1885–1953), нем. врач, основатель берлинского кружка «Философская группа» — 160–164, 167, 176, 177, 179–181, 247, 326, 327
- Гольдман* (Goldmann) Наум (Нахум, 1895–1982), деятель сионистского движения; основатель, президент Международного еврейского конгресса, см. прим. 325 — 262
- Гольдштейн* (Goldstein) Курт (1876–1965), нем. невролог, психиатр — 257
- Гораций* (65–8 до н. э.), др.-рим. поэт — 59
- Гордон* (Gordon) Ахарон Давид (1856–1922), евр. философ — 54
- Готфрид* (Gottfried) Соломон (позднее Соломон-Делатур) (1892–1964), нем.-амер. социолог, политэконом. Т. Адорно и В. Беньямин — его франкфуртские студенты — 193, 214
- Гофмансталь* (Hofmannsthal) Гуго (1874–1929), австр. поэт, критик, издатель — 208, 239, 240
- Грец* (Graetz) Генрих (1817–1891), евр. историк, экзегет — 22
- Грин* (Green) Жюльен (Грин Джулиан Хартридж) (1900–1998), франц. писатель, см. прим. 296 — 238, 247, 265
- Грин* (Green) Морис А.К. — 65, 78
- Грифиус* (Gryphius) Андреас (1616–1664), нем. поэт — 81
- Грубе* (Grube) Вильгельм (1855–1908), нем. китаист — 87
- Грюневальд из Кольмара*, Грюневальд (Grünewald) Маттиас (1470–1528), нем. живописец — 72, 73
- Гумбольдт* (Humboldt) Вильгельм (1767–1835), нем. языковед — 48, 229, 371

- Гундольф* (Гундельфингер, Gundolf) Фридрих (1880–1931), нем. историк литературы — 110, 277
- Гурлянд* Аркадий (1904–1979), нем. социолог, родом из Москвы — 364
- Гурлянд* Йозеф, сын Гурлянд Х. — 365, 366
- Гурлянд* Хенни (?–1952), фотограф, жена Э. Фромма — 364–367
- Гуссерль* (Husserl) Эдмунд (1859–1938), нем. философ — 89
- Гуткинд* (Gutkind) Люси, жена Э. Гуткинда, редактор и издатель работ мужа — 77, 166, 200
- Гуткинд* (Gutkind) Эрих (1877–1965), нем. философ — 68, 69, 77, 84, 150, 166, 200, 232
- Гутман* (Guttmann) Симон (1891–1990), нем. писатель, публицист — 41, 137, 161
- Гух* (Huch) Рикарда (1864–1947), нем. писательница — 78, 81
- Давид* (XI–X вв. до н. э.), царь Иудеи — 113
- Давид* (David) Эрнст, издатель — 163
- Даке* (Dacque) Эдгар (1878–1945), нем. палеонтолог — 164
- Дебюсси* (Debussy) Клод Ашиль (1862–1918), франц. композитор — 101, 151
- Декарт* (Descartes) Рене (1596–1650), франц. философ, математик — 105
- Дессуар* (Dessoir) Макс (1867–1947), нем. философ, психолог — 31
- Джеймс* (James) Вильям (1842–1910), амер. философ, психолог — 59
- Домке* (Domke) Мартин (1898–1980), юрист, знакомый В. Беньямина с юности по ассоциации «Свободное студенчество» — 359
- Дора*, см. Беньямин Дора Софи
- Доре* (Doré) Гюстав (1832–1883), франц. художник — 65
- Достоевский* Фёдор (1821–1881), рус. писатель — 90, 136
- Дриё ла Рошель* (Drieu La Rochelle) Пьер (1893–1945), франц. писатель, сторонник фашизма, коллаборационист в период нем. оккупации — 389
- Дукес* (Dukes) Леопольд (1810–1891), историк евр. литературы, писатель — 175

- Дюрер* (Dürer) Альбрехт (1471–1528), нем. художник — 116
- Жан-Поль* (Jean Paul, наст. имя Иоганн Пауль Фридрих Рихтер) (1763–1825), нем. писатель — 110, 117
- Жид* (Gide) Андре Поль Гийом (1869–1951), франц. писатель — 81, 263, 331
- Жироду* (Giraudoux) Жан (1882–1944), франц. драматург, романист — 331
- Жорес* (Jaurès) Жан (1859–1914), франц. полит. деятель, застреленный Р. Вилленом — 389
- Жуандо* (Jouhandeau) Марсель (1888–1979), франц. прозаик — 267
- Зайфферт* (Seiffert) Иоганнес Э. — 330
- Закс* (Sachs) Франц, школьный товарищ В. Беньямина — 18
- Захариас* (Zacharias), доктор, тесть Э. Унгера — 180
- Зелигзон* (Seligson) Клара, жена Блюменталья, школьного товарища В. Беньямина — 47, 79, 80, 100
- Зиверс* (Sievers) Эдуард (1850–1932), нем. лингвист — 232, 233
- Зиммель* (Simmel) Георг (1858–1918), нем. социолог — 37, 153
- Зингер* (Singer) Самуэль (1860–1948), нем. германист, профессор Бернского университета — 101, 239
- И., см. Бухгольц И.
- Имбс* (Imbs) Бравиг (1904–1946), поэт, журналист амер.-норвежского происхождения — 389
- Ионафан* (XII–XI вв. до н. э.), библ. герой, преданный друг Давида — 113
- Ихеринг* (Ihering) Герберт (1888–1977), нем. театр., литерат. критик — 269
- Йенч* (Jentzsch) Роберт (1890–1940), нем. математик, поэт — 92
- Йешовер* (Ješover) Игнац, приятель В. Беньямина, литератор — 232
- Йозефи* (Josephi) Фридерика, тетя В. Беньямина — 108
- Йохман* (Jochmann) Карл Август (1784–1830), нем.-балт. публицист, см. прим. 436 — 361
- Йозль* (Joël) Карл (1864–1934), нем. философ, ректор Базельского университета с 1913 г. — 85

- Йозель* (Joël) Эрнст, издатель журнала «Прорыв» — 33, 38
- Кайзер* (Kayser) Рудольф (1889–1964), нем. писатель — 21, 166
- Кале* (Calé) Вальтер (1881–1904), нем. поэт — 178
- Кальдерон* (Calderón de la Barca) Педро (1600–1681), испанский драматург — 83
- Кандинский* Василий (1866–1944), художник — 114
- Кант* (Kant) Иммануил (1724–1804), нем. философ — 31, 32, 48, 55, 86, 89, 103, 105, 106, 109, 111, 136, 167
- Кардозо* (Cardoso) Авраам Мигель (ок. 1630–1706), каббалист, врач; родом из Испании — 224, 225
- Каро* (Caro) Зигфрид (Гине, 1898–1979), близкий друг Э. Лёвензона; общался с В. Бенъямином в Швейцарии, позже в Берлине; уехал в Палестину — 137, 179–181
- Карплус* Гретель, см. Адорно Г.
- Кассирер* (Cassirer) Эрнст (1874–1945), нем. философ, историк — 48, 67
- Касснер* (Kassner) Рудольф (1873–1959), австр. писатель, философ — 155, 157
- Кастайн* (Kastein) Йозеф (Юлиус Каценштайн, 1890–1946), евр. писатель, историк, см. прим. 335 — 270
- Катулл* (Catullus) (ок. 87 до н. э. — ок. 54 до н. э.), др.-рим. поэт — 81
- Каут* (Kaut) И., герой шутивного послания В. Бенъямина Г. Шолему — 183, 184
- Каутский* (Kautsky) Карл (1854–1938), нем. экономист — 217
- Кафка* (Kafka) Франц (1883–1924), немецкояз. писатель — 14, 67, 175, 207, 236, 237, 239, 276–278, 283–286, 322, 323, 328, 342, 343, 347–349, 351, 353, 385
- Келлер* (Keller) Готфрид (1819–1890), швейц. писатель — 218, 234, 237
- Кельнер* (Kellner) Леон (1859–1928), отец Доры, жены Бенъямина, австр. филолог, общ. деятель — 46, 101
- Керр* (Kerr) Альфред (1867–1948), нем. литер. и театр. критик — 250
- Кёстлер* (Koestler) Артур (1905–1983), брит. писатель, журналист — 328

- Кипенхойер* (Kierpenheuer) Густав (1880–1949), нем. издатель, см. прим. 333 — 267, 375
- Киппенберг* (Kirpenberg) Антон Герман Фридрих (1874–1950), руководитель издательства «Инзель» (1905–1950), см. прим. 38 — 291
- Китти*, см. Маркс К.
- Клагес* (Klages) Людвиг (1872–1956), нем. психолог, философ — 45, 208
- Клее* (Klee) Пауль (1879–1940), швейц. художник — 114, 150, 166, 167, 170, 174
- Клейст* (Kleist) Генрих фон (1777–1811), нем. писатель — 109
- Клемперер* (Klemperer) Отто (1885–1973), нем. дирижёр, композитор — 260
- Клопшток* (Klopstock) Фридрих Готлиб (1724–1803), нем. поэт — 37
- Клоссовски* (Klossowski) Пьер (1905–2001), франц. философ, лит. критик, переводчик — 388
- Кляцкин* (Klatzkin) Якоб (Клацкин, 1882–1948), деятель сионистского движения, издатель, публицист; писал на иврите и на нем. языке, см. прим. 325 — 262
- Коген* (Cohen) Герман (1842–1918) нем. философ — 89, 92, 103, 105, 106, 183, 184, 227
- Козегартен* (Kosegarten) Людвиг (1758–1818), нем. поэт — 109
- Колленбуш* (Collenbusch) Самуэль (1724–1803), нем. исследователь Библии, корреспондент и критик И. Канта — 109
- Коммерель* (Kommerell) Макс (1902–1944), нем. поэт, эссеист, секретарь С. Георге (1924–1928) — 267
- Кон* (Cohn) Альфред, школьный товарищ Бенямина — 18, 157, 318
- Кон* Грета, *Кон-Радт* Грета, см. Радт Г.
- Кон* (Cohn) Юла, сестра А. Кона, подруга В. Бенямина, см. прим. 195 — 155, 157, 164, 166, 167, 169, 170, 172, 184, 186, 191, 208, 232, 246, 291, 303
- Корнелиус* (Cornelius) Ганс (1863–1947), нем. философ — 214
- Корс* (Cohrs) Фердинанд (1864–1933), нем. теолог, друг юности В. Бенямина — 166

- Корш* (Korsch) Карл (1886–1961), нем. философ, см. прим. 322 — 262
- Кракауэр* (Krausauer) Зигфрид (1889–1966), нем. социолог, историк культуры, см. прим. 246 — 195, 196, 199, 268
- Краус* (Kraus) Карл (1874–1936), австр. писатель, критик, см. прим. 298 — 111, 112, 138, 178, 230, 238, 267, 270, 274, 285, 293, 370, 371
- Крафт* (Kraft) Вернер (1896–1991), нем. историк литературы, см. прим. 96 — 76–79, 93, 132, 138
- Крепье-Жамен* (Crépieux-Jamin) Жюль (1858–1940), франц. графолог — 35
- Кроче* (Croce) Бенедетто (1866–1952), итал. философ, историк, критик — 241
- Круль* (Krull) Жермена (1897–1985), нем. фотограф — 12, 26
- Кубин* (Kubin) *Альфред* (1877–1959), австр. художник, писатель — 74, 87
- Кутюра* (Couturat) Луи (1868–1914), франц. философ, математик — 89
- Кучер* (Kutscher) Артур (1878–1960), нем. историк литературы, специалист в области драмы, см. прим. 223 — 183
- Кьеркегор*, *Киркегор* (Kierkegaard) Сёрен (1813–1855), датский философ — 111, 310, 311
- Лампрехт* (Lamprecht) Карл (1856–1915), нем. историк — 34
- Ласкер* (Lasker) Эммануил (1868–1941), нем. шахматист, чемпион мира (1894–1921) — 140
- Ласкер-Шюлер* (Lasker-Schuler) Эльза (1869–1945), нем. поэт — 42, 114
- Лацис* Ася (Анна, 1891–1979), подруга В. Беньямина, актриса, театр. режиссёр, см. прим. 1 — 13, 201, 207, 210–212, 244, 245, 248, 252, 253, 256, 257, 259, 260, 263, 291, 344
- Леви* (Levy) Луис (1875–1940), датский писатель — 86
- Леви* (Lewy) Эрнст (1881–1966), нем.-ирландский лингвист — 48, 49, 154, 174, 176–179
- Леже* (Léger) Алексис (1887–1975), франц. поэт, более известный под псевд. Сен-Жон Перс — 331

- Леман* (Lehmann) Зигфрид (он же Salomon Lehnert, 1892–1952), педагог, врач, один из основателей «Еврейского народного общежития» (Jüdische Volksheim) в Берлине — 174, 175
- Ленин* Владимир (1870–1924), революционер — 313, 379
- Ленц* (Lenz) Якоб Михаэль Рейнхольд (1751–1792), нем. писатель — 111
- Леонхард* (Leonhard) Рудольф (1889–1953), нем. писатель, коммунист. активист, см. прим. 379 — 312
- Лесков* Николай (1831–1895), рус. писатель — 327, 328
- Лессинг* (Lessing) Теодор (1872–1933), нем. философ, писатель — 123
- Лёвензон* (Loewenson) Эрвин (1888–1963), нем. литератор, деятель сионистского движения — 39
- Лёвенталь* (Löwenthal) Лео (1900–1993), нем.-амер. философ, социолог литературы и массовых коммуникаций — 168–169, 350
- Либ* (Lieb) Фриц (1892–1970), швейц. богослов — 335, 336, 345
- Либкнехт* (Liebknecht) Карл (1871–1919), деятель нем. и междунар. рабочего движения — 23
- Лизер* (Lyser) Джоан Петер (1804–1870), нем. писатель, художник — 115
- Линке* (Linke) Пауль Фердинанд (1876–1955), нем. философ — 93
- Липман* Зофия, спутница В. Бенямина в бегстве из Франции — 365
- Лихтенберг* (Lichtenberg) Георг Кристоф (1742–1799), нем. учёный, писатель, публицист — 63, 273
- Лотце* (Lotze) Рудольф Герман (1817–1881), нем. философ — 90
- Лукач* (Lukács) Георг (Дьёрдь) (1885–1971), венг. философ — 136, 181, 201, 209
- Лурия* Исаак, Рабби Ицхак Лурия Ашкенази (1534–1579), раввин, мистик — 313
- Людвиг* (Ludwig) Эмиль (1881–1948), нем. писатель — 239
- Люксембург* (Luksemburg) Роза (1871–1919), деятель нем. и междунар. рабочего движения — 24

- Люпен Арсен* (Arsène Lupin), главный герой романов Мориса Леблана — 66
- Магнес* (Magnes) Иуда Леон (1877–1948), обществ. и полит. деятель в Эрец-Исраэль, см. прим. 278 — 225–229, 231, 234, 238, 239, 242, 245, 247, 250, 253, 263, 281
- Магнификус* (Magnificus), ректор, герой шутивого послания В. Бенямина Г. Шолему — 183
- Майер* (Mayer) Макс, знаток древнеевр. языка в Берлине — 252, 253
- Маймонид* (Maimonides) Моше (1135–1204), врач, теолог, евр. философ — 326, 327
- Майнц* (Maunc) Гарри (1874–1947), нем. филолог, заведовал архивом Гёте и Шиллера в Веймаре — 101, 140
- Малларме* (Mallarmé) Стефан (1842–1898), франц. поэт — 143
- Мангейм* (Mannheim) Карл (1893–1947), нем., британ. философ — 186
- Манн* (Mann) Генрих (1871–1950), нем. писатель — 39, 239
- Манн* (Mann) Томас (1875–1955), нем. писатель — 164, 239
- Мария З.*, знакомая В. Бенямина по Ибице — 390
- Маркс* (Marx) Карл (1818–1883), философ, революционер — 360–362
- Маркс* (Marx, в замужестве — Штейншнейдер) Китти (1905–2002), нем., затем израил. филолог, подруга Г. Шолема — 111, 317, 321, 334
- Маркс* (Marx) Моисей, друг Г. Шолема, брат жены Агнона — 190
- Маркузе* (Marcuse) Герберт (1898–1979), нем.-амер. философ, социолог — 350
- Маутнер* (Mautner) Фриц (1849–1923), нем. писатель, лингвист — 49, 178
- Мах* (Mach) Эрнст (1838–1916), австр. физик, философ — 59
- Мейер* (Meyer) Брунелла, бабушка В. Бенямина — 41
- Мейер* (Meyer) Шарль, доктор — 82, 84
- Менжу* (Menjou) Адольф (1890–1963), амер. актёр с франц. корнями — 220

- Меринг* (Mehring) Вальтер (1896–1981), нем. поэт, художник, см. прим. 320 — 260
- Мёрике* (Mörike) Эдуард Фридрих (1804–1875), нем. поэт — 38
- Мильх* (Milch) Вернер (1903–1950), нем. историк литературы, критик — 251
- Минона* (Μυνονα), см. Фридлиндер С.
- Молинос* (Molinos) Мигель де (1628–1696), исп. Богослов — 67
- Молитор* (Molitor) Франц Йозеф (1779–1860), нем. филолог — 74, 75
- Монье* (Monnier) Адриенна (1892–1965), франц. издательница, см. прим. 419, 432 — 345, 357, 386
- Моргенштерн* (Morgenstern) Сомма (Заломон, 1890–1976), австр.-евр. писатель, журналист — 268, 358
- Моцарт* (Mozart) Вольфганг Амадей (1756–1791), австр. композитор — 152
- Мышкин*, герой романа Ф. Достоевского «Идиот» — 90
- Мюллер* (Müller) Георг, издатель Гёльдерлина, см. прим. 39 — 35
- Мюррей* (Murray) Джордж Гилберт Эме (1866–1957), англ. филолог-классик (родился в Австрии), переводчик греч. драмы — 216
- Нёггерат* (Noeggerath) Феликс (1885–1960), нем. писатель, переводчик, см. прим. 165 — 136, 295–297, 299, 307, 318, 387
- Неттлау* (Nettlau) Макс (1865–1944), нем. анархист, историк анархизма — 22
- Никудых*, доктор, шутилая подпись В. Беньямина — 168
- Ницше* (Nietzsche) Фридрих (1844–1900), нем. философ — 20, 97, 106
- О'Брайен* (O'Brien) Конор (1880–1952), ирланд. националист и республиканец, пионер мореплавания — 389
- Овербек* (Overbeck) Франц Камиль (1837–1905), теолог, друг и корреспондент Ф. Ницше — 106
- Отто* (Otto) Адольф, деятель в колонии Фалькенберг — 150
- Павел*, апостол — 233
- Папен* (Papen) Франц фон (1879–1969), нем. полит. деятель — 306

- Парем* Ольга, подруга В. Бенъямина, см. прим. 196 — 159, 307
- Пекюше* (Pécuchet), герой последнего романа Г. Флобера — 65, 98
- Пил* (Peel) Роберт Уэлсли (1867–1937), брит. политик — 330
- Пиндар* (518–438 до н. э.), др.-греч. поэт — 40, 59
- Пипер* (Piper) Рейнхард (1879–1953), нем. издатель, историк искусства — 136
- Платен* (Platen) Август (1796–1835), нем. поэт — 111
- Платон* (427–347 до н. э.), др.-греч. философ — 45, 48, 61, 62, 153, 184, 241
- Поллак* Дора, см. Бенъямин Дора Софи
- Поллак* (Pollak) Макс (?–?), первый муж Доры Бенъямин (до 1917), жены В. Бенъямина — 46, 54, 55, 62
- Поллок* (Pollock) Фридрих (1894–1970), нем. социолог, философ — 322, 354
- Пройсс* (Preuss) Карл Теодор (1864–1938), нем. этнолог — 64
- Проперций* (Propertius) (ок. 49–15 до н. э.), др.-рим. поэт — 81
- Пруст* (Proust) Марсель (1871–1922), франц. писатель — 66, 208, 209, 227, 279
- Пуанкаре* (Poincaré) Анри (1854–1912), франц. математик — 32
- Пульвер* (Pulver) Макс (1889–1952), швейц. писатель, графолог — 55, 74
- Рабле* (Rabelais) Франсуа (1494–1553), франц. писатель — 82
- Радт* (Radt) Грета, невеста Бенъямина в 1913–1914 гг., см. прим. 195 — 33, 43, 46, 110, 208, 231, 318, 358
- Радт* (Radt) Фриц, брат Г. Радт, см. прим. 195 — 208, 209, 246
- Радт* (Radt) Ханс, брат Г. Радт — 231, 232
- Радт* Юла, см. Кон Ю.
- Ранг* (Rang) Флоренс Кристиан (1864–1924), нем. теолог, политик, писатель — 166, 177, 182, 192, 193, 198
- Раши* (1040–1105), раввин Шломо Ицхаки из Вормса, крупнейший комментатор Талмуда — 188
- Регис* (Regis) Иоганн Готлоб (1791–1854), нем. поэт, переводчик — 82

- Рейнак* (Reinach) Соломон (1858–1932), франц. археолог, филолог — 217
- Реклю* (Reclus) Элизе (1830–1905), франц. географ, теоретик анархизма — 22
- Рембо* (Rimbaud) Артюр (1854–1891), франц. поэт — 83
- Ренан* (Renan) Эрнест (1823–1892), франц. историк, филолог — 217
- Ригль* (Riegl) Алоиз (1858–1905), историк искусства — 117
- Риккерт* (Rickert) Генрих (1863–1936), нем. философ — 37, 48
- Риль* (Riehl) Алоиз (1844–1924), нем. философ — 48, 153
- Рильке* (Rilke) Райнер Мария (1875–1926), поэт — 67, 113, 114, 387
- Риттер* (Ritter) Иоганн Вильгельм (1776–1810), нем. физик, химик — 62
- Рихнер* (Rychner) Макс (1897–1965) швейц. писатель, журналист, переводчик, лит. критик — 206, 274, 369, 370, 373
- Рихтер-Габо* (Richter-Gabo) Элизабет, подруга жены В. Беньямина — 162
- Ровольт* (Rowohlt) Эрнст (1887–1961), нем. издатель, см. прим. 251 — 207, 230, 270, 277, 309, 312
- Розенберг* (Rosenberg) Артур (1889–1943), нем. историк-марксист, писатель — 312, 313
- Розенцвейг* (Rosenzweig) Франц (1886–1929), нем. философ — 167, 194, 227
- Розенцвейг* (Rosenzweig) Эдит (1896(5)–1979), жена Ф. Розенцвейга, издатель наследия мужа — 294
- Рот* (Roth) Йозеф (1894–1939), австр. писатель — 231
- Ротхакер* (Rothacker) Эрих (1888–1965), нем. философ, историк культуры — 196
- Рубинер* (Rubiner) Людвиг (1882–1920), нем. писатель — 39
- Рутц* (Rutz) Отмар (1881–1952), нем. адвокат, автор метода анализа звука — 232
- Сакко* (Sacco) Никола (1891–1927), итал. рабочий-анархист, обвиняемый в громком полит. процессе — 229
- Селин* (Céline) Луи Огюст Фердинанд (1894–1961), франц. писатель — 344, 345

- Сельц* (Selz) Жан (1904–1997), франц. писатель, критик; соавтор перевода «Берлинского детства» В. Беньямина на франц. язык, см. прим. 452 — 303, 318, 319, 381
- Сименон* (Simenon) Жорж (1903–1989), франц. писатель — 66
- Симон* (Simon) Акива Эрнст (1899–1988), израил. теоретик образования, общ. деятель, профессор иерусалимского Еврейского университета — 194
- Сократ* (469–399 до н. э.), др.-греч. философ — 61, 62, 111
- Сорель* (Sorel) Жорж (1847–1922), франц. философ — 143, 155
- Спиноза* (Spinoza) Бенедикт (1632–1677), нидерл. философ — 174
- Стайн* (Stein) Гертруда (1874–1946), амер. писательница — 382
- Сталин* Иосиф (1879–1953), полит. деятель — 13, 259, 268, 343, 344, 356, 385
- Сталь* (Staël) Анна Луиза Жермена де, Мадам де Сталь (M-me de Staël) (1766–1817), франц. писательница — 79
- Стефан*, см. Беньямин Стефан
- Тальгеймер* (Thalheimer) Август (1884–1948), нем. полит. деятель — 24
- Таут* (Taut) Бруно (1880–1938), нем. архитектор — 150
- Тибулл* (Tibullus) (ок. 55–19 до н. э.), др.-рим. поэт — 81
- Тидеман* (Tiedemann) Рольф (р. 1932), нем. философ, филолог, издатель, см. прим. 412 — 341
- Тиллих* (Tillich) Пауль (1886–1965), нем.-амер. теолог — 347
- Тиллих* (Tillich) Ханна, жена П. Тиллиха — 347
- Тиркопф* (Thierkopf) Дитрих, автор книги о В. Беньямине — 303
- Тихо* (Ticho) Анна (1894–1980), евр. художница, см. прим. 431 — 355
- Трёльч* (Troeltsch) Эрнст (1865–1923), нем. философ, социолог — 153
- Троцкий* Лев (1879–1940), революционер — 209, 268, 298, 343, 385
- Тухлер* (Tuchler) Курт (1894–1978), один из лидеров герм. сионистской организации — 19, 93
- Уайлдер* (Wilder) Торнтон (1897–1975), амер. писатель — 301, 302
- Унгер* (Unger) Эрих (1887–1950), нем. политолог, публицист, поэт — 160–163, 180, 181

Фаня, см. Фрейд Ф.

Фарнгаген (Varnhagen) фон Энзе Рахель (1778–1833), нем. писательница, см. прим. 421 — 346

Фейхтвангер (Feuchtwanger) Лион (1884–1958), нем. писатель — 239

Фейхтвангер (Feuchtwanger) Людвиг (1885–1947), нем. юрист, литератор, брат Лиона Фейхтвангера — 134

Фихте (Fichte) Иоганн Готлиб (1762–1814), нем. философ — 111

Фишер (Fisher) С. — 166

Флобер (Flaubert) Гюстав (1821–1880), франц. писатель — 65, 81, 98, 108

Фонтане (Fontane) Теодор (1819–1898), нем. писатель — 299

Форд (Ford) Джон (1586–1639), англ. драматург — 235

Франс (France) Анатоль (1844–1924), франц. писатель — 86, 100, 221, 222

Франсес (Frances) Луис, каталанский поэт — 389

Франциск Ассизский (1182–1226), католич. святой — 114

Фреге (Frege) Готлоб (1848–1925), нем. математик — 48, 89, 90

Фрейд (Freud) Зигмунд (1856–1939), австр. психиатр, основоположник психоанализа — 116

Френкель (Fränkel) Фриц (1892–1944), нем. нарколог, невролог; друг В. Беньямина — 289

Фридлендер (Friedlaender) Соломон (1871–1936), нем. философ, писатель, критик, см. прим. 106 — 42, 86, 98, 167

Фройнд (Freund) Грета, спутница В. Беньямина в бегстве из Франции — 365

Фройнд (Freund) Жизель (1908–2000), франц. фотограф, см. прим. 23 — 26, 27, 345, 357

Фромм (Fromm) Эрих (1900–1980), нем. социолог, философ, психолог — 194, 372

Фукс (Fuchs) Эдуард (1870–1940), нем. культуролог, историк, см. прим. 393 — 327, 329, 333

Хаас (Haas) Вилли (1891–1973), нем. публицист, создатель и редактор «Литературного мира», см. прим. 137 — 207

- Хардеконф* (Hardekopf) Фердинанд (1876–1954), нем. поэт — 98
- Хебель* (Hebel) Иоганн Петер (1760–1826), нем. поэт — 263
- Хеберлин* (Häberlin) Пауль (1878–1960), швейц. философ, психолог — 101, 140
- Хейнле* (Heinle) Вольф (?–1923), брат друга В. Бенъямина — 131, 137, 177, 192, 305
- Хейнле* (Heinle) Фриц (1894–1914), друг В. Бенъямина, совершивший самоубийство в 1914 г. — 19, 20, 31, 32, 38, 40, 41, 111, 115, 129, 177, 186, 305
- Хеллер* (Heller) Франк (1886–1947), псевдоним шведск. писателя Гуннара Сернера (Gunnar Serner), автора детективных романов — 66
- Хеллинграт* (Hellingrath) Норберт фон (1886–1916), нем. издатель — 35, 40
- Хеннингс* (Hennings) Эмми (1885–1948), поэт, жена Х. Балля — 133
- Хербертц* (Herbertz) Рихард (1878–1959), профессор философии в Бернском университете, руководитель первой диссертации В. Бенъямина (1919) — 85, 101, 102, 136, 140, 143, 146, 187
- Хергесхаймер* (Hergesheimer) Джозеф (1880–1964), амер. автор натуралистических романов из жизни богатейших слоев общества — 268
- Хессель* (Hessel) Франц (1880–1941), нем. писатель, переводчик, соавтор В. Бенъямина по переводу М. Пруста, см. прим. 80 — 66, 191, 208, 224, 231, 235, 248, 255, 257, 260, 306, 307
- Хессель* (Hessel) Хелен (1886–1982), жена Ф. Хесселя, журналист в области моды, корреспондент в 1920–1930-е гг. «Frankfurter Zeitung» в Париже — 231
- Хиллер* (Hiller) Дора (?–1948), подруга, затем жена О. Гольдберга — 179, 180
- Хиллер* (Hiller) Курт (1885–1972), нем. писатель, публицист — 20–22, 34, 38, 39
- Хирш* (Гирш, Hirsch) Рудольф (1907–1998), нем.-евр. писатель, журналист, см. прим. 302 — 240
- Хирш* (Гирш, Hirsch) Самсон Рафаэль (1808–1888), один из лидеров нем. ортодокс. еврейства в XIX в. — 70

- Хобокен* (Hoboken, van) Антони (1887–1983), нидерл. историк музыки, коллекционер музыки — 290
- Хольцман* (Holzman) Михаэль, кузен О. Гольдберга — 176, 178, 179
- Хоммель* (Hommel) Ф., семитолог, арабист, учитель Г. Шолема — 188
- Хоркхаймер* (Horkheimer) Макс (1895–1973), нем. философ, социолог — 257, 260, 313, 322, 324, 335, 341, 342, 349, 351, 353, 354, 359, 361–364
- Хосе*, см. Гурлянд Й.
- Хухель* (Huchel) Петер (1903–1981), нем. поэт — 160
- Цвейг* (Zweig) Стефан (1881–1942), австр. писатель, критик — 199, 200
- Цейтлин* Гиллель (1871–1942), евр. философ, публицист — 59
- Цельтер* (Zelter) Карл Фридрих (1758–1832), нем. композитор — 109
- Церникель* (Zernickel), профессор, директор школы, где учился В. Беньямин — 18
- Цунц* (Zunz) Леопольд (1794–1886), нем. историк, знаток Талмуда — 36
- Чапски-Хольцман* (Czapski-Holzman) Лени, художница — 176
- Шагал* (Chagall) Марк (1887–1985), рос. и франц. художник — 114
- Шанц* (Schanz) Фрида (1859–1944), популярная нем. писательница — 115
- Шваб* (Schwab) Густав (1792–1850), нем. писатель, издатель Ф. Гёльдерлина — 58, 59
- Швеппенхойзер* (Schweppenhauser) Герман (р. 1928), нем. философ, публицист, см. прим. 412 — 341
- Шедер* (Schaeeder) Ханс Генрих (1896–1957), нем. египтолог, иранист — 239, 240
- Шеербарт* (Scheerbart) Пауль (1863–1915), нем. писатель, поэт, см. прим. 93 — 42, 74, 153, 190, 337, 338
- Шей* (Schey) Филипп, муж Ольги Парем, подруги В. Беньямина в 1928–1932 гг. — 307
- Шекспир* (Shakespeare) Уильям (1564–1616), англ. поэт, драматург — 46, 235

- Шеллинг* (Schelling) Фридрих Вильгельм (1775–1854), нем. философ — 48, 62, 74
- Шестов* Лев (1866–1938), философ — 328, 329
- Шён* (Schoen) Эрнст, школьный товарищ Бенямина, ученик К. Дебюсси — 18, 115, 151, 152, 157, 158, 164, 165, 191, 257, 292, 304, 306, 310
- Шёнфлис* (Schoenflies) Артур Мориц (1853–1928), нем. математик — 43
- Шиллер* (Schiller) Фридрих (1759–1805), нем. поэт — 71, 110
- Шиффер* (Schiffer) Адальберт (1805–1868), австр. писатель, художник — 79, 81, 84
- Шлегель* (Schlegel) Август Вильгельм (1767–1845), нем. историк литературы, писатель — 111
- Шлегель* (Schlegel) Каролина (1763–1809), нем. писательница, переводчица — 71
- Шлегель* (Schlegel) Фридрих (1772–1829), нем. философ, языковед — 56, 111, 117
- Шокен* (Schocken) Залман (1877–1959), предприниматель, издатель, см. прим. 357 — 297, 298, 343, 347, 351–354
- Шолем* (Scholem) Вернер (1895–1940), брат Г. Шолема, см. прим. 16 — 22, 69, 94, 184, 190, 262
- Шолем* (Scholem) Фаня (1907–1999), урожд. Фрейд, вторая жена Г. Шолема — 350
- Шпейер* (Speyer) Вильгельм (1887–1952), нем. драматург, романист, детский писатель — 252, 286, 301, 307, 308
- Шребер* (Schreber) Даниэль Пауль (1842–1911), нем. судья, см. прим. 115 — 101, 102
- Шрёдер* (Schröder) Эрнст (1841–1902), нем. математик — 90
- Штейнер* (Steiner) Рудольф (1861–1925), австр. философ — 55
- Штейнталь* (Steinthal) Хейманн (Хаим, 1823–1899), нем. языковед, ученик В. Гумбольдта — 49, 178
- Штейнфельд* (Steinfeld) Альфред, школьный товарищ В. Бенямина — 18
- Штейншнейдер* (Steinschneider) Густав, друг Г. Шолема, внук М. Штейншнейдера — 151, 152

- Штейншнейдер* (Steinschneider) Китти, см. Маркс К.
- Штейншнейдер* (Steinschneider) Мориц (1816–1907), гебраист, арабист — 152
- Штернберг* (Sternberg) Фриц (1895–1963), нем. экономист, теоретик марксизма — 194, 195, 262
- Штифтер* (Stifter) Адальберт (1805–1868), австр. писатель, художник — 100
- Штрайхер* (Streicher) Юлиус (1885–1946), нацистский полит. деятель, см. прим. 405 — 331
- Штрак* (Strack) Германн Либрехт (1848–1922), нем. гебраист — 153
- Штраус* (Strauss) Георг, школьный товарищ Г. Шолема — 18
- Штраус* (Strauss) Лео (1899–1973), амер. философ — 163, 327
- Штраус* (Strauss) Людвиг (1892–1953), нем. поэт — 19, 20, 40, 51, 111
- Штраус* (Strauss) Макс (1888–1956), нем. адвокат, переводчик евр. литературы с идиша и с древнеевр., в частности, переводчик произведений Ш. Агнона на нем. язык — 121
- Штраус* (Strauss) Фриц, школьный товарищ Г. Бенъямина — 18, 19
- Штрих* (Strich) Фриц (1882–1963), нем.-швейц. германист — 239
- Штумпф* (Stumpf) Карл (1848–1936), нем. философ — 48
- Шуберт* (Schubert) Франц (1797–1828), австр. композитор — 152
- Шулер* (Schuler) Альфред (1865–1923), мистик — 208
- Шульц* (Schultz) Франц (1877–1950), нем. филолог, литератор, профессор Франкфуртского университета (1921) — 214
- Эверт* (Ewert) К.Г., приходской священник, автор нем.-евр. словаря — 175
- Эдшмид* (Edschmid) Казимир (1890–1966), нем. писатель — 114
- Эйзенменгер* (Eisenmenger) Иоганн Андреас (1654–1704), австр. идеолог антисемитизма — 135
- Эйкен* (Eucken) Рудольф (1846–1926), нем. философ — 89, 90
- Эйслер* (Eisler) Роберт (1882–1947), австр. историк искусства, религии — 216, 217
- Эйхендорф* (Eichendorff) Йозеф (1788–1857), нем. поэт — 131

Эллиот (Elliot) Пол (1891–1958), амер. писатель, литер. редактор, журналист — 381, 382

Энсор (Ensor) Джеймс (1860–1949), бельг. живописец, график — 116

Эрдман (Erdmann) Бенно (1851–1921), нем. философ, психолог — 153

Эрентрой (Ehrentreu), раввин ортодоксальной синагоги в Мюнхене — 188

Эша, см. Бурхардт Э.

Юнгер (Jünger) Эрнст (1895–1998), нем. философ, писатель — 266

Юм (Hume) Дейвид (1711–1776), англ. философ — 105

Яноух Густав (1903–1968), чешский музыкант и литератор, автор книги «Разговоры с Кафкой» (1951) — 14

Список иллюстраций

- С. 12. Вальтер Беньямин. Париж, 1927 г. Фото Жермены Круль. Частное собрание, Берлин.
- С. 27. Вальтер Беньямин в Национальной библиотеке. Париж, 1939 г. Фото Жизели Фройнд. Архив Теодора Адорно, Франкфурт-на-Майне.
- С. 28. Вальтер Беньямин. Херингсдорф, 1896 г. Фото: студия *Joël-Heinzelmann*. Архив Академии искусств, Берлин.
- С. 42. Вверху: *Café des Westens*. Снимок из газеты *Berliner Tageblatt* от 2 мая 1905 г.
Внизу: почтовая открытка с интерьером *Café des Westens*.
- С. 57. Вальтер Беньямин и Дора Поллак. 1916 г. Национальная библиотека Израиля, Иерусалим.
- С. 58. Гёльдерлин Ф. Полное собрание сочинений под редакцией С.Т. Шваба (Штутгарт; Тюбинген: Котта, 1846, 2 тома).
- С. 73. Грюневальд Маттиас. Изенгеймский алтарь (1512–1516). Центральная часть. Музей Унтерлинден, Кольмар, Франция.
- С. 112. Карл Краус. Вена, 1936 г.
- С. 144. Гершом Шолем. 1920-е гг.
- С. 156. Стефан и Дора Беньямины. Февраль, 1921 г. Архив Академии искусств, Берлин.
- С. 171. Открытка Гершома Шолема Вальтеру Беньямину. 1921 г. Архив Академии искусств, Берлин.
- С. 172. Юла Кон. 1916 г. Национальная библиотека Израиля, Иерусалим.
- С. 185. Берлин, Шарлоттенбург. Почтовая открытка. 1927 г.
- С. 197. Обложка книги В. Беньямина «Улица с односторонним движением» (*Ernst Rowohlt Verlag*, 1928).
- С. 202. Эша Бурхардт и Гершом Шолем. Иерусалим, март 1924 г. Национальная библиотека Израиля, Иерусалим.

- С. 211. Ася Лацис. 1924 г. Архив Академии искусств, Берлин.
- С. 213. Эша Бурхардт и Гершом Шолем. Иерусалим, Суккот, 1926 г. Национальная библиотека Израиля, Иерусалим.
- С. 219. Париж. 1929 г.
- С. 243. Вальтер Беньямин. Паспортное фото, 1928 г. Архив Академии искусств, Берлин.
- С. 254. Вальтер Беньямин. 1929. Фото: студия *Joël-Heinzelmann*. Архив Академии искусств, Берлин.
- С. 258. Гретель Адорно. Фото: студия *Joël-Heinzelmann*. Архив Академии искусств, Берлин.
- С. 261. Бертольт Брехт. 1930-е гг.
- С. 287. Адресная парижская книжка В. Беньямина. 1927–1929 гг. Архив Академии искусств, Берлин.
- С. 302. Обложка романа Торнтон Уайлдера «Каббала» (NY: Albert & Charles Boni, 1926).
- С. 311. Обложка книги Теодора Адорно «Кьеркегор — создание эстетического» (Tübingen: J. C. B. Mohr, 1933).
- С. 319. Ибица, бухта Сан-Антонио, 1933 г.
- С. 320. Вальтер Беньямин. Пальма-де-Майорка, 1933 г. Архив Академии искусств, Берлин.
- С. 339. Конверт со списками книг и заметками на различные темы Вальтера Беньямина. Архив Академии искусств, Берлин.
- С. 357. Адриенна Монье. Фото Жизели Фройнд. Париж, 1935. Архив Жизели Фройнд, Париж.
- С. 360. Наброски к работе «О понятии истории» (ок.1940 г.). Обратная сторона: счёт за ланч. Архив Академии искусств, Берлин.
- С. 368. Вальтер Беньямин перед домом Бертольта Брехта. Свендборг, Дания, 1938 г. Архив Академии искусств, Берлин. -

ООО «Издательство Грюндриссе»
e-mail: info@grundrisse.ru
<http://www.grundrisse.ru>

Гершом Шодем. Вальтер Беньямин — история одной дружбы. —
М.: ООО «Издательство Грюндриссе», 2014. — 464 с.

Книга Г. Шолема «Вальтер Беньямин: история одной дружбы» — выдающийся интеллектуальный памятник XX века. Гершом Шодем (1897–1982), философ, историк религии, написал воспоминания о своём ближайшем друге Вальтере Беньямине.

Вальтер Беньямин (1892–1940), немецкий философ, теоретик истории, эстетик, литературный критик, писатель, является одним из самых влиятельных мыслителей последнего столетия. Лучшая из существующих биографий Беньямина охватывает широчайший круг проблем философии, эстетики и левого движения, разворачивающихся на фоне прихода в Германии к власти фашизма. Книга впервые вышла на немецком языке: Scholem, Gershom. Walter Benjamin — die Geschichte einer Freundschaft. Suhrkamp Verlag, Frankfurt am Main, 1975.

ISBN 978-5-904099-08-4
Тираж 1000 экз.

Отпечатано в ООО «Типография Момент»,
Московская обл., г. Химки,
Библиотечная ул., 11

Гершом Шолем (1897–1982), философ, историк религии, написал воспоминания об одном из самых ярких мыслителей последнего столетия, своём ближайшем друге Вальтере Беньямине (1892–1940). Лучшая из существующих биографий Беньямина охватывает обсуждение широчайшего круга проблем философии, эстетики и левого движения, разворачивающееся на фоне прихода фашизма к власти.

Перед нами не просто интеллектуальная биография Вальтера Беньямина и не только рассказ о том, как Гершом Шолем хотел сделать Беньямина Шолемом, а Беньямин остался самим собой. Это вполне педантичный рассказ друга, оказавшегося великим учёным, о друге, который стал великим философом. Собранный по частям и упорядоченный хронологически дневник, который вместе с автором вело само время.